Гроза.





Гроза

1

В палисаднике, опираясь на резной заборчик, стояла молодая женщина. Скрытая густой зеленью акации, она жадно глядела на дорогу.

Из лесу с гулянья возвращался рекрут Яков Македон. Черные шаровары заправлены в начищенные до блеска сапоги, голубая рубаха перехвачена в талии витым пояском с кистями, а новая фуражка, сверкающая на солнце лаковым козырьком, так лихо сбита на затылок, что из-под нее, закрывая глаз, выбился чуб, черный, как крыло ворона.

Стройный, широкоплечий Яков шел чуть-чуть покачиваясь. Целую четверть выпили они с друзьями. Хоть и не любит Яков горьковатого привкуса водки, но пил. Пил сегодня, вчера пил и завтра будет пить. Будет гулять еще день и ночь и возвратится, может, только на рассвете. И никто не посмеет корить его, сказать о нем худого слова, — послезавтра Яков уходит на войну.

Пусть погуляет, чтоб было чем помянуть парню рекрутские денечки.

Вместе с товарищами будет пить Яков еще, а по- охмелевшие, они пойдут рвать яблоки в садах, ловить по берегу гусей и уток, жарить их в лесу или на огороде у кого-нибудь из дружков. И никто не посмеет обругать рекрутов, не пойдет жаловаться на них старшине или уряднику...

Все ближе подходит Яков. Широкий ремень перекинут через плечо, из-под пальцев поблескивают перламутровые лады старенькой гармошки. Не хочется парню играть. Соснуть бы часок-другой, а потом снова на гулянье.

— Яков! Яшенька... — закачались в палисаднике ветви желтой акации, усеянной еще не созревшими стручками.

Яков остановился, снял фуражку.

— Здравствуйте, Софья Ивановна! — поклонился он, не решаясь подойти ближе, пожать ей руку.

На Софье было темное платье из дорогой материи и черный полушалок, оттенявший белое, чистое лицо. Но особенно поразили Якова ее глаза — смелые, цепкие, лучистые, как звезды. В них светились и раскаяние, и мольба, и такой неудержимый порыв любви, что Яков растерялся.

— Гуляешь? — спросила она.

— Гуляю.

— Когда уходите из слободы?

— Послезавтра. Пойдем и мы воевать. Кто знает, вернемся ли? Зато уж эти денечки — наши. Вы бы, Софья Ивановна, коней мне дали, прокатиться бы на вашей тройке хоть разок.

— А хочешь, я сама тебя прокачу? Поедем вдвоем. — И, оглянувшись, она зашептала: — Буду ждать тебя вечером за околицей, у старой вербы.

И словно кто оторвал ее от забора. Только качнулась ветка, задетая рукавом, да, промелькнув мимо Якова, впился в листок рогатый жук. А Яков все еще стоял, взволнованный и счастливый.

«Неужели Софья Изарова прокатит меня на своей тройке? Сама ведь, сама пригласила!..»

Яков схватил гармонь, широко растянул мехи... Из хат тынам и воротам выбегали девушки и молодицы послуть, поглядеть на гармониста; к окнам льнули седые ста-, провожая взглядом рекрута. А он, здороваясь с си, шел узенькой улицей туда, где рядом с другими ми хатенками стояла и его хата в три оконца, с таетхой кровлей, что вместо соломы виден был лько зеленый мох, из которого кое-где поднимались стеки ржи, упруго колыхавшиеся на ветру. Перед окна- густо разрослись кусты георгинов.

На завалинке, повязанная платочком, сидела пожилая

женщина. Печальными, полными слез глазами она молча смотрела на дорогу, и у нее мелко дрожал подбородок, а кончики платка были мокры. К ней подошел муж.

— Опять? Не надо... Перестань. Собирай обед... Видишь, Яков идет... — голос его дрогнул. Отвернулся, не в силах больше произнести ни слова, и снова пошел в сад, где лежали доски, инструмент, а на траве валялись пахучие стружки.

Возвращаясь домой, Яков думал о Софье Изаровой.

Еще три года назад она была обыкновенной крестьянской девушкой, работала в бакалейной лавке своего брата Трофима. Во время жатвы ей приходилось помогать и старшему брату в поле, который не хотел «впутываться» в торговое дело и занимался хлебопашеством. Хорошая, работящая девушка была Софья.

Никогда не забыть Якову того вечера под Новый год, когда они с Софьей, усевшись в саночки, привязанные к концу длинной жерди, кружились так быстро, что дух захватывало.

Боясь вылететь из саней, Софья прижималась к нему, а он, отчаянно выкрикивал, подзадоривая товарищей:

— Давай, давай, хлопцы! Устали, что ли? Поднажми!

Хлопцы «поднажимали», и саночки, казалось, уже не скользили, а летели, как вихрь, так что у Софьи кружилась голова. Но она и виду не подавала, что ей хоть чуточку страшно, только сильнее прижималась к Якову, и он чувствовал на своей щеке ее горячее дыхание.

— Ну вас к лешему! Совсем уморили. Отдыхай, хлопцы!

Парни, вынув колья из колеса, закурили. Саночки остановились. Софья поднялась белее снега, зашаталась и, наверно, упала бы, не поддержи ее Яков.

— Софья, что с тобой? Тебе плохо?

— Голова закружилась... Проводи меня домой.

Поднялась пурга, да такая, что в трех шагах ничего не было видно.

— Гляжу я на тебя, Софья... Ты сейчас ну просто снегурочка. Ей-богу, даже поцеловать тебя хочется.

Яков неожиданно обнял ее, и не успела она и слово молвить, как его губы жадно припали к ее губам.

Вдруг он почувствовал, как что-то обожгло ему щеку.

Выпустив из объятий Софью, увидел ее пылающие от гнева глаза. В ту же минуту девушка исчезла в мутной пелене разыгравшейся метели.

И с той поры будто душу свою потерял Яков. Видеть ее, слышать ее голос, чувствовать на себе ее взгляд — стало для него необходимо, как жизнь. Не было для Якова на свете лучше и милее девушки... Всем сердцем его завладела Софья.

При встречах больше не вспоминали о метели, а виделись они теперь часто. Иногда вместе ходили в лес, и только старые дубы, березы, клены да примятая трава, где сидели они порой, могли бы рассказать про их первую любовь, чистую и красивую, как чист и красив распустившийся на утренней зорьке умытый росою цветок.

Расставаясь, Яков брал ее руки в свои, подолгу смотрел в глаза любимой, не говоря ни слова. Да зачем говорить, когда она и без слов понимала его мысли и чувства?

Но все оборвалось так неожиданно... Из города возвратился ее брат Трофим, а с ним приехал богач Изаров. Изаров купил лесные угодья, пахотные земли, луга и стал строить в слободе паровую мельницу. Не забыть Якову последней встречи в лесу, когда, рыдая, Софья сказала: «Замуж выдает меня брат».

...Не ходили они уж больше в лес — ни по ягоду-землянику, ни по грибы.

Софью готовили в жены богачу Изарову. Его лысая голова, староватое лицо с острым, птичьим носом и серыми глазами, в которых светились ум и холодная расчетливость дельца, вызывали у девушки страх и отвращение. Но этот брак был нужен брату Трофиму для его «дела».

Никогда еще не видали в слободе такой пышной свадьбы. А тройка — черт знает откуда только добыл ее Изаров — вызывала восхищение и нескрываемую зависть многих слобожан.

Рядом с чистокровными рысаками Изарова какими жалкими клячами казались Лукьяновы кони, на которых он попытался было догнать богатого зятя. Ни одна невеста во всей округе не получала столько дорогих нарядов и таких щедрых подарков, какими задабривал Изаров Софью. Ничего он для нее не жалел. Подарками и беспримерной щедростью пытался старик заглушить в ней чувство обиды, расположить ее к себе; богатством да рос-

кошью думал купить если не любовь, то хотя бы ласку и супружескую верность.

Сразу же после свадьбы Изаров начал строить каменный дом и вскоре поселился в нем с молодой женой. Роскошными коврами украсил он комнаты, обставил дом дорогой мебелью.

Иногда в гости к Софье заходил брат Трофим. Жадными глазами осматривал богатое убранство комнат, потирал от удовольствия руки и, как духовник, наставлял младшую сестру:

— Ты поласковей с ним. Люби его. Богу молись за него. Такое счастье привалило... Недаром мать тебя в лесу родила. Пошла в лес по ягоды да под дубом и родила... Ишь какая роскошь, даже в глазах рябит.

Год прожила с мужем Софья. Возил он ее и в Москву и в Петербург, показывал всякие дива, каких и вовек не видать бы ей. Но сразу после поездки Изаров захворал.

То ли в дороге простудился, то ли незаметно подкралась к нему старость, мстя за беспутную молодость, только болезнь приковала его к постели. Несмотря на лекарства и лучших профессоров, выписанных из города, Изаров хирел, угасал с каждым днем, с каждым часом. Чувствуя близкую смерть, он посвящал Софью во все свои хозяйственные дела. Софья проявила незаурядные способности. Она быстро научилась выполнять значительную часть его работы: следила за достройкой и оборудованием паровой мельницы, присматривала за лесоразработками, бывала на сенокосе и в поле, везде успевала и все делала споро. Изаров очень ценил молодую жену за ум, расторопность и необычайную сметливость.

Ему страстно хотелось жить, но болезнь безжалостно подтачивала его дряхлый организм. Он чувствовал, что приходит неизбежный конец. Дрожащей рукой подписал он завещание, передавая жене все свои богатства... После его смерти Софья надела траур и носила его вот уже шестой месяц.

Разве мог надеяться Яков Македон, что сегодня он будет кататься на изаровской тройке?

Не дожидаясь вечера, Яков вышел за околицу на дорогу и остановился у старой вербы. Безлюдная, заросшая по обочинам травой и бурьяном дорога, извиваясь терялась где-то в степи.

Яков ждал. Томительно было ждать.

«Неужели Софья обманула?» От этой мысли в душе Якова закипела глухая обида на богачку, позволившую себе так надсмеяться над рекрутом. «А дружки небось гуляют... Может, и домой ко мне не раз прибегали. Разве уйти?» Но какой-то внутренний голос шептал ему, отгоняя сомнения, горечь и обиду: «Не уходи, Яков, она приедет. Ведь сама же звала тебя. Подожди еще».

Небо темнело, затихало карканье ворон, только беспрестанно стрекотали в траве кузнечики да запоздалые птицы пролетали порой к своим гнездам. Вдруг издалека донесся конский топот. Яков быстро поднялся. По дороге мчалась знакомая тройка. Лошадьми правила Софья. Яков не мог оторвать от нее глаз.

— Думал, не приедете, — сказал он.

Софья уже сняла траур. Темновишневое платье красиво облегало стройный стан, а легкий шелковый шарф, прозрачно-голубой, как весеннее небо, очень молодил ее.

Она стояла перед ним такая красивая, милая, и он любовался ею, волнуясь и краснея, как мальчишка.

— Садись!

Яков легко вскочил на козлы.

— Давайте вожжи.

— Ведь ты сам хотел, чтобы я тебя прокатила. Значит, и лошадьми буду править я. Они у меня послушные. — И, взглянув на Якова, улыбнулась. — С ветерком?

— Чтоб дух захватило!

— А куда поедем?

— В степь.

— Лучше в лес: в степи нас могут увидеть, а я хочу этот вечер провести только с тобой, Яков. Ну, держись!

И тройка полетела. Засвистел ветер в ушах, затрепетали концы шарфа, будто крылья сказочной птицы. Колеса подпрыгивали на ухабах, каждую минуту бричка могла опрокинуться, но Софья правила умело, и Яков любовался ею. Кто из слободских молодиц отважится так мчаться на тройке, рискуя разбиться насмерть? Для такой езды нужны не только смелость, но и твердый характер, большая сила воли и молодецкая удаль.

Как вихрь, летели рысаки. Бешено летела навстречу тройке полевая дорога. Все ближе, все чернее становилась темная полоса леса, купленного в свое время Изаровым.

Софья встала и, натянув вожжи, хлестала взбесившихся коней. На выбоинах, когда особенно сильно подбрасывало, Яков невольно обнимал ее за талию.

— Разобьетесь, Софья Ивановна, нельзя так.

— Ну как, хорошо? — спрашивала она, чувствуя, что он любуется ею. — Не всякий кучер сумеет так править, — добавила она, сверкнув глазами.

Через несколько минут тройка свернула на узкую дорогу, укрытую с обеих сторон густыми зарослями орешника.

Кое-где виднелись молодые клены, березы, дубки.

— Здесь будет лучше, — сказала Софья и, отдавая вожжи Якову, добавила: — Отведи коней вон на ту поляну.

Яков повел тройку. Было слышно, как трещал под копытами коней сухой валежник; гнулись молодые деревца, цепляясь за сбрую лошадей и бричку: одни опять распрямляли свои упругие веточки, а другие, сломанные, оставались беспомощно лежать на земле.

Софья облюбовала мамврийский дуб. Он рос на небольшой поляне, густо усеянной цветами, среди которых ярко выделялись белые венчики ромашек.

Подошел Яков, взглянул на Софью. Она лежала на траве и, прищурив глаза, следила за каждым его движением. Яков смутился. Некоторое время он стоял молча, не зная, о чем заговорить.

— А завтра, пожалуй, дождь будет. . .

Софья засмеялась.

— Садись!

Он несмело опустился рядом. Жадными, нетерпеливыми глазами Софья смотрела на Якова, смущая его еще сильнее.

— Так, говоришь, завтра дождь будет? — улыбнулась она и, привычно и смело положив свою теплую руку ему на плечо, привлекла к себе. — Яша, милый! Если б ты только знал, как я истосковалась по тебе. Хоть попрощаюсь. . . Хоть один вечерок побуду с тобой.

Прижавшись к Якову, она, словно на исповеди, рассказывала ему про свою жизнь, про неравный брак, на который толкнул ее брат Трофим. Но даже замужем, она ни на минуту не забывала о нем, о Якове. Только ему, одному ему принадлежало ее сердце. Как мучительно искала она хотя бы мимолетной встречи с ним. . . Как

жадно ловила каждое слово, сказанное о нем... о люби мом...

Яков слушал, плохо понимая, о чем говорила Софья. Ее близость, ее поцелуи каким-то радостным, буйным хмелем разливались по всему телу, туманили разум. Он ничего не видел, кроме ее лучистых глаз, влекущих к себе с неодолимой силой.

— С гармошкой по улице идешь, а я глаз не могу от тебя оторвать, — горячо шептала она. — На каких вечеринках гулял — знаю. Бессонными ночами думала о тебе... А как хотелось мне встретиться с тобой, поговорить, поглядеть на тебя, Яков! Вот как сейчас.

— И я думал о тебе, Софья, веришь... Да что же это в самом деле? Эх, если бы я знал... Прямо тебе скажу: возненавидел я Изарова...

Новый поцелуй оборвал его слова. Пахло травою. Мягкая, теплая рука гладила его волосы, а нежные слова дурманили голову.

— Хороший мой... Родной ты мой... — Она жадно целовала Якова, знала, что расстается с ним, и, может быть, навсегда.

Яков лежал на траве с расстегнутым воротом рубахи и глядел в небо, усеянное ясными звездами, а рядом сидела Софья.

— Про эту встречу никто не должен знать. Слышишь, Яков?

В ее голосе он почувствовал сухость. Она уже не говорила нежных слов, не ласкала его, как прежде, охваченная страстью, была молчаливо-сурова, будто жалела о том, что случилось.

— Софья, повернись, посмотри мне в глаза.

Она нехотя повернула голову.

— Ну, что тебе? — сказала она таким ледяным тоном, что Яков сразу умолк.

Софья нетерпеливо взглянула на поляну, где стояла привязанная к дубу тройка.

— Привести коней?

Не отвечая, она поднялась с травы. Встал и Яков. Его охватило щемящее чувство незаслуженной обиды. Почему Софья вдруг стала такой холодной, такой неприступно гордой? Ведь только что ее руки обнимали его, ласкали так нежно, как можно ласкать только человека, которого горячо любишь.

Якову опять захотелось обнять Софью, спросить, чем он обидел ее. Может, тем, что случайно напомнил о покойном Изарове? Может, откровенно признавшись в неприязни к ее мужу, он причинил ей боль?

— Софья, скажи честно: почему ты вдруг стала такой?

— Какой? — удивилась она и зевнула, желая прекратить нудный разговор.

Больше Яков не спрашивал.

Через несколько минут тройка возвращалась из лесу. Кони бежали рысью. Как только приблизились к селу, Яков, не останавливая рысаков, передал вожжи Софье и ловко соскочил с брички.

— До свидания, Софья!

— Прощай!

— Может, когда-нибудь встретимся, если жив буду...

Она ничего не ответила, только слегка помахала рукой. Тройка понеслась, как ветер, и скоро скрылась из глаз.

Поздно ночью Яков пришел домой. Мать принесла спелых помидоров, краюху ржаного хлеба и чашку молока.

— Не пей больше, Яша, — попросила она, не сводя с сына ласковых глаз, в которых было столько нежности, любви и заботы, что, взглянув украдкой на мать, Яков почувствовал всю глубину ее тревоги, ее невысказанное горе, невыплаканную тоску. — Не надо... убьет тебя горилка... Вишь, как исхудал-то за эти дни.

Яков густо посолил разломанный помидор и с аппетитом начал есть.

2

Густые ветви старой липы нависли над небольшой часовенкой, притулившейся в углу церковной ограды. Даже в будни здесь горела лампадка, и верующие иногда заходили сюда, чтобы приложиться к иконе и опустить в узенькую прорезь синего ларца медную монету.

Сегодня у часовенки — сотни людей, и почти каждый, купив дешевую свечу, тут же примащивает ее в подсвечник, густо закапанный воском. Желтеют огоньки в предрассветном тумане, и бледный их свет падает на лица рекрутов. Не отрывая глаз, глядят они на потрескавшуюся икону Николая-чудотворца. Они верят в ее чудодейственную

силу, молят уберечь их от вражеской пули и острого штыка, сохранить от смерти на поле брани.

Священник служит молебен. Певчих заменяет один псаломщик. Где-то всхлипывает женщина, стараясь облегчить свою боль слезами и молитвой.

Псаломщик равнодушно посматривает на рекрутов и звонким тенорком повторяет вслед за священником: «Помилуй нас, господи!»

Он произносит эти слова скороговоркой и так невнятно, что, сливаясь, они образуют какое-то куцее, непонятное «помилос».

Молятся, долго молятся рекруты, бьют земные поклоны; невыразимая тоска, скорбь, безутешное горе и отчаянье застыли на лицах. Вдруг впереди, возле самой часовенки, кто-то зарыдал:

— Не хочу я... не хочу! ..

Это плакал будущий солдат Кузьма Сукачев. В сатиновой рубашке, в штанах — заплата на заплате, он первым пришел сюда с женой и детьми. От горя, что вот покинул он уже свою родную хату, а после молебна оставит и семью, и от страха перед неизвестным будущим не сдержался Кузьма и, закрыв лицо старой, вылинявшей фуражкой, глухо рыдал.

Спокойно и привычно, как всегда, священник продолжал богослужение, а псаломщик, хоть и взглянул на плачущего рекрута, остался равнодушным: его ничто здесь не трогало.

Кузьма умолк и снова, устремив глаза на икону, стал горячо молиться.

К концу службы прибыли сотские, стражники и даже сам господин пристав.

Молебен кончился. Высоко в небе бледнела ущербленная луна. Церковный сторож гасил свечи и, вытаскивая их из подсвечников, бросал в деревянный ящик, из которого от тлеющих фитилей вился сизоватый пахучий дымок.

К часовне подъехали две подводы. На первой сидели Трофим Бессалый с женой и сыном Александром. На второй — брат Трофима Лукьян, провожавший на войну сына — тоже Александра — и своего батрака Глеба Калмыкова.

Последней пришла к часовне Софья Изарова. В пестрой толпе рекрутов она разыскивала своих племянников.

Яков, не решаясь подойти к ней, жадно следил за

каждым ее движением, но она не замечала, не чувствовала его взгляда.

Жалобно плакала худенькая женщина, припав к груди своего мужа — Пимена Базалия. Пимен никак не мог утешить жену и только нежно гладил широкой ладонью ее дрожащие плечи.

— Береги... береги дочурку...

Девочка лет шести, прижимаясь к матери, тоже плакала и обнимала ручонками колени отца.

А в стороне, у воза, стоял раскрасневшийся Лукьян и, обращаясь к племяннику, говорил:

— Я уверен, Александр, ты вернешься с крестами и медалями. Ты человек образованный, сразу офицерский чин получишь. Тогда и моего Александра не забывай. Может, и он хоть до прапорщика дотянет. Как-никак, а вы ведь двоюродные братья.

— Береги себя, сынок. Береженого и бог бережет, — наставлял сына Трофим Иванович, а худенькая жена его, одетая как монашенка, во все черное, не могла и слова вымолвить. Обняв своего Сашеньку, она вся дрожала от сдерживаемых рыданий.

Александр не любил слез. Он с удовольствием шел на войну, там перед ним открывались такие заманчивые перспективы! Его заветной мечтой было стать офицером и, отличившись в боях, получить награды.

— Ну, перестань, Олимпиада, дорогой костюм испортишь, — говорил Трофим Иванович, беря жену за руку и отводя ее в сторону. — Такие деньги заплачены, а ты испортишь. Слеза — она тоже следы оставляет; попадет пыль — вот тебе и пятно, — поучал он ее, как маленькую.

Александр торопливо и неохотно прощался с младшими братьями, все время посматривая, скоро ли можно будет тронуться в дорогу, покончив с этими неприятными церемониями. Потом подошел попрощаться с теткой, которая была старше его всего на два года.

Целуя племянника, Софья пожелала ему возвратиться с войны живым и здоровым. То же самое сказала она и сыну Лукьяна.

Вблизи часовенки стояли Македоны.

— Не забывай, Яков, отца с матерью, почаще хоть письма пиши, — и отец отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Хорошо... буду писать...

Очень жаль было Якову родителей. Он еще раз обнял

их, поцеловал и решительно направился к Софье. Увидев в ее глазах испуг, он понял, что поступил необдуманно, но возвращаться было уже поздно.

— Прощайте, Софья Ивановна! Кто знает, доведется ли свидеться...

Он протянул руку, но Софья неожиданно при всем народе поцеловала его в губы.

— Желаю тебе, Яков, возвратиться живым и здоровым, — сказала она, и глаза ее сразу наполнились слезами. — Напиши, как там... на войне... Ждать буду...

Она волновалась, ее волнение передалось Якову. Он еще сам не понимал, что с ним происходит. Все перепуталось в его голове. Чувство обиды, которое жило в нем после незабываемой встречи в лесу, сейчас бесследно исчезло, словно его никогда и не было.

Перед ним опять стоит Софья, такая близкая, любимая. Так много хочется сказать ей в эту прощальную минуту, но он молчит, только глядит на нее, на ее слезы, обжигающие ему душу.

К отцу Якова подошел Мефодий Дробот. Они старые приятели: в молодости вместе ходили на вечерницы и даже поженились в один год. Только не повезло Мефодию: померли дети, вскоре померла жена, и теперь он жил одиноко в лесной избушке, редко навещая слободских друзей. Сбоку на ремне у него висел медный рожок, изогнутый, как молодой месяц. Лесник успокаивал старого Македона, утешал Македониху, которая стояла тут же, заплаканная и печальная.

Зазвонили колокола. С тревожным карканьем взлетели грачи и, покружившись немного над колокольней, полетели навстречу утренней заре, ярко разгоравшейся на далеком горизонте. Поднимая удушливую пыль, рекруты двинулись от часовни. Следом за ними, поскрипывая колесами, потянулись подводы, груженные их пожитками.

Ни с кем не прощался только пятнадцатилетний доброволец Терень. Круглый сирота, он не знал своих родителей. Летом Терень пас скот у кулаков, зимою ухаживал за ним, а когда выпадал свободный часок, шел к деду Михею, с которым его связывала верная и трогательная дружба. Но, к несчастью, дед захворал и не смог сегодня прийти к часовне попрощаться со своим молодым другом и проводить его в дальнюю, неизвестную дорогу.

Вдруг кто-то заиграл на гармошке, и сразу же над печальной толпой взлетел высокий, звонкий голос:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья...

Но никто не подхватил песню, и одинокий голос оборвался.

У часовенки остались только Мефодий Дробот и еще несколько крестьян, им некого было провожать. Мефодий стоял, пока толпа не свернула в другую улицу, потом перекрестился и не спеша пошел к себе в лес.

Над узкой улицей тучею повисла густая пыль. Люди шли молча, каждый был погружен в свои думы.

В конце села, под белой березой, прощался с женою и сыном еще один рекрут.

Вот, закинув за плечо мешок, он направился к дороге, по которой шагали новобранцы. Жена с мальчиком бежала за ним и с плачем бросалась к нему, обнимая его за шею. Он отрывал от себя ее руки, пытался успокоить, но она, видно, не совсем понимала, что происходит. Рекрут еще раз обнял жену, прижал к груди сынишку и, крепко поцеловав, бережно опустил его на землю, а сам, не оглядываясь, быстро пошел прочь.

Поняв наконец, что мужа не удержать, женщина остановилась и долго смотрела ему вслед.

Это был Метелик, деревенский грамотей, хороший хозяин и охотник. Он поздоровался с народом, бросил на подводу мешок и, догнав товарищей, пошел с ними рядом.

Миновав балку, рекруты сели на подводы, чтобы не надрывать сердца тяжелыми проводами, не видеть слез родных и близких. А на дороге за околицей долго еще стояла толпа, провожая взглядом подводы, направляющиеся к станции.

На востоке, красное, как полевой мак, поднималось солнце. Кружили над полем вороны и летели следом за рекрутами, будто чуяли богатую добычу.

Все уменьшались подводы и люди, а скоро и совсем исчезли в степной дали. А толпа не расходилась. Полными слез глазами глядели крестьяне на опустевший шлях. Там, где он сливался с горизонтом, появилось и быстро росло темное облако, предвещая грозу.

8

На опушке леса, словно грибы-беляки, укрыли лесную поляну полотняные палатки. Отсюда, с поляны, виден город с несколькими церквами на холмах. На траве у палатки собрались дружинники. Яков Македон затянул песню, несколько товарищей подхватили ее. Печальная мелодия напоминала о родном доме, тревожила сердце. Пели тихо, зная, что за «мужицкие» песни можно получить от начальства наряд вне очереди. В чащу бора из города долетел звон колоколов, и, может быть, не один зверь, насторожившись, прислушивался к однотонному гудению и, вспугнутый, мчался потом в такие дебри, где не ступала еще нога человека.

Тихо и печально лилась грустная мелодия. Пролетела над головой ночная птица, и на ближнем дубе закачалась ветка. Зорким глазом охотника Метелик безошибочно определил, что это сова, и действительно, через минуту ее резкий жалобный крик, напоминавший плач ребенка, пронесся над поляной. Песня оборвалась. Несколько дружинников повернули головы к дубу.

— Не к добру плачет сова, — сказал Пимен Базалий и торопливо перекрестился. — Ой, не к добру...

Все смолкли.

— Как-то к моему соседу повадился сыч, — шепотом начал рассказывать Кузьма Сукачев, — только бывало стемнеет, он и кричит на клуне, а перед троицей клуня сгорела.

— Попка тоже предсказывать умеет. На ярмарке билет мне «на счастье» вытащил, — начал было рассказывать Глеб Калмыков и вдруг замолчал.

С молодого дубка взлетела сова, в воздухе послышался легкий шум ее крыльев.

— Чудная птица: чем ночь темнее, тем лучше видит. Ровно кошка, — заметил охотник, — а злющая — не доведи господь. Как-то подстрелил я вот такую сову, взял ее в руки, так, верите, в кровь всего исцарапала. Помню, за ее крылья Изаров еще рубль мне заплатил.

Снова замолчали, прислушиваясь, как в вечерней тишине волна за волною плыл церковный звон колоколов.

— Завтра воскресенье, праздник Тихвинской богоматери.

— В нашей слободе ярмарка. Народу понаедет, всякого добра навезут.

— А кто покупать будет? Обеднел мужик — война.

— Смотря какой мужик. Вот Лукьяна, к примеру, взять, Софьиного брата, — этот живет... Сам обдирает других. И так у него всего вдосталь, а он еще солдатские земли начал арендовать исполу, наживается.

— Барышники да торговцы тоже наживаются, а наши семьи на одной картошке сидят.

— Да и той не вволю. До рождества, может, еще хватит, а как дальше быть — подумать страшно. Помирать будут с голоду... Кто им поможет? Кто?

— Слышал я, рабочие против войны бунтуют.

— А на них полицию да жандармов пошлют, а то и казаков — сразу утихомирят.

— Перебьют нас в окопах, перекалечат, — сказал кто-то упавшим голосом.

В разговор вмешался Яков Македон:

— А я вот все думаю. Встретился я как-то в лесу с одним рабочим. Спичек у него не было. Выкресал я огня, закурили. Начал он меня расспрашивать: откуда, мол, я, да кого дома оставил, что до войны делал? «Плотничал, говорю, с батькой на селе». Оглядел он меня попристальнее и спрашивает: «Разве нужна тебе эта война? Или вот, скажем, этому австрийцу или немцу, в которых ты стреляешь, нужна она? А ты подумал, что и в тех армиях солдаты, может, такие же рабочие и крестьяне, как и мы? Разве они что плохое тебе сделали? Они такие же, как и ты, труженики. Дома у них остались родители, жены, дети и сестры... А ты их, этих солдат, станешь убивать? Не туда смотришь, Яков, не там твои враги!» Мне так хотелось поговорить с ним, потолковать обо всем, да он куда-то торопился. «Мы еще, говорит, с тобою встретимся. Вижу, не все тебе сейчас понятно, но ничего, после поймешь. Я тоже когда-то таким же был, вроде тебя». Да... И пошел он в чащу... Артемом его звать, а работает он токарем тут же, в Брянске, в арсенале... «Не туда, говорит, смотришь. Не там твои враги!» — повторил Яков слова токаря. И, немного помолчав, добавил с горечью: — А может, и правду он сказал? Что мы видели? Где бывали? Что знаем? Как слепые... Как стадо... Вот и гонят на убой.

Не шелохнувшись стояли старые сосны. Где-то в тем-

ных зарослях кричали совы, и, прислушиваясь к их крику, Пимен Базалий тихо повторил:

— Ох, не к добру этот крик, не к добру...

Из офицерской палатки прибежал Терень.

— Кто здесь пел?

— Ну, заработали под воскресенье по наряду, — сказал Кузьма Сукачев, — недаром совы кричали.

— Да вроде мы и пели-то потихоньку, а, гляди, придется отвечать. Эх ты, жизнь наша солдатская!

— Приехал полковник, а с ним Александр Бессалый, — продолжал Терень, — то есть его благородие прапорщик Бессалый. Он-то и приказал всем «певцам» явиться к нему.

— Мучит нас Трофимов сынок. Написать бы его родителям...

— И не думай! Он тебя за это в бараний рог согнет. Десять нарядов вне очереди влепит.

— А зачем зовет, не знаешь?

— Тут и знать нечего. Ясно и так... Попадет нам за мужицкие песни. Ну, ничего не поделаешь, пойдем. Ежели все явимся, может, помилует. Не обижают тебя, Терень, офицеры?

Терень ничего не ответил, будто и не слышал вопроса, только снова напомнил:

— Сейчас же приходите, — и побежал.

Кузьма Сукачев, глядя ему вслед, сказал:

— По деду тоскует Терень.

И верно, не раз парень вспоминал деда Михея. Охотно вернулся бы он в родное село, да разве теперь отпустят. Из города в гости к офицерам часто приезжают барышни. И тогда Тереню приходится таскать тяжелые корзинки с вином и закусками: он и за посыльного у них и за денщика. Так устает Терень, что ног под собою не чует. Если б разрешили, он бы, кажется, трое суток проспал беспробудным сном.

Но спать Тереню приходится всего часа два-три, а утром его, измученного, вместе с другими солдатами гонят на стрельбище. Крепится юноша, а выпадает свободная минутка, уйдет в лес и там потихоньку плачет, вспоминая деда Михея и свою прежнюю свободную жизнь. Завидует своим сверстникам Терень, жалеет, что пошел добровольцем на фронт.

Тяжкая, безрадостная была его батрацкая доля. Ду-

малось: «Может, там, на войне, полегче будет». А теперь Терень видит, как горько он ошибся. Ежедневно наблюдая жизнь офицеров, парень понял многое, что отталкивало его от этих людей, вызывало в нем чувство обиды, ненависти. Иногда он заходил в палатку к землякам, и Кузьма Сукачев, приласкав его, как родного сына, сочувственно говорил:

— Тяжело тебе, сынок, прислуживать офицерам!

Может, потому, что Кузьма называл его «сынком», а может, и потому, что понимал душевное состояние Тереня, видел, как ему тяжело, и по-отцовски жалел, в душе парня поднималась такая жалость к самому себе, к мучительной своей доле, что на глаза навертывались непрошенные слезы.

— Ничего, Теренька, потерпи еще малость. Вот станут отправлять нас на фронт, проси, чтобы тебя отпустили домой, к деду. Начальство должно разобраться. Мал ты еще, не под силу тебе солдатская жизнь. Это понимать надо. Да и за дедом Михеем уход нужен. Старый ведь он, слабый. . .

Не стыдясь Кузьмы, Терень горько заплакал. Долго сдерживаемые рыдания неожиданно прорвались так бурно, что остановить их уже не было сил. Кузьма Сукачев молча гладил худенькие плечики мальчика, успокаивал.

— Не плачь, Теренька, скажи им, что не по силам, дескать, тебе солдатская служба, домой хочешь, к деду. Тебя и отпустят.

Все это сейчас невольно вспомнилось Кузьме, и он почувствовал глубокую жалость к пареньку.

— Ну что ж, мы люди подневольные. Приказано идти — пойдем. Должны выполнять приказ.

И дружинники, скрывая недовольство, даже злобу, направились к офицерской палатке. Но в палатке, кроме Тереня и еще одного солдата-денщика, никого не было. Оба они держали в руках корзины, прикрытые сверху полотенцами.

— Приказано отвести всех туда, — махнул Терень рукою по направлению старых сосен.

На небольшой поляне сидели офицеры. Прямо на траве лежал полковник Бабенко. Подбрасывая в костер сухой хворост, он любовался огнем. Руки у него были жилистые, как у человека, занимающегося тяжелым

физическим трудом. Короткие, удивительно подвижные пальцы густо поросли черными курчавыми волосами.

Яркое пламя освещало уже немолодое, припухшее от непомерного пьянства лицо полковника. В выхоленных усах и на висках пробивалась заметная седина. Под широким крутым лбом глубоко прятались маленькие глазки, поблескивающие хитроватыми искорками. Казалось, каждого человека он видел насквозь.

Рядом с полковником щебетали городские барышни, все время беспричинно смеясь и кокетничая. Одетые в легкие платья, в одинаковых зеленых шляпках, они были похожи друг на дружку, как сестры.

Полковник Бабенко, заметив дружинников, приподнялся на локте, и сейчас же к нему подскочил щупленький офицерик с острым, птичьим носом, остренькой, как у хорька, мордочкой и такими маслянисто-подобострастными глазами, точно с малых лет он только тем и занимался, что прислуживал старшим, с полуслова угадывая их желания.

Не осмеливаясь прямо взглянуть в лицо командиру, он смотрел своими серыми глазками только на кончик полковничьего носа, красноватый, как недозревшая слива.

Только сейчас Бабенко заметил около себя этого офицерика и обратил внимание на его узкий, неестественно вогнутый лоб, словно в детстве офицерика стукнули по лбу железным прутом, оставив на всю жизнь неизгладимый знак.

— Это что же у тебя, братец ты мой, лоб так покорежен?

— От рождения, так сказать, господин полковник, — охотно и бойко ответил офицерик, довольный, что начальство обратило на него внимание. — Папаша мой был чиновником, часто запивал, а потом нещадно бил жену, то есть... мою мамашу. Поскольку я был, так сказать, в утробе... — Он замолчал, услышав, как хихикнули барышни, однако быстро овладел собой и продолжал, желая удовлетворить любопытство полковника. — Еще в утробе материнской, так сказать, получил повреждение... Прикажете дружинникам дать команду?

— Погоди-ка, голубчик. Как же твоя фамилия?

— Усиков. Прапорщик Усиков. Изволили забыть, я уж с вами знаком.

— Фуражку наденьте!

Офицеры засмеялись. Усиков с быстротой мыши бросился к кусту боярышника, на котором повесил фуражку. Полковник, пытаясь встать, почувствовал, как чьи-то сильные руки любезно подхватили его под локти, поднимая дородное, отяжелевшее от хмеля тело.

— Спасибо, голубчик, спасибо. — Полковник внимательно оглядел бравого офицера. — Что-то я вас не припомню.

— Прапорщик Бессалый!

— А-а... — удивленно воскликнул Бабенко, точно встретил старого приятеля, с которым не виделся много лет. — Молодец! Ты мне нравишься.

Попыхивая трубкой и слегка покачиваясь, он пошел навстречу дружинникам.

— Когда здорово выпьет, родную мать не узнает, — бросил кто-то по его адресу.

Все офицеры двинулись за полковником. Дружинники остановились по всем правилам устава и четко ответили на приветствие. Полковнику это понравилось.

Шатаясь, он подошел к Якову Македону.

— Мне говорили... — начал он, и трубка выпала из его рта; Усиков быстро поднял ее, вытер платочком и подал. Бабенко взял трубку и, не поблагодарив, сунул ее в рот. — Мне говорили, голубчик мой, что все вы хорошо поете. Господа офицеры, не знаю, известно ли вам, что я провел свое детство в деревне... в украинской, очень красивой деревне. Бабушка моя была старинного казацкого рода. Она имела...

— ...свое поместье над Росью. Ах, какое прекрасное, так сказать, поместье! Какие там сады, водопады, леса! — воскликнул Усиков с таким восторгом, будто все эти богатства принадлежали лично ему.

— Погоди-ка, батенька. Откуда ты все это знаешь? Верно, поместье было над Росью.

— А вы сами, господин полковник, рассказывали о своих родителях.

— Было имение... над Росью. И бабушка была. Там я любил слушать народные напевы. Мне известно, что среди вас есть хорошие певцы.

У всех отлегло от сердца, свободнее вздохнули дружинники. А полковник все еще стоял перед Яковом и, тыча ему в грудь пальцем, спрашивал:

— Ты, голубчик мой, умеешь петь?

— Так точно, ваше высокоблагородие, умею.

— Дать им водки... нет, по-нашему, горилки... Горилки приказываю им дать! Я знаю: хохлы ее любят. — И полковник, очень довольный, что вспомнил украинское слово, улыбаясь, пошел к костру.

Дружинники разместились под старой сосной. О них скоро забыли. Приказ полковника на этот раз остался невыполненным. Белая скатерть около костра вся была уставлена бутылками и всевозможной закуской. Терень вместе с другим солдатом-денщиком еле успевали откупоривать бутылки. Полковник умел пить и хвастался этим перед офицерами.

— По-моему, так: или вино, или горилка. Страшно не люблю смеси. Но вино на меня уже не действует, я отдаю его барышням. Барышни сладенькое любят... А я употребляю только белое.

Он поднял свою рюмку. Усиков, который каждый раз успевал чокнуться с полковником, выпил — тоже белого — до дна. Опьянев, он рассказывал:

— У меня папаша, так сказать, тоже человек был с характером. Пил только белое и меры не знал, выпьет все, сколько ни нальешь.

— Где же певцы? Почему молчат? — спросил полковник.

Усиков, отставив рюмку, визгливым голосом подал команду дружинникам:

— Вста-ать! Шагом... аррш! — И эхо в зарослях повторило: «А-аррш!»

— Зачем же? Боже мой... Пускай там поют, — лениво махнул отяжелевшей рукой полковник.

Слушая слаженное пенье дружинников, расчувствовавшийся полковник вытирал платочком глаза.

— Господа офицеры!.. Мелодия... какая мелодия!.. Она напоминает мне детство... далекую Рось, бабушку... — И он заплакал.

— Господин полковник, позвольте, так сказать, прекратить...

Полковник не слышал. Обняв колени какой-то барышни, он изливал перед нею свои чувства.

— Я там родился, жил там на Роси. Видал их... Кто они? Хохлы, мужики! А такую мелодию... Нет, вы только послушайте, голубчики мои, послушайте... Горилки! —

— Нет, гнилой сук обломился, — пояснил Савелий.

Кто-то из дружинников нетерпеливо спросил:

— Кончил?

— Еще немного осталось.

— Тогда дочитывай.

— «Всех зовите к борьбе... Лучше погибнуть славной смертью в борьбе за рабочее дело, чем сложить голову на фронте за барыши капитала или зачахнуть от голода и непосильной работы... Все под красные знамена революции! Долой царскую монархию! Да здравствует республика!.. Вся помещичья земля народу!.. Долой войну! Да здравствует социалистический Интернационал!»

Тяжелое молчание первым нарушил Кузьма Сукачев:

— Про землю верно сказано... Земля — народу!

— А что это такое — тернационал? — спросил Савелий у Якова.

— Сам впервой такое слово слышу, — откровенно признался Яков. — Да думка у меня такая: ежели рабочие его вспоминают, значит на пользу он трудящемуся человеку. Может, я с Артемом встречусь, тогда спрошу у него. — И, бережно сложив прокламацию, Яков сказал: — Читайте ее верным людям. Пускай слушают.

Где-то прокричала сова, и ее жалобный одинокий крик замер в темном бору.

4

Кончилось лето. Сосны стояли такие же зеленые, как весной, только по утрам ранняя изморозь густой сеткой покрывала иглы. Иногда со степи налетал порывистый ветер, приносил холодный дождь. У большинства дружинников не было ни крепкой обуви, ни теплой одежды.

С большим нетерпением ждали обмундирования, но его почему-то не привозили. А погода с каждым днем становилась все холоднее.

Вскоре выпал и первый снег. Дружинники, как обычно, выстроились повзводно в две шеренги, ожидая поверки. Прапорщик Усиков, осматривая солдат, орал на них, грозя маленьким кулачком:

— Ты мне стой так, чтоб видна была выправка бравого солдата! Выше голову! Грудь, так сказать, колесом!

Вдоль шеренги своего взвода шагает прапорщик Бессалый. Одному даст леща, другого схватит за грудь

и встряхнет так, что у солдата затрещат кости, третьему достанется зуботычина. Поднимались головы, расправлялись плечи, но невозможно было унять дрожь полураздетых людей, и это еще больше бесило Бессалого. Вот он подошел к Кузьме Сукачеву. Ботинки у Кузьмы рваные, одежда изношена. Лицо посинело от холода. Еще ночью он промерз до костей, а сейчас у него просто зуб на зуб не попадал. Прапорщик злобно посмотрел в глаза земляку.

Лицо Сукачева наливается кровью, багровеет...

Сегодня утром прошел слух, что дружинникам наконец привезли долгожданное обмундирование и на утренней поверке будут выдавать.

И действительно, этой ночью на территории лагеря появились прикрытые брезентом двуколки. Дружинников вызывали по списку. Вот из строя вышел Метелик. Ему выдали гимнастерку и шаровары. Метелик стоит, ждет. Ведь должны выдать еще шинель и сапоги; его ботинки совсем износились.

— Иди! Чего стоишь, как пень?

Метелик понял, что больше ему ничего не выдадут, и молча пошел на свое место. Вызвали Кузьму Сукачева. Сунули в руки обмундирование. Рассматривая его, Сукачев увидел на гимнастерке кровавые пятна. Это его поразило. Кузьма попытался обменять гимнастерку, но на него заорал офицер, а к двуколке в это время уже подходил третий солдат, за ним четвертый, пятый...

Падал снег, и хотя было холодно, дружинники не решались надевать полученное обмундирование. Кровавые пятна и дыры от пуль пугали солдат. Было ясно, что эту одежду сняли с убитых. Однако дружинников так пробирал холод, что, превозмогая страх и брезгливость, они все-таки надевали невыстиранную одежду.

В тот же день дружинников перевели из лагерей в городские казармы.

5

Утро следующего дня было удивительно теплым и ясным. Высоко в небе курлыкали журавли. Не успеют они скрыться с глаз, и за ними уж появляются стаи диких гусей. Птицы улетали на зиму в теплые заокеанские края.

Было воскресенье. В брянских церквах звонили к обед-

не. Яков Македон и Метелик шли по деревянному тротуару. Под ногами шелестели желтые листья. В воздухе, поблескивая на солнце, проплывали серебристые паутинки: стояло «бабье лето». Дружинники осматривали город. Здесь было много одноэтажных домиков, выбеленных, чистеньких. Окна заставлены цветами, завешены тюлевыми или коленкоровыми занавесками. Все напоминало родную слободу.

Изредка встречались пешеходы, большею частью старушки с детьми. Они были одеты по-праздничному, шли в церковь. Дружинники вежливо уступали им дорогу, сходя с тротуара, местами такого узкого, что разминуться на нем было почти невозможно.

Уже несколько раз останавливали их старушки, спрашивая, не знают ли солдатики чего-нибудь об их сыновьях и внуках. Может, встречались с ними? И называли незнакомые фамилии.

Сгорбленные, печальные, шли они в церковь, чтобы подать там грамотку «за здравие», а потом раздать верующим просвирку, разломанную на мелкие кусочки. Глядя на старушек, Яков вспоминал мать. Быть может, и она вот так же идет сейчас в церковь, чтобы помолиться за русских воинов.

— Погляди, Яков, сколько астр во дворе. Как они до сих пор не померзли? . .

Но не астры привлекли внимание Якова, а небольшая жестяная табличка с нужным номером.

— Кажется, тут, — сказал он, останавливаясь возле калитки.

— Погоди. . . куда это ты? Мы уговорились осмотреть город, а ты уж знакомых нашел. Кто они такие?

— Сейчас увидишь.

Перед окнами одноэтажного домика пышно разрослась сирень и кусты желтой акации. Эти акации напомнили Якову незабываемую встречу с Софьей. Но невольное воспоминание вызвало в душе и горькую обиду.

— Зайдем?

Крыльцо и небольшая веранда были сплошь увиты диким виноградом. Листья почти осыпались, но те, что уцелели, окрасились в яркий багряный цвет.

Скрипнула дверь в сенях, и на крылечке показалась простоволосая девушка в сером ситцевом платье. Она

вплетала в косу алую ленту и внимательно, хотя и немного озабоченно, разглядывала неизвестных людей.

— Здравствуйте! — поздоровались дружинники.

— Здравствуйте! — ответила девушка и насторожилась, ждала, что скажут.

— Какие у вас хорошие астры! — сказал Метелик, любуясь клумбой. — Я очень люблю цветы. У меня дома тоже такие: розовые, белые, темносиние...

Слушая дружинников, девушка думала: «Не цветы вас тут интересуют, раз вы зашли даже».

— Скажите: здесь живет Артем Черкашин?

Яков словно притронулся к свежей ране. Заметил, как девушка побледнела, но, быстро овладев собой, приветливо улыбнулась. И эта улыбка, словно весенний ветер, согнала с ее лица настороженность, глаза заискрились ласково и тепло.

— Я догадываюсь... Брат говорил мне о вас. Он ждал... — И опять при упоминании о брате лицо ее стало озабоченным, на нем отразилось страдание. Было видно, что ей хотелось скрыть от посторонних людей свою боль, но горе было еще таким свежим, так щемило душу, что отражалось в ее глазах. И Яков Македон видел это. Он хотел поскорее узнать, что случилось с Артемом. Где он? Как утешить его сестру, чем помочь ей?

А девушка, наверно, сердцем почувствовала, что именно этот кареглазый парень и есть тот дружинник, которого ждал к себе в гости и про которого рассказывал ей брат.

— Вы Яков... Яков Македон? Я угадала? — Девушка доверчиво протянула ему руку. — А вас как зовут? — повернулась она к Метелику.

— Меня? — почему-то удивленно переспросил Метелик и, вытянувшись в струнку, ответил: — Константином. Константин Метелик. А вы, наверно, сестра Артема? Я только раз и видел вашего брата. Похожи вы... глазами... и вообще...

— Разве что глазами, я курносая, — улыбнулась девушка, переводя взгляд на Якова Македона.

Тот не выдержал искрящегося взгляда голубых глаз, который, казалось, проникал ему в самую душу, и, покраснев, опустил голову.

— Да чего мы здесь стоим? Пожалуйста, заходите, —

спохватилась девушка, широко открывая перед ними двери. — Чувствуйте себя как дома.

— Спасибо. А теперь и вы скажите нам свое имя, — попросил Яков.

— Нина, — ответила девушка, улыбнувшись.

И как лучи солнца, падая на тихую заводь, окрашивают ее своим сиянием, так улыбка ее оживляла лицо и особенно глаза. Но исчезала улыбка, и опять суровая сосредоточенность, как тень, наплывала на лицо девушки. Сильнее отражалась на нем тревога, которую она не в силах была скрыть. И это еще больше беспокоило Якова Македона. Ему хотелось поскорее про все узнать. Но молодая хозяйка, взяв сверкающий тульский самовар, сказала:

— Подождите меня немного, я сейчас... — и вышла в кухоньку.

Комната была чисто прибрана. На окнах много цветов. Около крайнего окна стояла этажерка с книгами. Висело несколько картин. Небольшое зеркальце отбрасывало на стену солнечные зайчики. В углу стоял круглый столик, накрытый дешевой, но чистой скатерью, на столике красовались фотографии, цветные открытки, заботливо, с любовью расставленные.

— Ну, а где же Артем? — спросил Яков, когда молодая хозяйка вернулась из кухни.

— Артема уволили с работы в арсенале, мобилизовали и в тот же день отправили на фронт. Наверное, уже где-нибудь в окопах...

— А почему на фронт? — спросил Яков. — Артем ведь хороший токарь. Такие люди на заводе нужны очень.

— Токари-то нужны, да не такие, как мой брат.

Ей очень хотелось в эту минуту поделиться с ним своим горем, рассказать о том, что передумала она за целый день. Но девушка попыталась сдержать свои чувства — ведь они еще очень мало знакомы. Быть может, они и поговорят потом, когда лучше узнают друг друга.

— Много наших рабочих угнали на фронт. Многих уже и на свете нет. А искалеченных домой вернули, но на работу нигде не берут... Дома семьи голодные...

— Значит, и рабочих берут. Я думал, им отсрочка дается,— сказал Метелик,— думал, только мы, крестьяне, воюем, а оно выходит — и мастеровые люди в бой попадают.

— Попадают, — печально ответила Нина. — Стоит

только кому-нибудь из рабочих пожаловаться: дескать, на заводе тяжелые условия работы или заработки малые и администрация злоупотребляет сверхурочными часами — так и знай, что уж к мастеру или управляющему попал на заметку. Завтра тебя вызовут к военному начальнику, а тот сразу: «На фронт!» Боятся они народа. Но придет время, — рабочие рассчитаются с ними за всю несправедливость, за все обиды.

Брови у Нины нахмурились, лицо стало жестким, даже суровым. Глядя на нее, Яков подумал: «Молодая, а, видно, уж хлебнула немало горя».

— Ничего, Артему и на фронте найдется работа. Мы с ним скоро встретимся, ведь я тоже иду на войну сестрою милосердия.

Но как-то не верилось дружинникам, что такая молодая девушка может на это решиться. Ведь и сам Яков, и Константин, да и многие дружинники боялись фронта. Там бои, кровь, увечье, смерть... Их удивляло решение Нины, которая неизвестно по какой причине хочет рисковать своей жизнью...

— Там могут убить. Война... — осторожно предупредил Яков.

Лучистые глаза девушки остановились на нем.

— А разве только там война? — спросила она и, увидев, что гость отвел глаза, не поясняя своей мысли, добавила: — Я должна туда ехать. Так надо. — И чтобы перевести разговор на другую тему, спросила: — Хотите чаю?

Метелик очень любил чай и не мог отказаться от приглашения. А Нина, не ожидая ответа, уже звенела посудой, расставляя на столе стаканы и блюдца.

Яков, сам не зная отчего, стеснялся девушки. То он ронял чайную ложечку, то рассыпал сахар, то, наливая горячий чай в блюдце, как маленький, неожиданно залил скатерть и густо покраснел.

— И не пьяный, а вот скатерть...

— Ничего... Не обращайте внимания, — успокаивала гостя молодая хозяйка, незаметно наблюдая за каждым его движением.

Яков не смотрел на девушку, но, чувствуя на себе ее взгляд, смущался еще больше и не мог уже прямо взглянуть ей в глаза.

— Откуда вы родом? — поинтересовалась Нина.

— Мы? — переспросил Метелик. — Мы с Украины

Есть такая слобода Борисовка, там родились, там и жили до войны.

Стенные часы пробили три раза, и дружинники переглянулись, собрались уходить.

— Увольнительная у нас только до четырех, — пояснил Метелик. — Если опоздаем, посадят на гауптвахту.

— Не стану вас задерживать. Вот только цветов нарву.

— Зачем же? Пускай растут... Куда мы их денем? Это ведь не дома... Да солдатам и не положено, — сказал Яков, поднимаясь со стула. Он все еще чувствовал неловкость и стал извиняться: — Скатерть вот вам залил.

Девушка, улыбаясь, смотрела ему в глаза.

— Про такую мелочь и говорить не стоит... Я очень рада, что познакомилась с вами. Будет время — заходите, пожалуйста, я всегда рада вас видеть, товарищи!

Крепкое рукопожатие и слово «товарищ», сказанное как бы случайно, но просто и сердечно, словно весенний теплый ветерок, овеяло их сердца.

Яков и Константин вышли во двор.

— Хоть немного астр возьмите, — предложила Нина. Она нарвала большой букет и разделила его поровну; потом еще раз крепко пожала дружинникам руки и попросила заходить. А когда гости вышли со двора и за ними захлопнулась калитка, она, стоя в палисаднике под кустом акаций, проводила их долгим ласковым взглядом.

Обернувшись, Яков увидел ее, приветливо помахал на прощание рукой; почему-то опять ему невольно вспомнилась Софья.

— Понравилась тебе девушка? Правда, хороша?

Яков промолчал, думая о чем-то своем...

Проводив дружинников, Нина помыла стаканы и, прибрав со стола самовар, села у окна вязать варежки Артему. Но работа что-то не ладилась. Быстро вечерело. На западе широкою багряно-фиалковой полосой угасала холодная заря, и на фоне ее четко вырисовывались пожелтелые деревья. Черные стаи ворон с криком усаживались на вершинах деревьев. Сначала Нина думала о Якове Македоне, заинтересовавшем ее, но вскоре более сильные впечатления вытеснили его образ, и перед глазами девушки встали другие люди, другие события, которых ей никогда не забыть.

Словно все происходило вчера, так отчетливо вставал в ее памяти тот день, когда она, девушка из провинции, приехала в Петербург.

На вокзале ее встретил брат.

— Вот и хорошо, курносая, что приехала наконец. Я уж договорился, будешь работать на фабрике «Треугольник», а там видно будет, — говорил он, обнимая сестру, будто не виделся с ней целую вечность. — А как мать? Наверно, никак не хотела отпускать тебя? Плакала?

— Плакала... Но отпустила.

— Ничего, вот мы получше устроимся, тогда и ее возьмем к себе. Чего ей одной жить в Брянске? А хату можно продать.

— Что ты, Артем? Да мама ни за что на свете не согласится на это. Ни за что не расстанется с отцовской хатой. Я знаю...

Брат нес чемоданчик с нехитрыми пожитками, Нина еле поспевала за ним. Она с интересом разглядывала город, в котором ей придется жить и работать.

...Как тихая вода в реке, проплывали воспоминания.

Засветились в небе звезды, а на окраинах Брянска вспыхнули такие знакомые, родные огоньки.

Нине не хотелось зажигать лампу. Она сидела в сумерках одна, ожидая мать, которая пошла проведать больную подругу и почему-то задержалась.

В памяти Нины всплывают и другие воспоминания. Припоминается ночь, когда возвратился домой Артем и, не раздеваясь, положил на ее кровать полотнище из красного шелка и несколько мотков белых шелковых ниток.

— Это первое поручение тебе от партии, — сказал он, и глаза его засветились лаской и теплом. — Смотри, курносая, постарайся сделать как можно лучше. Я тебя расхвалил. Говорю: «У меня сестра прекрасная мастерица-вышивальщица!» Не подведи.

— И зря хвалил. Есть и получше, чем я. Ну все равно, не подведу, — пообещала она, расстилая на простеньком одеяле дорогое полотнище. — А какие же слова вышивать?

— Какие? — Артем поднял голову. Взгляд его сделался другим. Казалось, будто он стоит не в комнате с низким потолком, а на крутой горе и перед ним, сколько хватает глаз, расстилается огромная родная многострадальная русская земля. — Пусть на этом знамени заго-

рятся такие слова, — произнес он с волнением, и его волнение передалось Нине, заставило сильнее биться сердце. — «Долой самодержавие! Да здравствует свободная Россия!»

Сколько кропотливого труда, сколько любви вкладывала она в эти гордые призывные слова, вышивая их белым шелком. Кто понесет это знамя? Чьи руки поднимут его над колоннами рабочих? Она представила себе, как тысячи глаз любуются алым полотнищем, а оно трепещет на ветру, на солнце, веселя взор рабочих, вселяя в них веру в счастливые грядущие дни, когда на свободной земле будет жить и работать свободный человек.

— Да здравствует свободная Россия! — повторила она. Ей хотелось, чтобы это знамя развевалось в руках Артема.

...И опять воспоминания встают перед ней. Они наплывают, точно густой холодный туман, обволакивают, растравляют девичье сердце, причиняя ему боль и заставляя сжиматься от жалости...

Как живых видит перед собой Нина подружек, вместе с которыми она работала на фабрике. Больше всего ей запомнилась Галина Шорохова — тихая, скромная, молчаливая молодица с карими красивыми глазами. Ее муж дружил с Артемом. Он погиб в прошлом году во время взрыва на Охтинском военном заводе. Нина знала, что у Галины был шестилетний сынок Ванятка, которого мать оставляла дома одного на произвол судьбы. Всегда печальная, сурово-сосредоточенная, эта работница вызывала к себе сочувствие. Хотелось утешить ее в горе, однако Нина понимала, что этим она только напомнит Галине о трагической смерти ее мужа и причинит еще большую боль. Но когда Галина рассказывала о своем сыне, на ее лице всегда появлялась радостная улыбка. Глаза ее оживали в эти минуты, в них теплился тот вечный материнский огонь, который может погасить только смерть.

И еще замечала Нина, что при встречах с Артемом Галина Шорохова вся вспыхивала, не смея почему-то поднять на него взгляд. А Артем тоже смущался, даже немного робел и тоже боялся взглянуть Галине в глаза. «Неужели он ее любит? Любит и молчит...»

Нина внимательно присматривалась к брату, а он, понимая это, старался как можно скорее попрощаться с Галиной, куда-то торопился, и Галина провожала его

взглядом, полным благодарности, любви и страдания. «Что было меж ними? Что?» — пыталась разгадать Нина их отношения. Однажды, заглядывая подруге в глаза, она спросила:

— Ты давно знаешь Артема? Ты его любишь?

Галина Шорохова отвернулась, стараясь скрыть заблестевшие на глазах слезы, тихо ответила:

— Не знаю...

Нина обняла ее, как родную сестру, и, от всего сердца желая помочь, сказала:

— Хочешь, я сама с ним поговорю? Скажу: «Артем, Галина тебя любит».

— Что ты, Нина? — испугавшись, ответила подруга. — Не надо. Ни словечка не говори ему. У него своих дел много. Больших дел... Я ведь понимаю: незачем этим его тревожить.

— Да неужели он не видит, не понимает, что ты его любишь?

— А может, не хочет видеть, — усмехнувшись, жалобно проговорила Галина и попросила: — Никогда... слышишь, Нина, никогда не расспрашивай меня об этом и ему не говори ни слова.

...Плывут, плывут воспоминания... И будто это уже не она, Нина, а какая-то другая девушка-работница торопливо бежит еще сонными улицами города к хмурым корпусам фабрики.

— Доброе утро, Нина! — слышится знакомый голос. Оборачивается, ее догоняет легко одетая Галина Шорохова, и они идут рядом.

— Как Ванятка?

— Сыночек-то мой? — И в голосе матери Нина слышит нежность и одновременно затаенную боль. — Да я его почти не вижу. Утром на фабрику иду — он еще спит, а домой возвращаюсь — тоже спит... Только и радости, что воскресенье со своим сыночком провожу. Хороший мальчик растет, а счастья и у него нет. Некому присмотреть за ним, некому приголубить... Сирота! — промолвила она и тяжело вздохнула. — Говорят, нам сегодня какую-то новую мазь дадут для калош, — прибавила Галина, и Нина поняла, что она хочет перевести разговор на другую тему, чтоб не растравлять свое сердце мыслями о сыне.

— Нам безразлично, какая мазь, — сказала Нина, —

все равно больше семидесяти копеек в день не заработаешь.

— Верно, работаем мы, как каторжные, по тринадцати часов, а живем, будто нищие или того хуже. Еле концы с концами сводим. Еще когда муж был жив, мне было легче, а сейчас...

Протяжный фабричный гудок заглушил ее слова.

Начался тяжелый, безрадостный трудовой день. За длинными столами стоят люди, большинство — женщин и девушек. Тут и потомственные пролетарки, и крестьянки, приехавшие недавно на фабрику. Беспросветная нужда, голод погнали их в город на заработки. Работницам платят меньше, чем мужчинам. На них и чаще покрикивает мастер, накладывает штрафы, выгоняет с работы: ведь на их место легко найти других, таких же бесправных, голодных, забитых, которым можно платить копейки за тяжелый труд.

Умелые руки работниц привычно и быстро накладывают новую мазь, в которой содержится что-то неприятное, острое и удушливое; однако никто не жалуется, не протестует. По другую сторону стола, напротив Нины, работает Галина Шорохова. Но что с ней? Лицо ее вдруг бледнеет, на лбу крупными каплями выступает пот. Женщина медленно вытирает его ослабевшей рукой. Она задыхается, прерывисто, часто дышит, но не бросает работу.

— Галина, что с тобой? — тревожно спрашивает Нина, заметив, как помутнели глаза подруги, как неестественно расширились зрачки.

— Не знаю, — тихо отвечает та. — Не знаю, что такое... Голова кружится, тошнит... Задыхаюсь...

За соседним столом, потеряв сознание, упала работница. Несколько женщин бросились к ней. Побежала было и Нина, но остановилась, взглянув на Галину Шорохову, которая стояла у края стола бледная, как смерть. Галина подняла руку, будто желая остановить подругу, позвать на помощь. Из ослабевших пальцев выпала обмазанная калюша и глухо стукнулась об пол.

— Галина! — вскрикнула Нина, почувствовав, как у нее по телу пробежал мороз. — Галина, тебе плохо? Ты побледнела... Я сейчас принесу воды...

Но молодая женщина, наверно, уже ничего не слышала, ничего не видела.

— Ванятка... сыночек! — проговорила она, падая. Не успела Нина Черкашина подбежать к потерявшей сознание Галине, как послышался душераздирающий крик какой-то работницы:

— Спасите... умираю!

Этот крик, точно молния, пронзил Нину, но не остановил ее. Она подбежала к Галине, и первое что бросилось ей в глаза, — это бахрома дешевой косынки, смоченная кровью.

Кровь ли или пары отравляющей мази подействовали на нее, и Нина почувствовала, как что-то мучительное подкатывается к горлу, вызывает тошноту, головокружение.

«Неужели и я... и я... упаду?» — пронеслось у нее в голове, но в эту минуту мысль, что надо немедленно спасать Галину, вынести ее на свежий воздух, отогнала страх за собственную жизнь.

Нина склонилась над подругой, тормошила ее, пытаясь привести в сознание. Но все было напрасно. Галина не приходила в себя, и тревога Нины усиливалась. Она чувствовала, как у нее самой слабеют руки.

— Помогите! — закричала она, зовя на помощь. Но работницы, охваченные страшной паникой, толпой выбегали из удушливого помещения на воздух. — Да куда же вы? Помогите! Ну, помогите же! — пыталась остановить она женщин, однако никто не обращал на нее внимания, не останавливался.

В калошной мастерской раздавались испуганные крики:

— Это не мазь... Это чума... Нас косит чума... Спасайтесь!..

— Бросай работу! На воздух!.. Все на свежий воздух!

Нина видела перекошенные ужасом, посиневшие от яда лица калошниц, стремительно пробегавших мимо нее или проходивших шатаясь. Многие из них падали, не дойдя до дверей.

«Что делать? Что делать? Может быть, и мне бежать?.. Бежать, пока не поздно, пока еще есть силы?»

Но мысль, что она не может оставить в таком положении подругу, удерживала ее, придавала ей силы. «Я вытащу ее... Кто-нибудь поможет... Должны помочь».

Со двора донесся тревожный фабричный гудок.

«Вот и хорошо. Сейчас прибегут рабочие других цехов, и все будет хорошо. Скорей бы только к дверям, на свежий воздух. Она очнется... Душно... Как тут душно!..»

Нина пробует развязать платок, но руки у нее отяжелели, словно к ним привязали пудовые гири.

«Не выдержу... Упаду...» — вихрем проносится в ее голове, и перед глазами плывут столы, стены, потолок... Все покрывает тьма...

Очнулась она только через некоторое время на свежем воздухе. Ее тормошил и звал Артем, натирая снегом виски.

— Нина! Сестричка моя, очнись! Это я... я... Артем...

Голос его долетал до нее глухо, словно брат был не рядом, а где-то далеко, за толстой, высокой стеной.

Она открыла глаза и увидела перед собой неясное, расплывающееся, но знакомое и родное лицо. Увидела глаза, полные тревоги, уже яснее услышала голос Артема.

— Ну вот и хорошо. Хорошо, что так обошлось. Могло быть и хуже. Как себя чувствуешь, курносая? Наверно, тошнит? Ничего... Это пройдет... Это как угар... Ты не бойся, только дыши глубже. Дыши всей грудью, и будет легче.

Он пытался ее успокоить, а взгляд его беспокойно блуждал по ее побледневшему лицу. Артем брал ее руки в свои, растирал их, согревал своим дыханием, а она смотрела на него, и обильные слезы текли по ее щекам.

— Я ведь по делу, сестренка. — И Артем снизил голос до шепота. — У меня задание — встретиться на вашем заводе с одним товарищем... Подошел к цеху, а здесь такое несчастье.

Нина, казалось, еще плохо понимала то, что говорил ей брат. Ее мысли были заняты другим, и она, посмотрев Артему в глаза, с трудом вымолвила имя подруги:

— Галина... — и сама удивилась: таким слабым и чужим показался ей собственный голос.

Лицо брата стало грустным.

— Почему ты молчишь, Артем? Что с ней?

— Не знаю... — сказал он, отвернувшись. — Ее отнесли в приемный покой. Галина в тяжелом состоянии.

— Ванятка у нее... Как же он теперь без матери?

...Нина все сидит в комнате у окна. Уже давно погасла заря, давно часы пробили десять, а Нине не хочется зажигать огня, она смотрит на яркую вечернюю звездочку, а воспоминания, как журавлиные клинья, несутся к большому городу. И почему-то больно становится у нее на душе, больно и печально. Сколько близких, сколько подруг и друзей осталось на фабрике. И, кто знает, доведется ли когда-нибудь встретиться с ними?

В памяти встает тот незабываемый день, когда произошло отравление. За воротами фабрики собрались на митинг около десяти тысяч рабочих, но она не пошла туда, ей было еще плохо. Мысли о Ванятке Шорохове ни на минуту не давали ей покоя: «Как же он без матери? Куда пойдет? Кто позаботится о нем, кто приготовит ему поесть?»

Так и стоит он перед глазами — умный мальчуган с карими, как у матери, глазами.

Нина не знала, что скажет ему при встрече. Ей хотелось смягчить рассказ о том, что случилось с его матерью. «Может, совсем не говорить об этом? А что же придумать? .. Ну, ладно, там видно будет».

Нина идет рабочим кварталом. Вот уже недалеко знакомый домик. Здесь в небольшой бедной комнатке ее встретил мальчик, с которым она любила играть, когда бывало заходила проведать подругу.

Она постояла немного у ворот, отдышалась, стараясь скрыть волнение, и решительно вошла во двор, где играли дети.

Ванятки среди них не было. Нина прошла в дом, легонько постучала в дверь, тихо открыла ее. На полу сидел Ванятка и строил домик.

На Нину с любопытством взглянули карие глазенки. Бросив свою стройку, мальчик вскочил и, раскинув ручки, легкий и быстрый, как мотылек, кинулся ей навстречу.

— Тетенька Нина! .. Тетенька Нина!

Она схватила его на руки, прижала к груди, чувствуя, как что-то волнующее и нежное наполнило все ее существо, словно теплая, нагретая солнцем, легкая волна неожиданно коснулась сердца.

— Миленький мой.. хорошенький ты мой! .. — Она целовала его бледные щечки, забыв, зачем пришла и что должна делать.

— А где мама? Где моя мама? — спросил вдруг Ванятка, и от этого вопроса у нее так и заледенело сердце. «Что делать? Сказать правду?»

Она опустила мальчика на пол, и он, схватившись руками за ее палец, с тревогой смотрел ей прямо в лицо.

— Где моя мама? Где? — закричал он, догадавшись, видно, что тетенька Нина не хочет сказать ему какую-то страшную новость. — Где мамочка?

Его упорный взгляд и настойчивая просьба так поразили Нину, что в первую минуту она растерялась, не зная, как поступить. Ей показалось, что он понимает ее колебания. В глазах его застыл нетерпеливый вопрос, а худенькая ручонка дергала ее за палец.

— Говорите же, где моя мама...

— Твоя мама сегодня не придет. Она... она... в больнице.

Карие глазенки расширились, в них появились страх и растерянность. Рука ослабела, освободила ее палец; лицо стало еще бледнее.

— Как папа? — вымолвил мальчик тихо, и это напоминание поразило Нину.

У Ванятки задрожали губы. Он бросился к ней, уткнулся лицом в ее платье и заплакал так жалобно, что она опять схватила его на руки, прижала дрожащее от горького плача маленькое тельце к своей груди и, не удержавшись, зарыдала сама.

Артем вернулся домой поздно ночью, щелкнул выключателем и при свете электрической лампочки увидел на небольшом диване мальчугана. В заплатанной, но чистой рубашонке, до пояса укрывшись одеялом, мальчик беззаботно спал, разбросав на подушке руки.

— Что это за гость у нас? — тихо спросил Артем, рассматривая мальчика. — Да это же Ванятка Шорохов!

— Не сердись на меня, Артем, я не посоветовалась с тобой. Пойми, иначе я не могла. Галина — моя подруга, а мальчонка сирота, — начала было оправдываться Нина, но брат сразу перебил ее.

— Правильно сделала, курносая, — усмехнулся он и своей широкой ладонью прикрыл маленькую сестрину руку, лежавшую у него на локте. — Я ведь и сам об этом думал.

Они стояли над спящим мальчиком, смотрели, как он дышал, улыбался во сне, и детская светлая улыбка вызывала улыбку и на их лицах. У Артема тепло заблестели глаза. Нина заметила это, и она опять подумала: «Он любит Галину... Полюбит и мальчика...»

Осторожно, чтобы не разбудить Ванятку, Артем подоткнул одеяльце, укутывая его ножки. Только теперь Нина увидела на виске у брата багрово-сизую полосу с запекшейся кровью.

— Артем! — вскрикнула она невольно.

— Тихо... разбудишь... пускай спит.

— Кто это тебя так? Давай перевяжу.

— Не беспокойся... Пустяки... Я уж залил йодом, — усмехнулся Артем, чтобы успокоить сестру. — Просто слегка задела сабля.

— Значит, была стычка?

— Пеших мы оттеснили. Тогда администрация фабрики вызвала отряд конной полиции, и те начали разгонять нагайками и саблями... Что-нибудь есть поужинать? — спросил Артем, чтобы перевести разговор на другое.

Нина видела, что брат совсем утомлен, знала, что он обо всем подробно расскажет завтра, но ей хотелось узнать сейчас про главное, особенно интересовавшее ее.

— А что рабочие на митинге решили?

— Решили правильно — бастовать!

...Да, Нине вспомнился локаут, который объявили хозяева рабочим в отместку за забастовку, чтобы запугать их голодом, погасить в них желание отстаивать свои права, сделать их покорными рабами.

Немало повидала горя Нина, немало узнала несправедливостей, притеснений и обид. Но не об этом думала она сейчас. Другие, светлые и волнующие воспоминания, как весенние легкие облачка, проплывали одно за другим, и душа ее наполнялась тихим покоем и радостью.

Наверно, на всю жизнь останется в ее памяти этот день. Еще лежал снег, но в воздухе уже чувствовалось дыхание весны. Голубее казалось небо, прозрачнее — облака. Высокие и чистые, словно лебеди, плыли они, озаренные солнцем, веселя взор Ванятки. Ласковее казался ему и ветер, слегка шумевший вершинами деревьев.

— Тетенька Нина, поглядите, какая красивая птичка. Видите? — звенел в комнате голос мальчика, следившего, как, опираясь на ножки и хвост, мощным клювом дело-

вито долбила птица березовую кору. — Тетя Нина, а как называется эта птичка?

— Дятел.

Нина тоже с любопытством следила за птицей; радость мальчика передавалась и ей. Но еще большею радостью засветились его глазенки, когда в обеденный перерыв в комнату вошел Артем.

— Ну, Ванятка, знаешь, что сейчас со мной приключилось? Иду это я через парк и вдруг вижу — возле дерева стоит заяц белячок и зовет к себе лапкой, — начал рассказывать Артем, и в глазах его заиграли шутливые огоньки, которых не замечал Ванятка. — Подхожу я к зайчику, а он меня спрашивает: «Скажите, это у вас теперь живет мальчик с карими глазенками, Ванятка?» — «У меня, говорю, а что?» — «А вот, пожалуйста, передайте ему от меня кулечек».

— А что в нем, что? — радостно запрыгал Ванятка. Он ждал, когда Артем покажет ему необычайные заячьи гостинцы.

Артем положил сверток на диван, разделся и не спеша стал разворачивать бумагу. Ванятка следил за каждым его движением.

Вот Артем вытащил небольшой кулек и подал его мальчику.

— Конфеты и пряники... Такие же, как папа когда-то... — Слова замерли на детских губах, потому что дядя Артем вынул еще один сверток, развернул его, и мальчик даже всплеснул руками, увидев новую рубашку и штанишки. — Это мне?

— Тебе, Ванятка. Носи на здоровье.

— Ой, дяденька Артем! — воскликнул Ванятка, сразу начав примерять обновку. — А в них можно всегда ходить? Или только на праздники? Лучше я буду по праздникам, чтоб подольше хватило. А когда я вырасту и стану механиком, как мой папа, тогда заработаю денег много-много и куплю вам, дяденька Артем, рубашку и новые штаны, а тете Нине куплю новый платок и еще платье, и маме платье...

— Вот за это хвалю, — сказал Артем, — что хочешь быть механиком. — И он усадил мальчика к себе на колени. — Ты еще маленький. Многого не понимаешь, но ничего, когда подрастешь — поймешь.

Детская ручка осторожно потянулась к виску Артема,

— Дяденька Артем, болит? А за что они тебя били? Ты такой добрый... Я тебя люблю... — и мальчик нежно обхватил руками шею Артема.

— Не вечно так будет, Ванятка, что нас, рабочих, будут бить и стрелять! Еще доживем мы с тобой до таких дней, когда не останется ни царя, ни жандармов, ни городовых, — говорил Артем, отвечая на какие-то свои мысли. — А может, скоро случится такое, что придут с фабрики или с завода рабочие и спросят: «А где здесь живет Ванятка Шорохов, сирота?»

— А я их сам встречу, — пообещал мальчик и затих, слушая рассказ.

— Придут они к тебе и скажут: «Собирайся-ка, мальчик, в дорогу».

— А мама тоже поедет со мной?

— Поедет. И привезут тебя, сына рабочего, к такому красивому дворцу над морем, который тебе никогда и не снился. На воротах будет написано: «Добро пожаловать!» И вот заходишь ты во двор. Дорожки посыпаны песком, кругом разные цветы, кусты троянд: розовые, белые, багряные... Куда ни глянешь — везде так хорошо, красиво, просто глаз нельзя оторвать. Там озера с белыми лебедями...

— Белыми лебедями, — повторяет увлеченный Ванятка, боясь пропустить хоть одно слово.

— А там фонтаны красивые и деревья огромные, раскидистые, могучие, нигде больше таких не увидишь. Все это будет для вас, ребят. Любуйся тогда этой красотой, набирайся сил, здоровья, расти и помни, что не совсем загублено было твое детство...

— Это сказка? — серьезно спросил Ванятка, заглядывая к Артему в глаза.

— Нет, не сказка... Так будет, мой мальчик. Знаю, что будет! — горячо проговорил Артем, точно кто-то посторонний и злой пытался возразить ему, опровергнуть его заветные мечты.

— Будет! Ты, Ванятка, узнаешь это счастье. Положат тебя в чистую кроватку, дадут чистое, незалатанное белье и скажут: «Жил ты, Иван Шорохов, в рабочей слободке, в комнате с одним оконцем и низким потолком. Не знал ты радости. Детство твое было бедное, обездоленное и голодное. Но та бедность больше не возвратится. Живи, Иван Шорохов, вырастай, хорошо учись в школе и нико-

гда в жизни не забывай, что твое счастье и счастье таких же детей, как ты, добыто отцами дорогою ценой. За это счастье погибали они на баррикадах, и в тюрьмах, и в далекой Сибири... Не забывай, Иван Шорохов, ни своего отца, ни своей матери!»

— Не забудет... Он не забудет, — послышался неожиданно тихий, но знакомый голос от двери. На пороге в старенькой одежде стояла взволнованная, бледная женщина.

— Мама! Мамочка! — крикнул Ванятка, бросаясь к ней, а она дрожащими, слабыми руками обнимала его, целовала лицо, голову, ручонки, обливая их слезами.

Нина и Артем ласково глядели на радостную встречу матери с сыном.

— Ага, мама вернулась!.. Моя мамочка пришла. А мне дяденька Артем новую рубашку и новые штанишки купил! — кричал Ванятка, блестя счастливыми глазенками.

Галина подошла к Нине, хотела ей что-то сказать, но губы ее задрожали, и она, не произнеся ни слова, упала на грудь девушки и разрыдалась. Нина чувствовала, как вздрагивают плечи Галины, как слабые руки с благодарностью обнимают ее. В этих молчаливых объятиях было столько материнской любви и благодарности, столько чувства, что Нина тоже не смогла сдержать слез. А взволнованный Артем, покашливая, отвернулся к окну.

— Спасибо, Нина... Ты, как сестра... не забуду... Присмотрела за моим Ваняткой...

— Не стоит об этом говорить, — сказала Нина, вытирая слезы. — Мы с Артемом полюбили его, как родного...

— Спасибо и вам! — промолвила Галина, подойдя к Артему; взгляды их встретились, но не отвела, не опустила Галина глаз, как случалось раньше. Сейчас ее карие глаза, полные слез, смотрели ему прямо в лицо, а тихий взволнованный голос ее проникал в самую душу Артема. — Не знаю, как и благодарить вас... за все... и за сыночка, и за обновки, и за то, что навещали меня в больнице, носили передачи, подбадривали добрым словом. Если б не вы, Артем, кто знает — поднялась бы я с постели или нет?..

— Ну, разве можно, Галина, об этом говорить? Я собирался навестить вас в воскресенье и забрать домой.

— А меня раньше срока выписали из больницы. Я очень, очень благодарна вам.

— Я так мало сделал для вас. — И он невольно взял ее руки в свои.

Она, улыбаясь, смотрела ему в лицо, щеки ее покрывались румянцем от возбуждения и невысказанной любви, расцветавшей в ее сердце.

— Спасибо... Я не забуду...

Артем был заметно взволнован. Он смотрел в ее глубокие, темные, такие дорогие для него глаза и тоже улыбался; в голосе его звенели новые, незнакомые еще сестре нотки какой-то особенной нежности. «Да, он ее любит», — окончательно решила для себя Нина старую загадку, наблюдая за ними.

— Вы, Галина, так благодарите, что мне даже неловко становится. Собственно говоря, и благодарить не за что. Лучше расскажите, как вы-то себя чувствуете сейчас... Только садитесь, пожалуйста. Вы устали... Вам, наверно, тяжело стоять. — Он пододвинул ей стул и, бережно взяв за плечи, прибавил: — Вот так, отдыхайте... А может быть, вы есть хотите?

— Я уже ела.

Он глядел на ее потемневшее лицо, и сердце его сжималось от боли и жалости к ней.

Как он страдал! Как не спал по ночам, особенно во время кризиса, когда никто не знал, выживет ли она. Но до сих пор он ни единым словом не обмолвился Галине о своей любви. Он будто закрывал свою душу перед ее взглядом, пытался шутить или торопился куда-то, а Галина в эти минуты терялась, не умея его задержать.

И только один раз она поделилась своей тайной с Ниной Черкашиной: «Я встретилась в парке с Артемом, совсем случайно... И знаешь, что он мне сказал? Он сказал: «Хорошая ты, Галина, нежная, добрая...» — и пошел по своим делам, а я стояла, глядела ему вслед и, веришь ли, Ниночка, плакала».

Почему-то именно эта встреча, эти слова припомнились сейчас Галине Шороховой.

— Вам надо поправиться, Галина. Нужно лучше питаться... Вот здесь для вас... — Артем протянул ей деньги. — Возьмите. На первое время хватит, а там что-нибудь придумаем.

— Что вы? Ни за что не возьму! — сказала Галина,

поднимаясь со стула, и щеки ее покраснели еще больше. — Вам самим нужно. У вас мать в Брянске. Я знаю... Вы ей помогаете... Это ее деньги.

— Это ваши деньги, Галина. Это забастовочный комитет выделил для вас. А собраны они на многих фабриках и заводах. Рабочие поддерживают своих братьев и сестер. Мы на Путиловском тоже собирали... Вы берите, не стесняйтесь. Я правду говорю.

Галина Шорохова взяла деньги. Губы ее задрожали, глаза опять налились слезами.

— Мама! Мамочка, мы пойдем домой? — дергал ее за подол Ванятка, а она, потрясенная, стояла посреди комнаты, не в силах вымолвить ни слова...

...Еще ярче мигали в небе звезды. Но вот на западе запылала заря, вскоре появился оранжевый ободок месяца; постепенно бледнея, он разбросал свое сияние на далекие деревья, на крыши домов, окропленные вечерней росою, и они теперь блестели, словно покрытые холодным инеем. Лунный свет, пробиваясь сквозь стекла окон, мягко падал на скатерть, вспыхивал на перламутровых пуговицах платья, освещал задумчивое девичье лицо. Нина любовалась луной, а прошлое, как звезды, которые одна за другой загораются после захода солнца, всплывало в ее памяти, принося то радость, то боль, то скорбь...

Вот вспомнились дни локаута, когда Нина, как и тысячи других работниц, оказалась за воротами фабрики. Как-то раз она стирала белье, сбивая в корыте густую пену. Волосы, выбившись из-под косынки, падали на раскрасневшиеся щеки. Захваченная работой, она не услышала знакомых шагов и обернулась только тогда, когда, растворив двери настежь, в комнату вошел Артем. Нина отшатнулась, увидев его побледневшее лицо, разорванный ворот пиджака, выпачканные глиною или цементом плечи.

— Артем, что с тобой? Ты пьян? — невольно сорвалось с ее губ ненужное и обидное слово. — Погляди на себя...

— Разве не знаешь, что я не пью, — с укором ответил Артем, снимая пиджак. У него немного дрожали руки. Он старался смотреть в сторону, чтобы не встретиться с взглядом сестры.

— Ну и гады! Придет время, мы поквитаемся...

Развеем в прах ваши гадючьи гнезда! — с угрозою произнес Артем.

— Расскажи — что случилось?

— Ты ведь слышала, наши путиловцы поддержали забастовку бакинских рабочих.

— Да, слышала. — Вытерев фартуком руки, Нина подошла к брату.

— Ну вот, собралось нас, рабочих, тысяч двенадцать. Много путиловцев выступало. И я тоже. Постановили собирать деньги в помощь бастующим нефтяникам. Решили немедленно провести однодневную забастовку протеста. И вот, еще не окончился митинг, видим — открываются ворота, и во двор влетает отряд конной полиции. А за ними — пешие.

— Опять били нагайками?

— Били... С этого, собственно, и началось. Мы сразу запротестовали. Тогда один городовой, здоровенный такой, мордастый, пьяный, подбежал ко мне, рванул за пиджак и заорал: «Хватайте его, бунтовщика, ведите в участок!» «Ну, думаю, в участок мне ни к чему». Сбил я его с ног. Кто-то из наших крикнул: «На баррикады!..» И вдруг залп.

— Ой! — вскрикнула Нина. — Они стреляли в рабочих!

— Стреляли. Два залпа... Началась паника... Раненые стонут... Кровь, вопли... Многих арестовали, но я все-таки не дался им, гадам! Стреляли по мне, да промахнулись...

— Промахнулись, — повторила Нина, чувствуя, как у нее мороз пробежал по коже.

— Пятьдесят наших путиловцев ранили, а двоих — насмерть.

— Насмерть? — повторила Нина, словно в угаре.

Больше Нина не расспрашивала. Погруженная в свои мысли, она снова подошла к корыту, и меж ее розовых рук заплескалась вода, запузырилась мыльная пена.

Молчал и Артем. Он смотрел в окно на двор, где, взвизгивая и крича, играли дети, но не слышал их крика да, пожалуй, не замечал и самих детей. Гневом и ненавистью была переполнена его душа.

— Но рабочие ответят, — будто про себя говорил Артем. — Вся трудовая Россия ответит! Сегодня Петербургский комитет постановил провести трехдневную заба-

стовку протеста. Все заводы, все фабрики с завтрашнего дня бастуют.

— Чистую рубашку надень. Я выстирала.

— Спасибо, сестричка.

— Да, я забыла тебе сказать: от мамы письмо.

— Неужели? Чего же ты молчишь? Давай его сюда!

При воспоминании о матери на сердце будто повеяло чем-то нежным и чистым.

— Скучает, бедная, — сказала Нина, и в ее голосе зазвенели слезы. — Беспокоится о нас, просит: «Если Артем не сможет, то хоть ты приезжай. До каких же пор я буду жить одна?» Жалко маму.

— Жалко.

— Купила две курочки, собирает яички, — продолжала Нина, — уже три десятка собрала, надеется — может быть, в гости приедем.

— Родная моя мамочка! — тепло произнес Артем. — Ты и не знаешь, милая, что с твоими детьми может случиться.

— Не говори так! — с упреком взглянула на брата Нина, почувствовав в его словах недоброе пророчество. Потом подошла к этажерке с книгами, мокрыми пальцами взяла за уголок распечатанный конверт и подала Артему.

— Тестом заклеила, как всегда, — сказал он, улыбаясь, и глаза у него сразу посветлели, стали ласковыми и добрыми.

— Читай громко, я тоже послушаю, — попросила Нина.

Она стояла посреди комнаты, не вытирая рук. С ее побелевших и сморщенных на кончиках пальцев стекали капельки и падали на пол, но она этого не замечала, внимательно слушая Артема. На ее лице играла улыбка, глаза подернулись грустью, ей казалось, что не письмо читает брат, а рядом с ними сидит их седенькая, печальная мать и жалуется на свое одиночество, на горькую материнскую долю, напрасно умоляя своих детей вернуться домой.

. . .И опять новые воспоминания встают в памяти Нины Черкашиной.

Как, бывает, небольшие ручейки, сливаясь друг с другом, образуют бурный поток, так, вытекая из многочисленных улиц и переулков, отряды рабочих вливались

в колонны, до отказа заполняли улицы большого города, образуя единую могучую лавину, сметавшую на своем пути полицейские заставы.

Это бастующий пролетариат вышел на улицу, на улицу российской самодержавной столицы. В лавине близких и родных ей людей идет и Нина, маленькая и незаметная, как тысячи других работниц, калошниц с фабрики «Треугольник». Щеки у нее пылают. Сильно и радостно бьется сердце. Ей еще никогда не было так хорошо. Она впервые узнала такую радость. Ей хочется петь. И она поет. Сильный и звонкий голос ее сливается с тысячью других голосов, теряется среди них, и «Варшавянка», крылатая, вольная и многоголосая, летит над городом и зовет всех бесправных и обездоленных на борьбу:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут...

В едином порыве, сильный и грозный, точно предупреждая старый мир, льется из тысячи грудей смелый припев:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Рядом с Ниной — Галина Шорохова и Ванятка. Мальчик с захватывающим интересом следит за матерью. Он, видно, никогда раньше не слышал, чтоб мать пела. Ему приятно. Глаза его сияют от счастья. Мальчик хочет все узнать: куда все идут и где будет проходить этот митинг, о котором еще дома рассказывала ему мама. Но разве можно спрашивать ее сейчас, когда у нее такое строгое лицо? Ванятка прижимается к Нине, дергает ее за руку и говорит:

— А мы еще долго будем идти?

Нина смотрит в пытливые детские глазенки и ей хочется взять мальчика на руки, прижать его к груди и нести так. Но она только ласково глядит на него и отвечает:

— Уж недолго. А ты что, устал?

— Нет, тетя Нина, я еще ни капельки не устал... А моя мама поет, — кричит он, приподнимаясь на цыпочки. — Дома она никогда не поет. Только сегодня. А вы

научите меня так петь? Я тоже буду петь с мамой и с вами, тетя Нина, хорошо?

— Научу, научу, Ванятка, мой милый, хороший мальчик, — обещает Нина, и голос ее звучит еще звонче, вливаясь в тысячи других голосов:

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дальше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?
В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей.
Их имена с нашей песнью победной
Станут священны мильонам людей.

Вдруг передние ряды останавливаются. Обрывается песня. Раздается чей-то предостерегающий голос:

— Застава!..

Нина видит, как из Нарвских ворот вылетает отряд конной полиции, врезается в самую гущу рабочей колонны. Блеснули на солнце оголенные сабли, засвистели нагайки. Послышался женский крик.

— Мама, боюсь... мамочка! — заметался Ванятка.

— Бежим! Бежим, спрячемся в подворотне! — тревожно крикнула Галина, испугавшись за сына, и первая помчалась к воротам ближайшего дома, таща за собою перепуганного Ванятку.

— Нина!— крикнула Галина Шорохова.— Нина, беги скорей!

Но Нина никуда не бежит. Она стоит бледная и смотрит, как вооруженные городовые расправляются с безоружными демонстрантами, и сердце ее наполняется ненавистью и гневом.

«А мы пойдем! — думает Нина. — Не испугаемся полицейской расправы. Разгоняйте нас, а мы все равно соберемся опять... Возьмемся за руки и пойдем вперед... Будем петь!»

Глаза ее горят отчаянной решимостью. Нина срывается с места и бежит вслед за Галиной. Отыскав ее во дворе, взволнованно говорит:

— Сейчас... Я сейчас... Подожди меня здесь!

— Что с тобой? — пугается Галина. — Что ты надумала?

Но Нина, не отвечая, бросается к дворнику с длинной метлой в руках. Галина не слышит, о чем договаривается

с ним подруга, но через минуту длинное древко оказывается в руках девушки.

— Зачем тебе эта палка? — удивляется Галина. — Ты что, с городовыми собираешься воевать?

— Да, буду воевать! — с суровой решимостью отвечает Нина и неожиданно для Галины и к большой радости Ванятки вытаскивает из-за пазухи алое, как мак, шелковое полотнище. — Я не успела окончить вышивку, когда Артем уходил из дому. Думала, здесь встречусь — передам ему знамя. Но, подумай сама, где же мне сейчас разыскивать брата?

Галина Шорохова сразу догадывается о намерении Нины, глаза ее вспыхивают тревогой.

— Нина! Не смей! Они затопчут тебя лошадьми или потянут в участок, а там тюрьма, суд, Сибирь... Опомнись!.. Разве не видишь, как они полосуют людей? Эти лютые звери могут и саблей рубануть!

— А я пойду! — решительно заявляет девушка. — Пойду! Рабочие не оставят меня одну... Ты лучше не уговаривай, а помоги мне.

С нескрываемым страхом смотрит Галина в лицо подруги, понимая, что никакими словами ее не уговоришь: отважившись на такой рискованный шаг, Нина не отступит назад. И Галина Шорохова помогает прикрепить шелковое полотнище к древку.

Когда все готово, Галина обнимает девушку за плечи и, глядя ей в лицо, просит:

— Ниночка, подруженька моя, послушай... не ходи. Еще раз прошу тебя... — В глазах ее блестят слезы.

— Галина, дорогая... не останавливай, не проси... Все будет хорошо. Вот увидишь. — И, не выпуская из рук свернутого знамени, Нина быстро обнимает подругу, целует Ванятку и решительно выходит за ворота, на безлюдную улицу.

У нее бешено колотится сердце, но не от страха. Новое, неизведанное чувство самопожертвования заполняет все ее существо. Ее не испугают и не остановят сейчас ни свист нагайки, ни злобные крики озверелых полицейских, ни удары сабель.

Разве только смерть может остановить ее в эту минуту. Нет, Нина не отступит назад, не спрячется за воротами.

От волнения ей не хватает воздуха, но глаза горят молодым задором и отвагой.

Нина разворачивает знамя и поднимает его над собой — будто огненную, трепетную жар-птицу, несущую счастье бедным людям. Порывистый ветер полощет знамя и гонит багряные волны по шелковому полотнищу, на котором четко и красиво выделяются слова: «Долой самодержавие! Да здравствует свободная Россия!»

Сзади Нина слышит взволнованный голос Галины Шороховой:

— Ох, что же теперь с нами будет! Пропадем!

Нина не отвечает. Поступь ее легка и тверда. Кажется, что это не стройная девушка идет вперед, а будущая Россия — вольная, бесстрашная, гордая своей силой, мужеством и красотой.

И опять наполняется радостью грудь девушки, и эта бунтующая, необоримая радость выливается в новую, молодую песню, которую никогда не убить врагам:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

Звонкий и сильный голос летит как призыв, на который нельзя не откликнуться. Из подворотен и из других укрытий выходят люди, выстраиваются в колонну, подхватывают песню, и снова она, могучая, тысячеголосая, плывет над городом, зажигая трудовых людей на борьбу за свои права.

«Идут... Я знала... пойдут за знаменем». Сердце Нины бьется ровнее. Горячее становится в груди, и что-то непонятное ей самой, но волнующее и неудержимое подкатывается к горлу; глаза застилают слезы великого, неизведанного, незабываемого счастья.

А песня льется, нарастает, звенит... Теплый ветер ласкает и целует алый шелк знамени. Тысячи глаз, любуясь, глядят на него. А оно, как солнце, согревает людям сердца, вселяет в них надежду и веру в неминуемую победу труда над капиталом.

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой:
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой.

С каждой минутой демонстрантов становится все больше и больше. В первых рядах, взявшись за руки, люди идут неразрывными шеренгами — одна за другой, как волны морского прибоя...

Но вот опять обрывается песня, еще одна застава конной полиции преграждает демонстрантам путь. Впереди с саблей наголо на сером коне гарцует пристав. Что-то хищное, злобное в его прищуренных колючих глазах. Этот взгляд пронизывает Нину, она чувствует, как ее охватывает озноб, будто кто-то бросил ей за ворот горсть снега. Она бледнеет, но, не останавливаясь, смело идет вперед.

Нина видит, как у пристава нервно дергается щека и на суставах белеют пальцы, сжимающие рукоятку сабли.

— Галопом! В нагайки!.. — подает он команду. Глаза его так и шныряют по толпе, а в голосе и во взгляде — бешеная злоба и животный страх перед этими людьми, которые все теснее и теснее окружают знаменосца и молчат. В их молчании он чувствует грозное предостережение.

Но команда подана. Надо действовать. И пристав направляет своего коня на Нину Черкашину.

— Разойдись! — злобно кричит он.

Его рука поднимается для удара. Короткой молнией в воздухе блеснула сабля, и в ту же минуту Нина слышит крик брата:

— Не смей!

Но уже поздно. Сабля плашмя опускается на голову знаменосца...

Вспыхивают перед глазами искры, рассыпаются и гаснут... Все обволакивает тьма. Из ослабевших девичьих рук, как подстреленная птица, падает алое знамя. Но его подхватывают чьи-то сильные руки...

Очнулась Нина в незнакомой комнате. Над ней склонилась какая-то старенькая женщина, прикладывая к голове влажное полотенце.

— Где я? — спрашивает Нина, всматриваясь в незнакомое лицо.

— У меня, голубка... Ты не волнуйся, мой сын вместе с твоим братом работает на одном заводе. Они-то и принесли тебя без памяти... Болит? Очень болит голова? — допытывается старушка, жалостно глядя на де-

вушку. — Ну, и он тоже — тот зверь, что ударил тебя, — получил по заслугам. Твой брат стащил его с коня. Рабочие отняли у него оружие, а самого в Фонтанку бросили... Так ему, собаке, и надо. Лежи, лежи, голубка, не волнуйся. Все будет хорошо. Брат обещал зайти.

Но проходили часы, а брат не возвращался. Нина сама пошла домой. Напрасно ждала его до поздней ночи, не ложась спать. Так и не дождалась. Лишь на следующий день узнала она, что Артема вместе с другими рабочими арестовали.

Только через три недели Артема выпустили на волю. Но работать на заводе ему уже не пришлось. Их обоих, Артема и Нину, вызвали в полицию и за участие в забастовке выслали по месту рождения под надзор полиции. Вот как очутились они с братом в родном Брянске.

...Нина сидит у окна и смотрит на луну. Луна высоко и свет ее падает уже не только на уголок скатерти, но на край стены, косо освещая ее. В хате тихо. Почему-то вспоминается Яков Македон — кареглазый, крутобровый, загорелый, как цыган; Нине приятно думать о нем.

«А как покраснел, когда пролил на скатерть чай».

Улыбнулась.

«Артем его хвалил», — мелькнуло воспоминание, и Нина поймала себя на мысли, что и ей Яков понравился.

«Какие у него хорошие глаза! Карие, как у Галины Шороховой. И такие же ласковые и добрые. Только смущается очень...»

Но это ей тоже нравилось.

«Да чего я о нем столько думаю? Был — и нет. Кто знает, встретимся ли когда еще».

Углубившись в воспоминания, Нина не услышала, как открылась дверь, и мать переступила порог.

— Что это ты, доченька, в темноте сидишь? Почему лампу не зажигаешь?

— Не хочется. Луна такая светлая. — И, взглянув на мать, участливо спросила: — Как здоровье больной?

— Слаба... Очень слаба... Видно, уж не жилец она на белом свете, — печально ответила мать и, сняв с головы старомодный кашемировый платок, бережно свернула его и положила в старенький шкаф.

6

Ночью полк подняли по тревоге.

Солдаты торопливо одевались, выбегали во двор и строились в две длинные шеренги. На столбе мерцал керосиновый фонарь с закопченным стеклом.

Солдаты знали, что русские на фронте несут большие потери — и ряды войск надо пополнять свежими бойцами.

Из помещения, сопровождаемый писарем и адъютантом, вышел полковник Бабенко. Проходя вдоль шеренги и всматриваясь в лица солдат, он молча тыкал коротким пальцем в чью-нибудь грудь, и писарь тут же отмечал в своей книге фамилию отобранного для фронта дружинника.

В одной из шеренг стоит Константин Метелик. Он не хочет идти на фронт, в окопы, где каждую минуту человека подстерегает смерть. Хотя Метелик и принимал присягу, но он не желает отдавать свою жизнь за веру, царя и отечество, а думает сохранить ее, чтобы после мира — наступит же он когда-нибудь — вернуться домой живым и здоровым, к любимой жене и сыну. О них он думает беспрестанно; к ним, в далекую слободу, всегда летят его невеселые мысли.

Не забыть Метелику последнего письма, полученного из дому.

Если уж жена просит разрешения продать Лукьяну Бессалому охотничье ружье, значит дома плохие дела, и это его мучит. Он нигде не находит себе покоя, словно кто-то безжалостно бросил ему на сердце горячие угли, которые жгут его, рождая в душе неудержимую ярость к тем, кто оторвал его от родного крова, от близких людей, бросив в горнило кровавой, ненужной ему войны.

Метелик заметил, как у соседа, против которого остановился полковник Бабенко, начала подергиваться щека и стучать зубы.

— Ты что, замерз? — спросил у него полковник, но солдат от страха не мог вымолвить ни слова, и тогда короткий палец, украшенный дорогим перстнем, неожиданно уперся в грудь Метелика.

— Фамилия? — согнувшись над книгой, безучастно спросил писарь.

— Метелик... Константин Метелик...

Полковник пошел дальше, а Метелик стоял растерян-

ный, не веря тому, что сейчас произошло. В книге против его фамилии поставили отметку, и, может быть, завтра, а то еще и сегодня его вместе с другими солдатами отправят на фронт.

Рядом стоял дружинник, которого миновала эта участь.

— Дома у меня трое ребят и отец-калека, — говорил он, ни к кому не обращаясь. У него уже не подергивалась щека и не стучали от страха зубы. Тихая радость светилась в его глазах, и это почему-то раздражало Метелика, вызывая в нем неприязнь к соседу.

«И чего я злюсь на него? Не сегодня, так завтра или послезавтра все равно придется идти на фронт. Чему быть, того не миновать», — вспомнил он не раз слышанную пословицу, и у него стало как-то спокойнее на душе.

Отобрав дружинников, полковник вернулся на правый фланг. Особенно поразили Метелика его начищенные до блеска хромовые сапоги. «Добротные сапоги, а для зимы не подходят. Сразу отморозишь ноги. Солдатские хоть и проще, да надежнее», — подумал он, провожая его глазами.

Полковник решил поднять боевой дух солдат. Он начал рассказывать им о великих русских полководцах Суворове и Кутузове, о ныне здравствующем казаке Кузьме Крючкове — отважном воине, не знающем страха в бою. Рассказывал он о восьмой армии, бесстрашно сражавшейся с немцами, и призывал дружинников «храбро и самоотверженно, как и подобает богатырям великой земли русской, отстаивать веру православную, царя-батюшку, честь и славу отечества, как отстаивали его в прошлых войнах наши предки, не давая в обиду свою матушку Русь».

До Метелика плохо доходила речь полковника. Только отдельные слова проникали в его сознание, не оставляя там никакого следа. В эту минуту Метелик думал о семье: «Может, больше не увижу сыночка Володю... не увижу и жену. Все может случиться...»

И невольно вспомнилось ему прощанье, слезы жены, ее судорожные объятия без слов, без причитаний... Эти воспоминания мешали Метелику слушать и понимать то, о чем говорил полковник. А когда Бабенко закончил свое напутственное слово, с левого фланга отделился доброволец Терень и направился к нему. Солдаты, не отрывая

глаз, следили за юношей. По пятам за Теренем двигалась его тень, и когда она замерла на месте, дружинники услышали дрогнувший голос юного добровольца:

— Ваше высокородие, у меня к вам есть просьба.

— Слушаю тебя, голубчик мой, слушаю, — ласково сказал полковник, отечески похлопывая Тереня по плечу. — Хорошая выправка. Молодец!

— Рад стараться, ваше высокородие, — бойко ответил юный солдат, все больше располагая к себе полковника.

— Какая у тебя просьба, голубчик мой, говори смелее.

— Меня отобрали сейчас... на фронт ехать, а мне надо... к дедушке... Старый он, больной... — Голос у Тереня предательски задрожал. — Отпустите меня домой... к деду...

— Разве положено солдату плакать? Какой же из тебя воин, если ты... по деду соскучился? Ведь ты доброволец! Насильно тебя никто не брал. Сам изъявил желание идти на войну. Ты что же, голубчик мой, не хочешь вернуться к деду героем? Тебе и медаль дадут, коли хорошо воевать будешь! Хочешь медаль заслужить?

— Без медали домой отпустите, к дедушке... Старый он... Отпустите, ваше высокородие... — И, забыв о военном уставе, Терень упал перед полковником на колени, обнял его начищенные сапоги и горько зарыдал.

Детский плач резанул сердца солдат, напомнив им о собственных детях. Полковник растерялся, не зная, что ему делать, но его выручил прапорщик Бессалый. Коршуном налетел он на подростка, схватил его за шиворот, легко поднял на ноги, молча дал несколько тумаков и, не выпуская из рук, потащил на левый фланг.

Участь Тереня была решена. Вместе с остальными солдатами его отправят на фронт.

Тем, кто отправлялся на фронт, выдали сапоги, белье, сухари, и они двинулись к станции. Шли молча. В темноте слышался топот сотен ног. Чтобы разрядить гнетущее молчание, прапорщик Усиков приказал петь. Фальшиво зазвучал голос запевалы:

Вышла Дуня за ворота,
А за нею солдат рота.
Гей, Дуня, Дуня-я...
Дуня, ягодка моя!

В ночную темь летела похабная, хотя и не лишенная

молодецкой удали песня. Несколько нестройных голосов подхватили припев:

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет...

И эта песня, эта ночь и неизвестность, ждавшая их на передовых позициях, тяжело давили на сердце Метелика. Чтоб заглушить тоску и смутное предчувствие страшной беды, он стал подпевать:

Соловей, соловей, пташечка...

Идут воины на пополнение армии, а через месяц, может быть, и раньше, вот так же будет идти новая партия на смену им, сложившим свои головы в бою. А где-то в далеком тылу преждевременно поседевшая от горя мать в сельской церкви подаст грамотку «за упокой погибшего воина», и на этой солдатской смерти сытый поп заработает несколько медяков. Не одна молодица будет выходить в поле и смотреть на дорогу, по которой провожала мужа на проклятую войну, с надеждой ожидая его возвращения домой. Но напрасны ее ожидания. Кто-нибудь из боевых друзей неуверенным почерком напишет ей правду о гибели мужа, и страшная весть тяжелым, непоправимым горем на всю жизнь ляжет на ее душу.

«Так может случиться и со мной, — думает Метелик, — и я тоже не увижу...» Страшным усилием воли он отгоняет прочь мрачные, назойливые мысли, и его голос, сливаясь с другими голосами, летит в темноту ночи:

Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет...
Раз, два, горе не беда...

— Правое плечо вперед! — раздается команда, и длинная колонна, выгибаясь, поворачивает к станции. Дружинники ускоряют шаг.

7

Метелик долго стоял у раскрытых дверей теплушки. Перед глазами его проплывали леса, поля, реки, деревеньки с ветряными мельницами на пригорках, но он, казалось, ничего не замечал. Даже в ритмичном постукивании колес ему слышалось мрачное напоминание: «На

фронт, на фронт, на фронт». Чтобы не думать об этом, Метелик стал внимательно рассматривать своих соседей. На жестких нарах лежало несколько солдат, но его внимание приковал к себе щупленький, веснушчатый мужичок с неподвижным, как у мертвеца, взглядом. Метелик как будто раньше его не встречал. Кто он? Откуда? Из какой части попал сюда? Солдатик сидел на нарах, обняв длинными руками худые колени, и прищуренными глазами смотрел вдаль.

— По родному дому скучаешь, браток? Кого оставил? — участливо спросил Метелик, желая утешить солдата, но тот, углубленный в свои мысли, видно, не расслышал вопроса и ничего не ответил.

Чуть в сторонке возле нар, окружив Якова Македона, стоит группа солдат. Они слушают письмо, которое Кузьма Сукачев собирается посылать домой.

Но Метелика интересует сейчас не письмо, а этот неизвестный солдатик с веснушчатым лицом и застывшими глазами. Он вызывает у Метелика сострадание и любопытство. «Почему он ничего не ответил? Может быть, глухой?» Метелик уже хотел было присесть рядом с ним, как вдруг заметил на ногах солдата длинные грязные ногти. Метелика охватило отвращение. Хотелось сказать: «Возьми подстриги... Нехорошо с такими ногтями...» Но он ничего не сказал, отвернулся, глядя на уносившуюся за окном обочину дороги, поросшую пожелтевшей травой.

Поезд вошел в густой хвойный лес. Замелькали высокие сосны, между ними кое-где — березы, дубы, рябины.

— У нас такого добра нет... У нас все степь да степь, — неожиданно, ни к кому не обращаясь, сказал веснушчатый солдат.

Метелику очень хотелось расспросить, откуда он родом, есть ли у него жена, дети, но лицо степняка снова стало напряженно-сосредоточенным, неприступным.

Поезд остановился на небольшом полустанке.

— «Ежели меня убьют, — диктовал Кузьма Сукачев, глядя, как быстро пишет Яков Македон на белом листке почтовой бумаги, — ежели убьют, то новую рубаху из синего сатина, что купил на ярмарке, и хромовые сапоги ты, Марина, продай, чтоб наши дети не голодали».

Молча слушали солдаты. Терпеливо ждал Яков продолжения.

— «Продай мою синюю рубаху...» — словно очнувшись, повторил Кузьма.

— Это уже написал.

— Зачеркни... Зачеркни там, где о смерти... Не нужно — будут плакать.

Яков старательно вычеркнул несколько слов.

— А коли меня убьют, так нечего и продавать, — опять отозвался солдат с веснушчатым лицом. — Только плакать будут.

Все посмотрели на него. В рваных штанах, в солдатской гимнастерке со следами неотмытой крови, он сидел так, не двигаясь, уже несколько часов.

— Ты кто будешь? — повернулся к нему Яков Македон.

— Я? — переспросил солдат, но ничего не ответил.

Поезд мчался дальше, на юг.

— Что ж ты, браток, ничего о себе не расскажешь? Из каких краев будешь? — подсел наконец к нему Метелик, протянув кисет с махоркой.

— Из каких краев? Да я из Таврии. Слыхал? — Он оторвал кусочек газетной бумаги, взял щепотку махорки и продолжал: — Семья у меня осталась дома. Большая семья... — Его худое лицо потянулось к зажженной спичке.

Говорил он мало и неохотно. Не выпуская изо рта самокрутки, снова обнял руками колени и замолчал. Метелик оставил его в покое, лег на нары, но уснуть не мог. В соседнем вагоне кто-то играл на балалайке, слышались песни, прибаутки, смех.

Подъезжали к узловой станции. Когда поезд остановился, из соседнего вагона пришли дружинники.

— Здесь паровоз будет набирать воду. Давай свою гармонь, Яков, потанцуем с девчатами.

— Это можно.

Яков вышел на перрон, заиграл, и сразу возле него собралась молодежь.

— Шире круг! — кричали солдаты. — Танцевать будем.

Замелькали, развеваясь, широкие юбки, цветные сарафаны, белые платочки. Один солдат, лучший среди дружинников танцор, нахально обнимая девушек, выкрикивал:

— Эх ты, ягодка!

Девушки только смеялись, понимая незлобную шутку этого веселого, бравого солдата, и охотно шли с ним танцевать. А одна, видно самая бедовая и смелая, подойдя поближе к вагону и заглянув в глаза Метелику, спросила:

— Чего грустишь, солдат? Двум смертям не бывать, одной не миновать.

С нар поднимали головы пожилые ополченцы, с любопытством поглядывая на бойкую девушку. Она не смущалась их взглядов, настойчиво добиваясь своего.

— Да пойдем же, пойдем, солдатик, ведь поезд скоро тронется, а мне охота с тобой потанцевать, — смеялась она, смело глядя в лицо Метелику. — Ну, чего стесняешься? Потанцуем! Все равно жена не узнает, — уговаривала она, все-таки вытащив его из вагона.

К ним подошел молоденький курносый солдат с веселыми глазами.

— Не тронь его — он женатый. А я холостой. Я женюсь на тебе после войны, если жив останусь, ей-богу, женюсь! — уверял он и даже перекрестился для большей убедительности.

— Ну, какой из тебя мужчина! — лукаво улыбнувшись, отрезала девушка. — Одна видимость. Не люблю я щупленьких да маленьких.

— Он хоть и неказист на вид, да резвый. Ты, девка, зря парня обижаешь.

— Ты его сначала испытай... Увидишь — утешит, приголубит...

— Сладким даже покажется...

Но смех и двусмысленные шутки не заставили девушку уйти от вагона. Крепко держа Метелика за руку, она потащила его в круг, стукнула каблучком, повела густой бровью, улыбнулась... Не выдержал Метелик. «Эх, где наше не пропадало! — подумал он. — Может, мало осталось на свете пожить. А девка хороша. Потанцую». Расправив плечи, он вошел в круг и, стукнув каблуками, начал такие коленца выкидывать, что вызвал всеобщее удивление и восторг.

А когда загудел паровоз, раскрасневшаяся девушка, провожая Метелика к вагону, сказала:

— Жив останешься, заезжай на денек-другой. Уж тогда мы с тобой вволю потанцуем.

— Прощай, дивчина... Не поминай лихом. А после

войны, коли жив останусь, домой поспешу. У меня жена молодая и сынок есть.

— Ну бог с тобой, — сказала девушка, став вдруг серьезной. — А я тебя вспоминать буду.

Поезд тронулся. На перроне стояли девушки, провожая эшелон — не первый и не последний.

— Как она? — расспрашивали Метелика товарищи. — В дом к себе приглашала аль нет?

— К такой и пойти-то страшно: приворожит.

— Вот узнала бы жена...

— А откуда ей узнать?

— Что вы к человеку пристали? Потанцевал с дивчиной — и все; греха в этом нет.

Метелик, не отвечая на шутки товарищей, смотрел на перрон, где попрежнему стояли девушки в ярких сарафанах и среди них она, самая бойкая, у которой он не спросил даже имени.

Вскоре и станция, и девушки скрылись из глаз. Метелик забрался на нары и крепко уснул.

Когда он проснулся, была уже ночь. Сквозь раскрытую дверь виднелось звездное небо.

На небольшой станции их выгрузили из вагона. Вокруг лежали широкие, опустевшие поля. Ни деревеньки, ни домика, ни живой души. Все казалось вымершим. В темень ночи летел глухой топот солдатских сапог. Шли молча. Чувствуя близость фронта, солдаты жадными глазами всматривались в незнакомую местность. Вскоре на горизонте появилась черная полоса туч. Гонимая ветром, она быстро росла и закрывала небо. Одна за другой гасли звезды. Ночь становилась еще темней.

— Намочит нас, — тихо сказал Кузьма, обращаясь к Якову. — Видишь, какая туча надвигается. — И, немного помолчав, продолжал: — Край какой-то дикий... Ни хутора тебе, ни деревеньки... Хоть бы где огонек блеснул... Тьма одна... Живой души не увидишь.

— Прифронтовая зона. Наверно, людей отсюда выселили, вот и не видать огоньков. А села... Села должны быть, — уверенно ответил Яков, и оба надолго замолчали.

Пошел дождь. Дорога сделалась скользкой. Случалось, кто-нибудь из солдат падал, нарушал строй, и тогда прапорщик Бессалый злобно шипел:

— Зубы выбью! До сих пор ходить не научились.

Тверже ногу ставь! — Он хотел показать, как надо ставить ногу, но поскользнулся сам и упал.

Несколько солдат сдержанно засмеялись. Бессалый больше не делал солдатам никаких замечаний и не кричал на них. Дождь не переставал. Намокшая одежда отяжелела. Те, кто был послабее, начали отставать.

Утро, хмурое и дождливое, встретило их в степи. Казалось, дороге не будет конца. Всматриваясь в даль, солдаты надеялись увидеть какое-нибудь жилье, чтоб сделать остановку, передохнуть хоть немного и переобуться. Но кругом были все те же однообразные, безлюдные поля. Невспаханная земля густо изрыта окопами. Там и сям по полю валяются убитые лошади, и тухлое мясо растаскивают одичалые собаки да сытое воронье. Недалеко фронт. Солдаты внимательно осматривали все, что попадалось им на пути. Дождь утих, но густые тучи низко проплывали над головой, закрывая солнце. Солдаты зябли. Целую ночь в походе — ни просушиться, ни отдохнуть.

Наконец впереди показалось что-то похожее на деревеньку. Подошли ближе. Тихо, пустынно и мертво. Небольшое селение почти совсем разрушено. На улицах — поломанные возы, разбитая мебель, посуда, груды камней. Кое-где дома уцелели, но стекол нигде нет.

С удивлением и жалостью смотрели солдаты на сожженные избы, на разваленные печи, изуродованные дымоходы, одиноко торчавшие на пожарищах. Черная, выжженная земля, густой сладковато-приторный запах от разлагающихся трупов животных вызывал у людей тошноту, и они невольно ускоряли шаг, стараясь как можно быстрее пройти через село.

Молчали. Вдруг из окна полуразрушенной хаты высунулась седая голова и быстро скрылась, а через минуту на улицу вышел босой старик в полотняной рубахе. Взлохмаченный, страшный в своем безумии, шел он навстречу солдатам, спрятав руки за спиной. Не угадать, что в них. Может, собирается попотчевать гранатой ненавистных вооруженных людей, чтоб отомстить за разрушения и убийства.

Бессалый остановился, и рука его невольно потянулась к новенькой кобуре.

— Стой! — крикнул он старику. — Стой! Руки вверх!

Старик вздрогнул, остановился, потом, не поднимая рук, спокойно пошел на Бессалого.

— Стой, тебе говорят! Застрелю!

Кто-то испуганно и громко крикнул:

— Гранату сейчас бросит! У него граната за спиной! Берегитесь!

Дружинники в нерешительности остановились. Прозвучал револьверный выстрел. Ни крика, ни стона. Только полотняная рубаха вдруг начала краснеть на груди, расплываясь кровавым пятном. Пройдя еще несколько шагов, старик упал, как подкошенный. В жилистой руке его был крепко зажат кусок обгоревшего кирпича.

Дружинники миновали деревню, перед ними снова раскинулось поле.

Разрушенное, сожженное село, запустение, смрадный воздух, убитый старик — все это сильно подействовало на Метелика, и мысль о собственной смерти казалась, как никогда, реальной. Она крепла в нем по мере приближения к передовым позициям, но странно — он уже не испытывал страха. Наоборот, какое-то спокойствие наполняло все его существо, делало его равнодушным к своей судьбе. «Двум смертям не бывать, одной не миновать», — вспомнил он слова, сказанные девушкой на далекой станции в тылу.

Окопов становилось все больше. Чаще встречались глубокие воронки, повсюду валялись позеленевшие гильзы от патронов и снарядов. Неожиданно среди невспаханной земли, сплошь заросшей сорняками и пожелтевшей травой, солдаты увидели небольшую полоску озими. Эта полоска радовала глаз хлебопашца, напоминая о мирной жизни. Но скоро солдатская радость омрачилась. Среди яркой зелени виднелась свежая могила. У изголовья стоял крест — расколотая на две части винтовка связана солдатской гимнастеркой. А на этом своеобразном «кресте» печально покачивалась намокшая от дождя фуражка русского солдата с заржавелой кокардой.

Это была первая могила воина, увиденная ими. Чем ближе будут подходить они к передовым позициям, тем больше будет таких могил.

Проходя мимо «креста», дружинники снимали фуражки. Могила неизвестного солдата напоминала о грядущих битвах, о смерти.

«Может быть, и я буду убит, — думал Метелик, глядя на заржавевшие металлические части винтовки. —

И никогда ни жена, ни сынок не узнают, где меня схоронили».

Не останавливаясь, шли дальше. Уже далеко позади остался печальный могильный холмик. Оглянувшись, Метелик увидел, как на фуражку с кокардой сел сытый ворон.

Воронье кружилось над полем. Глядя на движущиеся к фронту черные стаи, Метелик впервые возненавидел эту птицу.

А поля впереди были такими же пустынными, мертвыми, с однообразно растянувшимися окопами и частыми воронками, на дне которых собралась мутная вода.

Близко, уже совсем близко передовая.

8

Пасмурный день. Тишина и туман окутывают немецкие окопы. В туман зорко всматриваются глаза старых солдат.

Пимен Базалий, приложив руку козырьком, будто ему мешает солнце, тоже поглядел вдаль, но, не увидев там ничего опасного, успокоился. О смерти Пимен не думал, он с нетерпением ждал того счастливого дня, когда грудь его украсит обещанный офицером крест за первую атаку, в которой он храбро дрался и уничтожил много немецких солдат. Еще мечтал Пимен Базалий о том дне, когда объявят мир — и он, бог даст, вернется не только живым и здоровым, а еще и георгиевским кавалером. Тогда он сразу же пойдет к Софье Изаровой просить хоть небольшой участок чернозема. Много земли оставил ей покойный муж. У нее даже под сенокосом такая земля, что хлеб на ней родился бы в рост человека. Если придет он к Софье, увешанный крестами и медалями, она не посмеет отказать ему — георгиевскому кавалеру. Ведь он храбро сражался, не щадя своей жизни, за веру, царя и отечество. Он все Софье объяснит, и она уважит его солдатскую просьбу.

Даже с близкими друзьями не делился он своими сокровенными думами. Всматриваясь в туман, скрывавший

врага, Пимен надеялся, что он отличится и в этой атаке и его еще наградят, если уж не крестом, так хотя бы медалью.

Первый снаряд разорвался далеко за линией окопов, высоко взметнув черный столб земли. Второй упал неподалеку от молоденьких березок, неизвестно кем посаженных в этом поле. Они росли как три сестры, украшая однообразно унылый пейзаж. Их ветки были иссечены пулями и осколками снарядов, но березы не усыхали, а продолжали жить, стойко перенося все невзгоды. В летний зной в их прохладной тени отдыхал когда-то хлебороб или усталый путник. А сейчас холодные ветры срывали пожелтевшие листья, разнося их далеко по полю. К этим трем березкам уже привыкли солдатские глаза. Но вдруг белые стволы взлетели на воздух, смешавшись с землей и черным дымом. А когда дым рассеялся, на месте березок зияла глубокая воронка.

Туман постепенно редел. Дальние поля осветило солнце. Немцы усилили артиллерийский обстрел. Побледневший Терень не знал, куда девался Яков. Разыскивая его, паренек обошел уже несколько землянок, но Якова нигде не было. Где-то совсем рядом разорвался снаряд. Послышались стоны раненых. Один из них, заметив возле себя Тереня, хотел что-то сказать, поднял руку и вдруг упал замертво. Второй раненый не спеша снял с себя гимнастерку, потом нижнюю рубаху и, разорвав ее на части, начал перевязывать ногу. У него дрожали ослабевшие руки, перевязку он сделал неумело, и скоро сквозь полотно начала просачиваться кровь.

Напрягая последние силы, солдат поднялся на ноги.

— Эй, парнишка! .. — слабым голосом позвал он Тереня. — Не видел ты. .. санитаров?

Ему, видно, стало плохо. Он покачнулся, но вовремя подоспевший Терень помог ему сесть, и с криком:

— Санитары! Санитары! — побежал вдоль окопа.

Увидев санитаров, он крикнул:

— Быстрее! .. Там, в окопе, есть раненый. .. — и помчался разыскивать Якова. Но Якова нигде не было, словно его разорвало на части упавшим вблизи снарядом.

Когда артиллерийская подготовка прекратилась

и показались цепи немецких солдат, раздалась команда прапорщика Бессалого:

— Огонь!

Нестройные винтовочные выстрелы не остановили противника, с каждой минутой он приближался к линии окопов. Когда немцы были уже совсем близко, прапорщик Бессалый скомандовал:

— В контратаку! Вперед!

Солдаты выскакивали из окопов. Терень видел, как одни падали, скошенные пулями, а другие бежали навстречу немцам, исступленно крича: «Ур-ра-а!»

Захлебывались пулеметы. Ряды контратакующих заметно редели. Кто-то крикнул:

— Перебьют нас, братцы, всех перебьют!

Этот крик, как молния, поразил бежавших рядом солдат. Они остановились, а глядя на них, стали останавливаться и другие, поворачивая назад.

Под прикрытием артиллерийского огня немцы наступали. Оставшиеся на поле раненые с ужасом смотрели на приближающиеся цепи противника и, до крови раздирая пальцы, хватались за сухую траву, пытаясь ползти. Трава обрывалась, а обессиленное, отяжелевшее тело оставалось беспомощным лежать на месте. Немецкие солдаты подходили все ближе к линии русских окопов. Пимен Базалий уже хорошо видел зеленовато-серые мундиры и блеск кинжальных штыков. Он тоже лежал на поле, раненный осколком снаряда, и полными ужаса глазами искал место, где можно было бы спрятаться. Вдруг он увидел кусты молодого ольшаника.

Превозмогая боль, Пимен пополз к кустам, оставляя позади себя на измятой траве следы крови. Редкие безлистые ветки не могли укрыть его от вражеских глаз, но все же они сулили какую-то надежду на спасение, за которую цепко ухватился Пимен Базалий. Единственным желанием, пылавшим в мозгу, было во что бы то ни стало доползти до зарослей.

Страх удесятерил его силы. Он все-таки дополз к ольшанику, но, увидев, что в нем нельзя спрятаться, стал рвать вокруг себя траву и сгребать опавшие листья, пытаясь хоть как-нибудь замаскироваться.

Немецкие солдаты в касках с винтовками наперевес бегут к русским окопам. Пимен уже видит их лица, видит холодный блеск штыков. Вдруг глаза его встречаются с

глазами немца. Остановившись на какое-то мгновение, немец решительно направляется к кустам.

«Вот и смерть моя», — проносится в голове у Пимена. Он готов смело встретить ее в последней схватке с врагом, но только сейчас вспоминает о своей винтовке, которую он оставил на том месте, где его ранили. Холодный пот выступает у него на лбу. Пимен опускает голову на увядшую траву и закрывает глаза...

Шелест листьев слышится уже совсем близко. Замерло сердце в ожидании роковой развязки. Он лежит неподвижно. «А может быть, это все сон? — мелькает вдруг мысль. — Сон, сон...» Но нестерпимо болит рана, и Пимен сжимает зубы, чтобы не застонать, не выдать себя врагу.

Знакомый с детства терпкий и острый запах прелых листьев напоминает ему те далекие дни, когда он, чтоб запастись на зиму топливом, с мешком в руках, вместе с другими мальчишками ходил по лесу, собирая опавшие сухие листья. Вот такой же острый, приятный запах чувствовал он тогда.

Вспомнил дочь и жену. Щемящая боль, как острый нож, пронзила сердце. «Неужели больше не увижу их? Не увижу...» Пимен открыл глаза. Вблизи — никого. Над головой нависло серое небо, а в нем, точно озеро в ясный день, голубой просвет. Но вот все темнеет перед глазами — будто падает Пимен в бездонную пропасть...

Очнулся Пимен Базалий только под вечер. Он не мог подняться и продолжал лежать на том же месте, в редких кустах ольшаника, наблюдая, как опускается к горизонту красное солнце, словно оно тоже принимало участие в битве и теперь, израненное, обагренное кровью, уходило на покой.

Тихо. Ни единого выстрела — ни с той, ни с другой стороны. Скоро наступит ночь, а вместе с ней, может быть, придет и смерть. Никто не увидит, как будет умирать Пимен Базалий, храбрый воин, которому обещан за первую атаку георгиевский крест. Не нужны ему теперь ни кресты, ни медали.

— Жить! Жить! — шепчут его побледневшие губы.

Солнце зашло. Над полем сгущались сумерки.

В темнеющем небе зажглась вечерняя звезда.

9

По лесу, собирая хворост, ходили солдатки с детьми. Теперь некому было заботиться о топливе на зиму, и молодицам самим приходится ходить в изаровский лес за сухим валежником.

Скоро нагрянет зима, все заметет снегом, непроходимыми станут лесные дороги, и тогда поздно будет думать о топливе. В рваных опорках на босу ногу шли Марина Сукачева с сыном, Метеличиха и жена Базалия. Общее горе и нужда сблизили солдаток, еще больше укрепили их дружбу. Все жаловались на Лукьяна Бессалого. Правда, он давал им взаймы хлеба и картофеля, но зато приходилось работать солдаткам на его полях от зари до зари.

— Всем нам теперь плохо, — говорила Сукачиха, — а он, живоглот, живет еще лучше, чем раньше. Даст, к примеру, чего-нибудь солдатке, а та во-время не возвратит ему долг — он в суд подает и по суду забирает землю, потому как, кроме земли, что с нее возьмешь!

— И Трофим не лучше Лукьяна. Пришла к нему в лавку моя соседка. Дети у нее захворали, вот она и пришла попросить у него для ребят маленько хлеба. Так не дал... Выгнал из лавки, как побирушку какую.

Сережа Сукачев молча идет за матерью, внимательно слушая разговоры старших. Это синеглазый мальчуган лет восьми, в пестренькой рубашке, в старых отцовских штанах, засученных почти до колен.

— Говорят, будто к солдатам можно ездить на свидание, — сказала Сукачиха. — Ну, а я так думаю, что кто побогаче да познатнее, может, тем и можно, а простому человеку не разрешат.

Дорога, извиваясь, уходила в лесную чащу. Солдатки свернули в кустарник: там легче было найти валежник.

— Бабоньки, давайте пойдем в пятый квартал, — предложила Метеличиха. — Я знаю, там спелые груши есть!

— И терну там много, и диких яблок. Мы в прошлое воскресенье ходили, — сказал Сережа; у него засверкали глаза, он готов был хоть сию минуту побежать по знакомой дороге.

Так и решили: сначала пойдут в пятый квартал, за грушами и яблоками, а уж на обратном пути будут собирать валежник. Из-под синенького в белую полоску фар-

тука Метеличиха вынула несколько хорошо поджаренных на конопляном масле «орешков» и угостила детей и солдаток.

— Пришлось мне продать мужнино ружье, — печально сказала Метеличиха, — Лукьян Бессалый вместо денег дал немного ржаной муки.

— А меня Софья к себе приглашает, — без особой радости сообщила Базалииха.

— В мастерской работать?

— Нет, служанкой. Не знаю вот: идти или не идти? Хотела с мужем посоветоваться, письмо написала, а он почему-то не отвечает.

— Иди, хуже не будет, а кое-что заработаешь.

— Я бы пошла — да куда ребенка денешь? Не хочет Софья, чтобы девочка при мне жила. А на кого я ее оставлю?

— Попроси Македониху, у них детей нет, а женщина она добрая, сердечная, вот и присмотрит за твоей девочкой.

Сережа слушал разговоры, а сам все посматривал на деревья, выискивая усохшие ветки. Ведь кому же придется лазить за ними? Ясно, ему, Сереже. У него под рубахой спрятана небольшая, но очень острая ручная пила. Всякий раз, когда он, обнимая цепкими ручонками ствол, лез на дерево, мать, стоя внизу, не спускала с него тревожных глаз и предостерегала: «Осторожней, сынок, не сорвись». Сереже смешно. Как это мама не понимает, что ему не впервой лазить на деревья? Он прекрасно знает, на какую ветку можно даже сесть, а какая — только возьмись рукой, как она, трухлявая, сразу и сломается.

Недалеко послышался звук лесниковой дудки.

— Это Мефодий Дробот в обход пошел, — сказала Сукачиха, слушая, как в лесной чаще отозвалось эхо. — Говорят, Софья приказала ему отбирать пилы и запретила ломать даже сухие ветки на деревьях. Только валежник и можно собирать. Что с дерева упало — то бери, а срезать не смей.

— Мефодий если и встретит — не страшно. Свой человек. Слыхала я, бабоньки, что в лесную сторожку к нему ходят солдатки.

— Разве к нему? Ты, Метеличиха, не знаешь. А мне верный человек сказывал, — и голос Базалиихи стал тише, — это все та рыжая обезьяна Лукьян придумал. Он

там с молодыми солдатками пьянствует, чтоб жена его не видала. Да разве от людей спрячешься?

— Пожилой человек, а ни стыда у него, ни совести.

— Зачем ему совесть, такому бабнику?

Незаметно подошли к пятому кварталу.

Шуршали под ногами опавшие листья. Под первой же грушей на земле лежали почерневшие, спелые, очень вкусные груши-лесовки. Солдатки и дети стали их собирать.

— Сережа, сынок, полезай-ка на нее, потряси хорошенько.

Быстро взобравшись на самую верхушку дерева, мальчуган начал трясти его. Вместе с грушами срывались и падали на землю красные, как кровь, листья.

Вскоре все подолы у женщин были полны грушами, спелым терном, яблоками. Возвращаясь домой, солдатки собирали валежник, сгребали сухие листья, до отказа набивая свои мешки. Но они уж не в первый раз проходили здесь, поэтому редко кому удавалось найти сухой валежник. Сережа наметил уже дубки, на которых можно было спилить несколько сухих веток.

— Смотри, сынок, не сорвись, — как всегда, предупредила мать, тревожно наблюдая за ним.

Сухой мох, густо покрывавший дубовую кору, набивался под изорванную рубаху, неприятно щекотал тело. Но мальчуган не обращал на это внимания. Рука его уже ухватилась за первый сук, но тот неожиданно сломался и полетел на землю. Вместе с ним упал бы и Сережа, если б во-время не удержался ногами. Этого никто не заметил. Легкий ветер качал густые кроны деревьев, и в лесу стоял однообразный шум. При таком шуме можно смело пилить даже сырые ветки — все равно никто не услышит. С вершины Сереже хорошо видно женщин. Они ходят между кустами, сгребая листья. Обхватив руками ствол и прижимаясь к нему грудью, он изо всех сил надавил ногой на ветку. Затрещав, ветка обломилась, и сразу же внизу послышался знакомый предупреждающий голос:

— Осторожнее, сынок.

Ветер раскачивал крону, и вместе с ней раскачивался мальчик, зорко наблюдая за лесной дорогой. Он еще раз внимательно осмотрел ближайшие кусты и только после этого вынул из-за пояса пилу.

Из-под острых зубьев полетели желтоватые опилки. Обычно кто-нибудь следил за дорогой и тропинками, но сейчас Сережа очень увлекся, да и другие не заметили, как, шагая напрямик, между кустами орешника, к дубу подошел подвыпивший Лукьян с охотничьим ружьем, купленным у Метеличихи.

— Так, так. Пилишь, значит?

Сережа обмер. Он понял, что спрятать пилу уже не удастся. В сером пиджаке, в больших охотничьих сапогах, внизу стоял Лукьян и колючими глазками следил за подростком.

— Ну, парень, бросай пилку.

Но Сережа, не бросая пилы, полез еще выше. Это взбесило Лукьяна.

— Слазь! Слазь, тебе говорю! — заорал он, багровея от злости.

— Не кричите на мальчика, — вступилась мать. — Не ругайте его. Я ему сама скажу, и он слезет.

Но Лукьян, не обращая внимания на Сукачиху, снял с плеча ружье и продолжал орать, задирая вверх рыжую голову:

— Долго тебя нужно просить? Слазь, чертенок, слазь сейчас же, не то стрелять буду!

— Не пугайте ребенка! Не дам! — бросилась к Лукьяну Марина, вцепившись руками в ружье. Но в эту минуту над ухом у нее просвистела плеть и со всего размаху опустилась на сатиновую кофточку.

Марина вскрикнула от резкой, неожиданной боли, но не заплакала. Дикая ярость вдруг засветилась в глазах матери, готовой на все ради своего ребенка. Схватив первый попавшийся под руку сук, страшная в своем гневе, она смело бросилась на Лукьяна. Раздался выстрел, гулким эхом пронесшийся по чаще, и тотчас же послышался душераздирающий материнский крик. С вершины дуба, цепляясь за ветки, падал Сережа. Забыв обо всем на свете, мать, как безумная, бросилась к сыну. Ощупывала его руки, ноги, голову.

— Жив... жив...

Крови не было, только на лице виднелись красные царапины.

— В воздух я пальнул, в воздух... — бормотал перепуганный Лукьян и, поняв всю серьезность случившегося,

так же быстро и незаметно, как и появился, исчез в кустах.

Волнение и страх Марины были так велики, что она даже не заметила исчезновения Лукьяна. Все мысли ее сейчас были поглощены сыном. Она обнимала мальчика, тормошила, а он, бледный, лежал на спине, не шевелясь. Глаза его были открыты, но Сережа ничего не видел: он потерял сознание.

— Сережа... Сыночек мой... Сереженька! — рыдая, звала мать. — Жив... ты жив... скажи мне... скажи хоть словечко... Сереженька!

Мальчик лежал, равнодушный к ее крику, мольбам, к ее рыданьям. И вдруг мать затихла, подняла голову. Страшно было взглянуть в ее глаза — столько было в них горя, отчаяния, почти безумия.

— Умер... — еле слышно прошептала она, — умер мой Сереженька. У-у-мер!.. — закричала она и упала на тело мальчика, исступленно рыдая.

Может быть, ее крик или слезы, упавшие на бледное лицо, привели Сережу в чувство. Взгляд его прояснился. Зашевелились губы, послышался слабый голос:

— Воды...

Но воды не было. Ему дали сочную грушу, потом еще одну. Он жадно глотал сок, не понимая, где он, что с ним случилось. Мать, не веря своим глазам, смотрела на сына, вытирая слезы. Она нежно гладила его лицо, руки, чувствуя приятную теплоту родного тела.

— Надо пойти к приставу пожаловаться. Ведь рыжий дьявол мог погубить мальчика... Мог искалечить его на всю жизнь. Этого нельзя прощать, — сказала более решительная Метеличиха.

— Кому жаловаться? Приставу? — возразила Базалиха. — Да он сиднем сидит в гостях у Лукьяна. Вместе и водку пьют. Теперь уж, когда наши мужики с фронта вернутся, им расскажем... Они заступятся. А у пристава на Лукьяна управы не найдешь.

— Я встану...

Сережа попробовал подняться, но, вскрикнув от боли, упал на землю. Этот крик, как удар, ошеломил мать. Предчувствие страшной беды опять нависло над ней, потушив в душе недавнюю надежду.

— Пропал мой мальчик! — сказала она, едва шевельнув губами.

Но Сережа услыхал и, желая хоть немного успокоить мать, взял ее за руку своей теплой ручонкой.

— А мне уж лучше. Я сейчас встану. — И действительно, напрягая силы, с помощью солдаток, он поднялся на ноги. — Я думал, он в меня... выстрелил... И чего я... испугался? .. — Мальчику не хватало воздуха. Он говорил медленно, задыхаясь, словно ему на грудь положили что-то тяжелое, от чего никак нельзя было освободиться. — А за пилкой... я завтра... приду... Она осталась... там... на дубе...

Сережу вели под руки солдатки, а следом шла мать, не сводя с него взгляда, готовая в любую секунду подхватить его ослабевшее тело. Он шел, еле передвигая ноги, и изо всех сил крепился, чтобы не застонать от боли и лишний раз не испугать мать. В голове у него шумело, а ему казалось, что это шумит откуда-то налетевший вдруг ураган. Перед глазами, сцепившись друг с другом, закружились кроны дубов, лип, ясеней; страшный ураган выворачивал с корнями могучие стволы, и Сережа в ужасе шептал:

— Стойте! Нельзя... Вы же видите, там падают деревья.

Его усадили на землю, чтоб он немного передохнул. Опять выбрали самые спелые груши. Кисловато-сладкий сок утолял жажду мальчика, восстанавливал его силы. У него больше не кружилась, как раньше, голова, только попрежнему не отпускала страшная усталость.

— Когда я вырасту, я припомню ему этот выстрел, — неожиданно сказал он, и в глазах его сверкнул гнев. — Богатей проклятый!

Теплая материнская ладонь ласково погладила его белокурую головку.

10

Бакалейная лавка Бессалого. Низенькая дверь снаружи обита листовым железом. На крепких засовах висят тяжелые замки. Со двора — отдельный ход. Узкая дверь не заперта изнутри на крючок.

В лавке, согнувшись у столика, сидит Трофим Иванович. Его не сразу заметишь при свете маленькой керосиновой лампочки среди мешков с мукой, кадками

с селедкой и медом. Длинные пальцы привычно пощелкивают костяшками счетов.

В последние дни у него хорошая выручка. Среди медяков и серебра поблескивают три золотых пятерки. Трофим Иванович цепко держит в своих руках золото. Дома у него есть шкатулка, в нее он тайно от всех прячет деньги — самое дорогое, что есть у него, вечные деньги. Сколько там уже набралось этих золотых рублей — об этом знает только один Трофим Иванович. Он никому не доверяет ключ от заветной шкатулки, хранит его на зеленом шнурочке с нательным крестиком, чтоб никакая посторонняя рука к нему не добралась.

На стене и на низком потолке легла его большая сгорбленная тень. Шуршат мыши в углу, и там же, в полутьме, отражая тусклый огонек керосиновой лампы, поблескивают продолговатые зрачки сытого кота.

Заскрипели ржавые петли. Трофим Иванович вздрогнул от неожиданности. Широкая ладонь быстро прикрыла золотые пятерки. В лавку вошла Олимпиада.

— Черти тебя здесь носят! — грубо закричал он на жену. — Ну, зачем пришла? Снова просить? .. Не дам! Ни копейки ему не дам. Пусть не тратит столько.

— Саша залез в долги. Два месяца уже прошло, как выслали тридцать рублей.

— И хватит с него! Пора и самому о себе побеспокоиться. Тридцать рублей... Такие деньги зря тратить! У него ведь все там казенное: стол, обмундирование, разъезды... Зачем ему деньги? Уходи, ничего не дам, ни копейки. В следующем месяце, может, вышлю несколько рублей, а сейчас нет!

Не обращая больше внимания на жену, он снова защелкал на счетах. Олимпиада вышла. Трофим Иванович запер дверь на крючок, но успокоиться уже не мог. Его рассердил сын, как сердил всякий, кому приходилось выплачивать деньги. На базар Трофим Иванович ходил сам и торговался с крестьянками за каждую копейку. Его высокую фигуру в засаленном пальто знали почти все крестьяне окрестных сел. Худой, с острым носом и пронизывающими глазами, он напоминал коршуна или ястреба и, как хищник, издалека намечал хорошее мясо, свежий сыр, умел поторговаться и поругать баб. Ему всегда удавалось покупать продукты и овощи дешевле, чем покупали другие. Выбирая, например, морковь, он пытался тут же

ее грызть коренными зубами: передних зубов у него почти не было. Жиденькая, как мочалка, бородка его моталась при этом из стороны в сторону. Своим видом он пугал крестьянок. Особенно боялись они его холодных глаз. Стараясь поскорее от него избавиться, женщины уступали ему копейку или две и, провожая потом взглядом его высокую, немного сутулую фигуру, крестились и вздыхали, шепча:

— Прости господи!.. Вот, черт окаянный, за копейку всю тебя изведет... Посмотрит ястребом — сердце замирает от страха. И как его не боится жена? Во сне такой приснится — жутко станет.

— Что жена? Она женщина тихая, смирная, супротив него даже слово боится сказать. А он жадюга! Сам на базар ходит. А денег у него, говорят, куры не клюют.

В полдень Трофим Иванович закрывал свою лавку и шел к рундукам, где торговали мелкие галантерейщики. Найдет бывало там иголку или копеечную пуговицу, иногда кусок нитки — все это бережно прячет и несет к себе домой. Вечная скупость не позволяла ему, очевидно, отдать и деньги, занятые им еще у покойного Изарова на приобретение галантереи. Этот долг так и оставался за ним до сих пор, но в душе Трофим Иванович лелеял мечту, что все это обойдется как-нибудь, забудется, а денежки останутся у него навсегда.

Особенно же раздражали его письма Александра, в которых тот постоянно просил выслать ему денег. В таких случаях Трофим Иванович, желая сорвать на ком-нибудь свою злость, яростно нападал на Олимпиаду.

— Где я возьму? — кричал он, тряся бородой. — Хочет меня ограбить сыночек... последнюю рубаху снять, по миру пустить. Тянет и тянет... Что я ему, дойная корова? Выслал раз — и за это пусть скажет спасибо. Так чего доброго все хозяйство можно разорить и бакалейную лавку продать. А на что потом жить? Кто деньги даст, а? Нет у меня для него ни рубля. Нет!

Он кричал, шумел, черной тучей ходил день-другой, а потом шел на почту и тайно от жены высылал сыну несколько рублей. После этого целую неделю страшно было попадаться ему на глаза. В доме дети и мать разговаривали шепотом. По утрам не завтракали, а на обед подавался постный борщ без хлеба. В миски бросали ржаные, твердые, как камень, сухари и, размочив их, молча ели, боязливо поглядывая на отца. Дети постепенно приуча-

лись к воровству; таская из бакалейной лавки съестное, они были сыты. А больше всех страдала Олимпиада. Она уединялась тогда в спальню и там, став на колени перед иконой божьей матери, горячо, страстно молилась за своего Сашеньку, которого она любила сильнее всех остальных детей, ради которого находила в себе силы и мужество переносить все оскорбления, голод, издевательства грубого мужа.

От сына получили уже третье письмо, а Трофим Иванович не высылал ему ни копейки. Напрасно Олимпиада напоминала мужу о деньгах, этим она только раздражала его еще больше. А ее сын, ее любимец Александр, ждал денежного перевода на сто рублей. Он не объяснял, зачем понадобились ему такие большие деньги, но просил обязательно выслать. Где же взять эти сто рублей?

Олимпиада сидела у стола грустная, подавленная своею беспомощностью. Она опять поговорит с мужем, опять будет просить его. Пусть он кричит на нее, ругает, пусть даже прибьет, она все вынесет ради Сашеньки, только бы выслать нужные ему деньги.

Она не ложилась до поздней ночи. В соседней комнате спали младшие сыновья. Однотонно тикали на стене ходики. Перед глазами встал образ сына, когда он был еще совсем маленьким. И от этих воспоминаний где-то в глубине души вырастала страшная мысль... Появившись неожиданно, она уже неотступно преследовала Олимпиаду.

— Нет, нет. Не могу я... не хочу... — шептала взволнованная Олимпиада, с ужасом глядя через окно на бакалейную лавку.

Уже за полночь в комнату неслышно, как кошка, вошел муж, поставил на стол лампу и, не снимая пальто, сказал:

— А ты все ждешь? Напрасно. Денег не дам! И его письма мне не показывай. Надоело! Не желаю их больше читать. — Он отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и медленно стал расстегивать пуговицы засаленного пальто. Олимпиада знала, что ей надо выйти из комнаты, оставив его одного, — Трофим Иванович будет прятать золотые пятерки в заветную шкатулку.

Олимпиада пошла в спальню. Через несколько минут в спальню вошел и муж, разделся, прикрутил лампу так, что огонек мерцал едва видимым светлячком, лег рядом и тут же уснул. Олимпиада, прислушиваясь к похрапыванию мужа, смотрела на его темный, беззубый рот. Шевелились

от дыхания редкие усы, нервно вздрагивали густые брови. Полотняная рубаха была расстегнута. На волосатой груди виднелись дешевый крестик и ключ. Увидев его, Олимпиада почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Она твердо решила взять ключ. Трофим Иванович, кажется, скорее дал бы вырвать у себя из груди живое сердце, чем согласился выслать сыну такие деньги.

Иного выхода у Олимпиады не было, только этот опасный, но единственный. Пока развязывала зеленый шнурок, она пережила столько тревоги и страха, сколько не испытывала еще за всю свою жизнь. Вдруг ей показалось, что правый глаз слегка приоткрылся и муж следит за ней. Олимпиаду охватил ужас. Она отшагнулась к стене, ожидая, что вот сейчас он своей сухой, жилистой рукой схватит ее за волосы и тяжелым, как молот, кулаком будет бить куда попало, срывая на ней свою злость и гнев, накопившиеся за эти дни.

Убедившись, что муж спит, Олимпиада снова осторожно потянулась к зеленому шнурку. Развязав его, сняла ключик. Он был теплый. Крепко зажав его в вспотевшей руке, она тихо встала с кровати и, неслышно ступая, вышла в смежную комнату, где в дубовом массивном шкафу хранилась шкатулка.

— Господи, помоги... Не оставь меня, заступница... — шептала женщина, с мольбой и надеждой глядя на икону божьей матери.

Дрожащими руками Олимпиада раскрыла шкатулку. Перед глазами блеснуло золото. Она лихорадочно начала отсчитывать сто рублей.

В дверях неожиданно появился муж. На какое-то мгновение женщина от страха онемела, но потом быстро вскочила на ноги. С колен ее упала шкатулка, рассыпались золотые монеты.

Не успела Олимпиада даже вскрикнуть, как Трофим Иванович сильным ударом сбил ее с ног. Перед глазами у нее мелькнуло перекошенное от злобы лицо мужа.

— Золото... мое золото! — услышала она страшный шепот и, вскочив, бросилась бежать, но он настиг ее и схватил за горло. — Ах ты, гадина! Красть мое золото... золото! ..

— Не для себя... Саша... Сашень...

— Убью... подлая!

Дальше она уже ничего не слышала. Тело ее мягко

опустилось на пол. Только теперь Трофим Иванович понял, что он наделал. Ему не нужно было хватать ее за горло. Но он не бросился спасать жену, а, ползая на четвереньках по полу, стал собирать рассыпанное золото. И когда все было собрано в шкатулку, он не спеша высыпал его в сумочку, вынес во двор и спрятал в амбаре. Здесь, как и в лавке, дверь была обита толстым железом и надежно запиралась на массивные замки. Когда Трофим Иванович вошел в дом, Олимпиада все еще лежала на полу. Поняв, что ему угрожает, он испуганно наклонился над ней, но прилив новой бешеной злобы снова затуманил его разум.

— Золото, мое золото хотела украсть? Ах ты, змея! Убью!

Ни единый мускул не шевельнулся на бледном лице Олимпиады. Безжизненно раскинув руки, она продолжала лежать там, где он свалил ее. Надо было немедленно что-то предпринять, найти какой-то выход.

Трофим Иванович метнулся к окну. Не жалея, ударил табуреткой раму с такой силой, что высадил ее. Звякнув, рассыпались на мелкие кусочки стекла. Трофим Иванович выскочил на улицу и заорал что было сил:

— Караул! Караул! Ограбили... Держите вора, держите!

Истошный голос его поднимал с постелей людей. Гремели дверные засовы, скрипели калитки, выбегали на улицу люди.

— Олимпиаду... задушили... забрались через окно... все золото унесли. Все, до копейки!.. Вот, смотрите, — показывал Трофим Иванович всем пустую шкатулку. — Ограбили... По миру пустили... Шкатулка осталась, а золота нет... Нет золота... Нет! — орал он, дико выпучив безумно блуждающие глаза. Потом, отшвырнув шкатулку и схватившись за голову руками, он заметался, как зверь в клетке.

Люди зашли в дом. Возле матери на полу сидели испуганные дети, а она все еще лежала неподвижная, как и раньше. К ней осторожно подошла соседка, взяла за руку — рука была еще теплая.

— Воды! — решительно скомандовала соседка.

Кто-то юркнул в сени и вскоре вернулся с большой медной кружкой. С кружки падали прозрачные капли.

— Вот, возьмите! — услужливо протянул соседке кружку меньшой сынишка Олимпиады. Кружка дрожала

в его руке. В испуганных глазах мальчика затеплилась надежда.

Женщина деловито набрала в рот воды и прыснула ею в бледное лицо Олимпиады. Не раскрывая глаз, Олимпиада слабо шевельнула губами.

— В больницу ее... скорее, в больницу! — закричали со всех сторон набившиеся в комнату люди, и только соседка была попрежнему деловито-спокойна. Немного приподняв Олимпиаду за плечи, она поднесла кружку к ее сухим губам.

— Мама! Мамочка! — закричал меньшой сынишка. И этот полный отчаянья, долго сдерживаемый крик проник в ее сознание, пробудил ее к жизни.

Она глотнула воды и открыла глаза, но ничего не видела перед собой. Все покрыла густая, непроницаемая мгла, и в ней далеко-далеко мерцал одинокий огонек.

Трофим Иванович, сидя у стола, попрежнему скулил, равнодушный ко всему, что происходило сейчас в его комнате.

— Золото... Мое золото... Ограбили... Всю жизнь собирал, всю жизнь работал... Нет теперь... ничего нет... Нищим оставили... Господи!.. — Он прищуренными глазами смотрел на иконы с бледными ликами святых, горячо и громко взывал к богу, сетуя на свое горе, так неожиданно свалившееся на его седую голову. — Господи, господи, за что ты так покарал меня? Зачем отнял мое золото?

— Трофим Иванович, золота уж не вернете, спасайте жену, — говорили ему люди, но он был глух к их словам и советам.

Соседки отвезли Олимпиаду в больницу. Люди разошлись по домам. Легли спать напуганные дети. И когда в доме снова наступила тишина, Трофим Иванович потушил лампу, подошел к разбитому окну и сокрушенно покачал головой.

— Одни только убытки... И все из моего кармана. Рубля два придется заплатить столяру Македону за новую раму.

Он лег на кровать и стал думать: «Выживет Олимпиада или нет? Лучше, если бы не выжила». И с этой мыслью Трофим Иванович спокойно уснул.

Наутро вся слобода уже знала о случившемся несчастье. Женщины сочувствовали Олимпиаде. Софья

подняла на ноги всех стражников, из уездного города Грайворона вызвала собаку-ищейку.

Олимпиада выжила, но была очень слаба. Еще только стало светать, Трофим Иванович пришел к ней, но старый фельдшер не пустил его к больной, заявив, что сейчас нельзя ее тревожить. От него Трофим Иванович узнал, что Олимпиада потеряла речь, и вернется ли к ней речь — фельдшер не мог сказать.

Возвращаясь домой, бакалейщик с тревогой думал о собаке-ищейке. По дороге он зашел к сестре и, рассказывая о здоровье жены, стал жаловаться на грабителей.

— Не знаю, как теперь буду торговать. Пять тысяч рублей... пять тысяч золотом украли. Не бумажками, а чистым золотом!

Сестра смотрела на него в упор, и Трофим Иванович не выдержал ее взгляда.

— Выручи, помоги мне в беде, Софья, дай взаймы тысячу рублей... Для дела прошу.

— А должен сколько? Три?

Напоминание о старом долге покоробило брата. Он опустил голову и глухо, пытаясь разжалобить, убеждал ее:

— Не всегда же меня будут грабить. Не дай мне, сестра, по миру пойти с сумой.

— С сумой? — усмехнулась Софья, понимая, что брат нарочно хочет разжалобить ее, и это вызвало в ней злость и желание говорить ему дерзости. — Жадюга ты. Больно деньги любишь, а зарабатывать их по-настоящему не умеешь. Спрятал свое золото в шкатулку и сидишь на ней, как слепой крот, а ты бы в банк его положил или, еще лучше, пустил в дело. Больше товаров — больше выручка была бы. Не умеешь ты жить. Мертвым капиталом лежат у тебя деньги. Куда это годится? Не дам я тебе никакой тысячи, — резко сказала она, наслаждаясь своим превосходством над ним, внутренне гордясь тем, что вот ей, младшей сестре, приходится учить уму-разуму старшего брата, которого она когда-то считала очень опытным и деловым человеком. Сейчас же он не вызывал у нее жалости, наоборот, Софья чувствовала к нему гадливость.

— Значит, не дашь? — переспросил Трофим Иванович, и в глубине его зрачков заискрились злобные огоньки. — Вот тебе и сестра! Богачка! У бедного брата горе, а она окончательно хочет его утопить. Видать забыла, что Изарова-то я разыскал, я сосватал...

Брови у Софьи сдвинулись, гневом сверкнули глаза.

— Не люблю я таких разговоров. Слышишь?

И он, чувствуя, что сказал лишнее, сразу умолк. Но теперь не могла молчать уже Софья. Она яростно набросилась на брата, подыскивая самые злые, самые оскорбительные слова.

— Чего ты скулишь, как собака? Разжалобить меня вздумал, сердце мое тронуть слезой. Не выйдет. Нет у меня жалости к тебе. Так и знай: нет и не будет! У Лукьяна поучись, если не хочешь у меня учиться. Я ему тоже дала взаймы три тысячи, а уж через год он мне половину вернул. Твердо стоит на земле Лукьян, потому что умеет работать. Сорок десятин только одной пахотной земли приобрел, да еще и сенокосы... Да хозяйство какое... У человека голова на плечах, а не гнилая тыква.

— У Лукьяна земля, а у меня бакалейная лавка.

— Так закрой к чертовой матери свою лавку. И тоже занимайся сельским хозяйством.

— Слаб я для такого дела. С мужиками ругаться не умею. — И Трофим Иванович встал со стула. — Что ж, брату не хочешь помочь. Пойду я.

Он не спеша надел засаленную фуражку и медленно направился к двери, надеясь, что Софья остановит его. Но она, не сказав ни слова, молча проводила его злобным взглядом.

В полдень на дороге показались стражники. Весть о них быстро разнеслась по слободе, вызвав у населения сильное любопытство. Всякому ведь интересно посмотреть на необыкновенную собаку, которая может напасть на след грабителей. Любопытство было так велико, что ко двору Бессалого со всех концов слободы бежали не только ребята, но собирались и взрослые, запрудив улицу. Все деревья и крыши соседних домов были заняты детьми. Они жадно следили за всем, что происходило во дворе.

Пришел и Лукьян. В его вспотевшей руке был платок, которым он все время вытирал пот, ища удобное место, где бы ему спрятаться от палящих лучей полуденного солнца. Усевшись в тени старого клена, Лукьян молча, но очень внимательно следил за братом, которого он хорошо знал, а зная, видел сейчас его плохо скрываемое волнение. Когда они встречались взглядами, хитрые глазки Лукьяна сверлили брата, как острые буравчики, легко угадывая его мысли.

«Ты меня, Трофим, не проведешь. Я насквозь тебя вижу. Грабитель!»

А разгадав брата, он не стал больше испытывать его и сидел молча, недовольный всем происходящим.

Трофим Иванович уже два раза побывал в амбаре, ничего не вынося оттуда, подходил к Лукьяну закурить, сворачивал папиросу, а руки у него дрожали. И снова, внутренне настороженный, шел он или в дом, или за ворота — посмотреть, не ведут ли стражники ищейку.

— Как здоровье Олимпиады? — спросил Лукьян, давая прикурить брату.

— Лежит. Фельдшер сказал — видно, немой останется. Такое горе у меня... такое горе... И все на мою бедную голову, — сетовал Трофим Иванович, снова срывался с места и куда-то бежал.

— Ведут... собаку ведут! — послышался чей-то голос за воротами.

Во двор вошли несколько стражников, пристав и человек в штатском с ищейкой. Народ так было и ринулся следом, но пристав приказал выгнать всех посторонних на улицу. Оставили только понятых. Собаку повели в комнату, и она, обнюхав шкатулку, стала лаять на Трофима Ивановича. Следователь тут же начал его допрашивать. Заметно путаясь и бледнея, хозяин дома рассказывал о грабителях, вынувших оконную раму, о том, что сам он в это время отлучился из дому по своим делам, а когда, возвратившись, вошел в дом, то на полу увидел Олимпиаду...

Долго, со всеми подробностями, рассказывал он, где именно она лежала, как были раскинуты у нее руки, какая она была в ту минуту бледная, как он сам растерялся при виде всего этого, а когда бросился к ней на помощь, вдруг заметил лежавшую рядом пустую шкатулку... Шкатулку, в которой было его золото. Потом он уже не помнил, что с ним творилось. Горе затуманило ему разум, но все же он догадался выбежать на улицу, поднять крик. Сбежались соседи. Они и отвезли в больницу еле живую Олимпиаду.

Следователь не перебивал Трофима Ивановича вопросами, давая ему возможность высказаться как можно пространнее, но ни на минуту не сводил с него своих понимающих, холодных глаз.

— Золото мое пропало... Остался нищим... Хоть по

миру с сумой иди... — Трофим Иванович даже всхлипнул, желая придать своим словам больше убедительности. — Может, собака нападет на след и разыщет грабителей-душегубов?

Собаку сдерживали, но она рвалась к Трофиму Ивановичу, готовая разорвать его на части. Он испуганно пятился от нее, отступая к стене.

Следователь пристально наблюдал за хозяином дома, но пока ничего ему не говорил и ни о чем не спрашивал.

Вышли во двор. Собака, обнюхав землю и разбитую раму, снова яростно залаяла на Трофима Ивановича. Он растерялся еще больше, не находя себе места, куда бы можно было спрятаться от нее.

— Лает, лает!.. На самого Бессалого лает, — отовсюду слышались детские голоса.

Люди приникали к каждой щелочке в заборе, надеясь что-нибудь увидеть.

— Ты переоденься, Трофим. В твоем доме случилось, вот собака на тебя и лает. Одень чужую одежду, — советовал Лукьян. — Может, пес и отстанет.

— Удивительно! — делился своими наблюдениями с приставом следователь. — Невероятно, но кажется, факт...

Во двор вошла Софья. Следователь и пристав почтительно поздоровались с ней за руку; козырнули стражники, и только занятый своим делом приезжий из города человек в штатском не обратил на нее внимания.

— А знаешь, Софья, — зашептал Лукьян на ухо сестре, — ищейка-то на Трофима лает... Вот как оборачивается дело-то. [illegible]кандально!

[illegible]жно было и не говорить. Увидев старшего брата, [illegible] испу[illegible]астерянного, с блуждающими глазами, полными к ней О[illegible]а, она поняла все. Вспомнилось, как приходила зала [illegible]импиада занимать денег для сына. Софья отказ[illegible]ей, сославшись на то, что Трофим не вернул ей долг, [illegible]лимпиада, видимо, решила достать деньги для любимого сына иным путем.

Для Софьи все было ясно, и сейчас она искренне жалела, что так опрометчиво, поверив брату, вызвала из города ищейку. Трофим обманом хотел взять у нее деньги. Это возмутило Софью, но она хорошо владела собой. Надо было как можно быстрее прекратить эту глупую, никому не нужную комедию.

Трофим переоделся в форму стражника, но ищейка снова бросалась только на него, потом, обнюхивая землю, она побежала прямо к амбару. Трофим Иванович заморгал глазами, готовый расплакаться от досады, обиды и невероятной злобы к животному, которому он с удовольствием отрубил бы голову.

Подошла Софья, молча посмотрела брату в глаза, и по ее взгляду он понял, что все раскрыто. Дальше отпираться было бессмысленно. Но как прекратить этот нелепый розыск? Что делать? У кого искать спасения от позора и неминуемого наказания? Единственным человеком, который мог бы его выручить, была сестра. Но захочет ли она это сделать теперь, когда его обман стал ей известен?

— Ключ... Дайте ключ от амбара, — попросил пристав, вытирая платком вспотевшее лицо.

Узкий воротник казенного мундира жал ему шею. Приливала кровь, и лицо его становилось багрово-красным, как после хорошей выпивки; последнее, впрочем, случалось с приставом довольно часто. Но сейчас он был совершенно трезв и немного смущен своей ролью и необходимостью присутствовать при таком довольно щекотливом, но совершенно ясном для него деле. Смущение его усиливалось еще и тем, что виновником всей этой глупой затеи был родной братец Софьи Ивановны — женщины умной, богатой и влиятельной, к которой господин пристав относился не только с глубоким уважением, но и со свойственным его должности подобострастием. Ему очень хотелось поскорее закончить следствие, чтобы прямо отсюда закатиться к Лукьяну и там, в тени старой яблони, сбросив мундир, расположиться по-домашнему, выпить водочки, настоенной на разных кореньях, и хорошо закусить.

— Ключик требуется, ключик, — мягко и вежливо говорил пристав, понимая, что такое обращение здесь необходимо.

Трофиму Ивановичу деваться было некуда. Он зашел в дом, взял ключ и, выйдя снова во двор, остановился возле сестры, умоляюще зашептал:

— Спаси меня, Софочка, спаси! Ведь могут в тюрьму посадить. Я потом расскажу тебе всю правду. Помоги! Выручи!

— Как же насчет ключика? — снова вежливо напо-

мнил пристав, и Трофим Иванович отошел, не дождавшись ответа сестры. Во всей фигуре его: в опущенной голове, в чрезмерной сутуловатости, в робкой, виноватой походке — чувствовался такой страх, словно шел он на виселицу.

Однако лай собаки заставил его вздрогнуть и быстро сообразить, как надо действовать. Плечи его расправились, спина выпрямилась, в глазах сверкнула упрямая решимость.

— Ключик разрешите, — протянул руку пристав, но Трофим Иванович резко ответил:

— Ключей никому не доверяю. Ключи останутся при мне. Амбара открывать не намерен.

Сразу же с деревьев и крыш домов дозорные сообщили уличной толпе:

— Он не хочет открывать амбар, его просят, а он не хочет.

Выручила сестра. Она подошла к следователю и приставу и пригласила их в комнату. Никто не знал, о чем говорила с ними Софья Изарова, только через несколько минут следователь и пристав, прощаясь, с благодарностью пожимали ей руку. Ищейку увели со двора. Для слобожан так и осталось непонятным: украли у Бессалого золото или нет? Но всем было ясно, что Софья выручила брата из какой-то неприятной для него истории.

Несколько дней после этого не открывалась бакалейная лавка Бессалого. Через неделю Трофим Иванович привез из больницы О[illegible]у. У не[illegible] голова и все еще дрожали руки. А первые слова, обращенные к мужу при встрече, были о сыне. В тот же день Трофим Иванович высл[illegible] Александру сто рублей.

11

Метелик в первую минуту даже сам не понял, почему это на совершенно ровном месте он упал. Вскочив сгоряча, он сделал несколько шагов и вдруг почувствовал такую сильную боль, словно с разбегу налетел на острие штыка, насквозь пронзившего ему ногу. Что-то липкое, неприятно-теплое стекало в сапог. Только сейчас понял Метелик, что он ранен. Осматривая сапог, заметил разорванное голенище, след от шальной пули, а может быть,

и осколка снаряда. Пристрелявшись к русским позициям днем, немцы продолжали обстреливать их даже ночью.

Быстро стянув сапог, Метелик увидел небольшую с виду, но глубокую рану, из которой беспрерывно, как из родника, струилась кровь. Вид крови вызывал у него тошноту.

Вынув из кармана запасный бинт, Метелик перевязал рану. Немного разрезав голенище, обулся, попробовал встать, но страшная боль пронзила все тело. Превозмогая боль, он, опираясь на винтовку, все-таки поднялся и медленно побрел к санитарной части, где ему должны были оказать медицинскую помощь.

В стороне блеснул огонек. Пока Метелик добирался к нему, прошло немало времени. Это был перевязочный пункт, размещенный в небольшом селении, где каким-то чудом уцелел только этот единственный дом. Надежда на скорую помощь придавала Метелику силы. Вот он сейчас подойдет к двери, постучит в нее, и, откликнувшись на стук, выйдут санитары, введут его, раненого, в белую палатку, а там уже умный, знающий хирург сделает все, что нужно. Только бы одолеть ему это расстояние в несколько шагов — и он у спасительной двери. Ослабевший от потери крови, Метелик еле шел, чувствуя, как его покидают последние силы.

Наконец, с трудом схватившись за металлическую ручку, он постучал в дверь. Прошла минута, показавшаяся ему вечностью. Никто не отзывался, никто не выходил, хотя в окнах попрежнему светился огонек. Нестерпимо ныла рана, кружилась голова.

— Откройте! — закричал Метелик, чувствуя, как у него подкашиваются ноги.

«Пропаду... Неужто истеку кровью и погибну? А ведь рана не смертельная, легкая рана... зашить ее, перевязать как следует... только бы скорей...» И он снова застучал, еще сильнее. Наконец послышались чьи-то шаги.

«Что они там, спали, что ли?» — раздраженно подумал он, готовый уже обругать санитаров за такую медлительность.

— Кто стучит? — отозвался из-за двери чей-то недовольный голос.

— Раненый, солдат.

Дверь отворилась, и Метелик неожиданно увидел перед собою Александра Бессалого. Он сильно обрадовался

этой встрече: Александр поможет своему земляку. И Метелик начал рассказывать.

— Даже не почувствовал, как она меня зацепила. Упал и сам удивляюсь: «Почему упал?» Сгоряча поднялся на ноги... Эге, такая боль... вот еле дошел! Лекаря бы мне поскорее... Пускай рану посмотрит.

Александр, не говоря ни слова, захлопнул перед ним дверь. Метелик сразу даже не понял, что случилось, так это было для него неожиданно. С минуту он стоял, растерянно глядя на дверь. Потом, собрав последние силы, стал бешено колотить в нее кулаками. Но сколько ни стучал он, сколько ни звал на помощь санитаров, никто больше к нему не вышел.

— Что же это такое? — растерянно бормотал он. — Раненому солдату не хотят оказать помощь... Где же это видано? Я буду жаловаться. Сволочи! Слышите? Откройте!

За дверями было тихо, и эта тишина пугала Метелика. «Пропаду... Не дотяну до утра — замерзну. Найдут только мой труп... только замерзший труп...» Страшная мысль о смерти ни на минуту не давала ему покоя. Она сковывала душу ледяным ужасом.

В домике погас свет. Находила туча. В черные окна забарабанил дождь.

«Что же я стою? Надо же куда-нибудь идти? На
что-то делать, иначе пропадешь... Солдат бы
встречать... Они помогут, они

Метелик сделал
страшной бол
Он старался
капли, чтоб

Не бы
вельнут

Ме
не
е

вершине этого необычного креста — ворон, стервятник... Метелик потерял сознание...

Очнулся Метелик от острого запаха нашатырного спирта. Вспыхнул огонек спички, и чей-то знакомый голос назвал его по имени. Метелик, еще не понимая, сон ли это или действительность, спросил слабым голосом:

— Яков, это ты?

— Я, — послышалось в ответ.

— Значит, буду жить! — тихо, но твердо сказал Метелик, чувствуя, как его ногу перевязывают умелые женские руки.

— Ну вот и все. Теперь можно его брать на носилки. Сейчас я позову санитаров, — и девушка быстро исчезла в темноте.

Очень знакомым показался Метелику ее голос. Где он его слышал? Когда это было? Но как ни напрягал он память, припомнить никак не мог. Тогда он обратился к Якову:

— Кто такая?

— Разве не узнал? Нина Черкашина. В Брянске мы у нее были в гостях... Сейчас она в нашем полку сестрой милосердия.

Метелик немного помолчал и снова спросил:

— А куда же она пошла? Разве перевязочный пункт ... ...ике?

...т еще вчера перевели отсюда в ...фицеры.

...а какие-то свои ...м смотрел на ...забуду... ...видать, ...ся, но ...ого- ...л-

А Черкашина к нам перевели. Да ты его сам увидишь. Обещал быть.

Открылась дверь, и в ней появился Черкашин.

— Здравствуйте, однокашники! — сказал он, быстрым взглядом окидывая палату.

По глазам, и по улыбке, и по шутливому тону солдаты почувствовали, что гость прибыл к ним с радостной вестью.

Он знал тут всех не только по фамилии, но и по имени и по отчеству. Вот и сейчас, здороваясь с каждым отдельно, участливо расспрашивал,

— Ну как, Иван Семенович, рана заживает?

— Да, заживает, леший бы ее взял! Уж и боюсь, что скоро выпишут, как тебя. И тогда опять на позицию, опять в это пекло, чтоб его вовек не видать!

— А ты не бойся. На позиции дела улучшаются. — И, подойдя к соседней кровати, спросил: — А что, Николай Петрович, пишут из дому? Жена уже вышла из больницы?

— Письмо получил, — хмуро ответил солдат, — да радости мало. Жена все еще в больнице, и ребятам одним приходится дома управляться.

— Вижу, брат, невеселые твои дела.

— Да, верно, веселого мало.

— А твоя сестра, Сергей, замуж вышла? — спросил Артем у молодого широкоплечего парня, остриженного под машинку, который лежал в палате уже второй месяц с незаживающей раной.

— Где уж теперь о замужестве думать. В батрачки к помещице пошла сестра, дома-то есть нечего.

— А как жених?

— Забрали в солдаты! Может, где-нибудь тут, на фронте, с ним повстречаемся.

— Ну, а ты, Макар, что своей девушке пишешь? — и Артем пожал жилистую и сильную руку деревенскому кузнецу.

— Что пишу? — переспросил тот и улыбнулся, с благодарностью поглядев в лицо Артема. — Вишь, не забыли, что я вам рассказывал.

— А зачем же забывать? Я знаю даже, как ее зовут. Катерина, да?

— Правда, — еще больше обрадовался кузнец. — Катериной Ивановной... Хорошая она. Письма мне пишет,

да все успокаивает, чтобы не унывал... Ждет меня с войны... А я вот лежу с перебитыми ногами. — И глаза кузнеца стали печальными, лицо потемнело.

— Ну, не горюй, дружок. Ты молодой, выздоровеешь. Заживут твои раны. Еще таким бравым молодцом вернешься.

— Нет, бравым, пожалуй, вовек мне не быть. Вот до войны, верно, силу имел. На кулачках бывало никто меня с ног сбить не мог, такой был здоровый.

— Да ты и сейчас как богатырь! — улыбнулся Артем и подошел к кровати Пимена Базалия. — Ну, батя, рассказывай: приехала жена с дочкой или еще нет?

— Жду... Каждый день их жду. Вот даже письмо домой хочу послать, чтобы не задерживались.

Артем, слушая Пимена, поглядывал в сторону Метелика.

— Вижу среди вас новое пополнение. При мне не было.

— Это Метелик, мой земляк, — пояснил Пимен. — Со вчерашнего дня зачислен сюда на лечение.

— А я вас знаю, — сказал Метелик. — В брянском лесу видел. Я — Метелик... Константин Метелик.

— Вот вы какой! — протянул руку Артем. — Мне о вас рассказывал Яков Македон. А еще раньше сестра писала. Вы были у нее в гостях. Да, я припоминаю, как в брянском лесу вы пели песни офицерам.

— Приказано было, вот и пели. Солдату что прикажут, то он и должен делать.

Артем усмехнулся. Взглянул Метелику в глаза, как будто испытывал его.

— Придет время, когда солдаты будут другими делами заниматься... — сказал он, не поясняя, о каких делах шла речь. И тут же стал расспрашивать Метелика, давно ли он на передовой, много ли раз бывал в боях, когда ранен.

— Спасибо Якову... и сестрице вашей... Это они меня подобрали... спасли мне жизнь. Вовек этого не забуду.

Метелик рассказал все, что с ним случилось.

— Вот сукин сын! — возмущенно воскликнул Пимен. — Бездушная скотина! Для него солдат хуже приблудной собаки. Слышишь, Артем, слышишь, какого землячка имеем? Это не человек — змея! Дверь захлоп-

нул... Раненого оставил на улице умирать... А? Где же правда?

Солдаты заговорили наперебой.

— Для такого не жаль и пули в бою... Во время атаки.

— Известно, не жаль. Одним гадом будет меньше.

— И везде мы, солдаты, терпим от них: и в тылу, и тут, на позициях. Не так честь отдал — офицер тебе в зубы кулаком тычет. Сделал ошибку по службе — бьют. Водки опоздал принести — снова тебя стегают, издеваются, будто ты не человек.

— Солдатское лицо как тот бубен: чем звонче его бьешь, тем сердцу веселее! — злобно заметил кузнец. — Может, от этого битья мы, солдаты, скорее поумнеем.

— Где же правда? — снова взволнованно воскликнул Пимен, и глаза его гневно заблестели, а руки сжались в кулаки.

Артем Черкашин, внимательно слушая солдат, незаметно и сам включился в беседу.

— Врагов у нас с вами много. Самодержавие нас душит, капиталисты душат, помещики душат. Офицерство, вот такое, как Бессалый, тоже пытается душить, руки прикладывает, в кровь разбивает солдатам лица. Все они хотели бы держать нас и весь наш народ в покорности да послушании. Держать в темноте и бесправии, чтоб мы и головы не смели поднять, даже не мечтали о лучшей жизни.

— Правду говоришь, Артем. Прижимают нас со всех сторон, куда ни повернись.

— И так оно выходит, — продолжал Черкашин, — что за трудящегося человека некому и заступиться. Так что же нам делать? Неужели и дальше гнуть голову и терпеть всякие обиды и жить в нужде да мытарствах? Нет, так жить мы не хотим. А если уж за нас некому заступиться, так мы сами должны постоять за себя и за свои права. Разве не так?

— Известно, что так. Придется самим, больше некому, — дружно подтвердили солдаты.

— А я так думаю, что скоро своеволию и господству самодержавному придет конец, — уверенно сказал Артем Черкашин. — С хорошими вестями сегодня я пришел к вам, мои друзья.

Артем заметил, как глаза солдат, обращенные к нему, зажглись любопытством и нетерпением.

— Неужели, Артем, есть слухи о мире? — с надеждой в голосе спросил кто-то.

— На передовой, в окопах, началось братанье. Наши рабочие и крестьяне, одетые в солдатские шинели, не хотят больше убивать немцев и австрийцев — таких же рабочих и крестьян, как мы. Вы понимаете, что это значит? У людей просыпается сознание, они начинают думать, где их настоящие враги...

Неожиданно растворились двери и в палату вошла сестра милосердия.

— Начинается обход главного врача. Посторонних прошу оставить помещение.

— Вот видите, мне уже пора и уходить. Ну что ж, может, кое с кем скоро и встречусь на передовой.

— Опять, значит, в окопы. Бурду хлебать да грязь месить.

— Сейчас морозы. А бурду доведется хлебать. Да нам не привыкать к этому. Будьте здоровы! Кланяйтесь от меня вашим родным. — И Артем, взглянув на Пимена, сказал: — Заговорились мы, батя, и письма я не успел написать твоим домашним.

Пимену двадцать семь лет, но у него большая черная борода, и товарищи шутя называют его «батей». Не дал он ее остричь и здесь, в палате, заручившись разрешением главного врача.

— Привык я к ней, к бороде, — шутливо говорил Пимен. — В госпитале лежать — скучища заест, так хоть рукам найдется работа, бороду теребить.

— И то правда! — подхватил шутку Артем. — Борода у тебя богатая. Такой бородой океан можно прикрыть. Так что ж, Пимен, может, еще успеем? Может, нам сестрица разрешит. Я быстренько... «В первых строках моего письма сообщаю, что я жив, здоров, чего и вам желаю в делах рук ваших...»

— Попрошу посторонних... — снова напомнила сестра, поглядывая на Артема.

— Хорошо, сейчас иду, иду уже, сестрица.

— Я лично против вас ничего не имею, но это приказ главного врача.

— Ты не беспокойся, Артем, я теперь обойдусь как-

нибудь. Знаю: у тебя и своих дел много. А письмо мне напишет Метелик. Он у нас грамотей.

— Это хорошо, — сказал Артем, — что в вашей палате есть такой человек. Вот вы бы, Метелик, и стали понемногу обучать солдат грамоте. Читать бы их научили да хоть немного писать, чтоб сами письмо домой нацарапали. Когда я тут был, учил их, но маловато. Еще надо бы.

— Ну что ж, — сразу согласился Метелик. — Я с радостью. Пока буду лечиться — могу Пимена грамоте научить, могу и других солдат, кто захочет.

Артем с благодарностью пожал руку Метелику.

— Спасибо! Вот за это спасибо тебе! А букварь я достану и вам передам. Бумаги тоже передам. Будем держать связь. Согласен?

— Прошу не задерживаться больше. Обход уже начался, — еще раз напомнила сестра.

Попрощавшись со всеми, Артем вышел из палаты.

Падал снег. Он покрывал крыши домов, голые деревья, растущие под окнами госпиталя, и каждая веточка становилась все нарядней и нарядней в своем зимнем убранстве. А снежинки бесчисленными роями кружились перед окнами, куда-то исчезая, на их место с серого холодного неба появлялись другие и, так же кружась, пропадали за окном.

Метелик вспомнил родной дом, резвого конька, которого он любил запрягать в небольшие санки и, посадив рядом с собой счастливого сына, мчаться рысью по первому снегу. Теперь этого коня уже нет — продали. Землю у Метелика отобрал за долги Лукьян, а жена, как и другие солдатки, работает в швейной мастерской Софьи Изаровой, шьет солдатское белье, получая за работу столько, чтобы лишь не умереть с голоду. Она там терпит нужду, а он тут лежит раненый, и неизвестно, вернется ли когда-нибудь домой. Ранение у него легкое, вылечится, и снова его пошлют на фронт, и, может, в бою погибнет или искалечат так, как искалечило уже многих его земляков, с которыми он вместе ушел на войну.

Взять, к примеру, хотя бы Пимена. Какой здоровый, сильный был человек, а теперь. . .

Метелик поглядел на соседа. Пимен лежал на спине, закрыв глаза, и на белой подушке как-то особенно четко

вырисовывалось его потемневшее лицо с заостренным носом, впалыми щеками, непомерно пышной бородой.

А снег все падал и падал, кружились за окнами снежинки. Их было так много, что глаз не поспевал проследить за каждой из них отдельно. Только ветви кленов и тополей становились такими пушистыми, будто кто-то нарочно обвертывал их толстым слоем ваты. А на подоконнике вырастал, словно на дрожжах, белый сугробик, напоминавший Метелику родной дом, где так же бывало вырастал за ночь на подоконниках снежный косяк — и утром жена сметала его метелкой, чтобы не портились рамы. Чем-то мирным веяло сейчас от этих кружащихся снежинок и спокойных белых ветвей.

«На передовой началось братанье, — вспомнил Метелик приятную весть, и в душе его слабым, неуверенным огоньком засветилась надежда. — А что, не захотят солдаты стрелять друг в друга, и придется генералам объявить мир. И в самом деле, подумать только, что мне плохого сделал австрийский или немецкий рабочий или крестьянин, что я их убиваю? Я тоже, когда попаду на фронт, начну брататься. А таких солдат, как я, найдется много. Пора кончать с войною!» — решил он, вспомнив, как еще во время пребывания в Брянских лагерях солдаты говорили между собой о мире. Но мира до сих пор нет, война продолжается, льется кровь...

«Кончать! Надо скорее кончать эту кровавую бойню... Но как это сделать? С чего начинать? Кто покажет нам дорогу? Кто научит, как надо действовать, чтоб настал наконец долгожданный мир? Я хочу мира! .. Хочу! .. Мне осточертела эта война!»

А за окном кружились пушистые снежинки, равнодушные и холодные, все больше и больше покрывая ветви старых деревьев.

12

К кровати Пимена Базалия подошла сестра милосердия, спросила:

— Вы ждете гостей?

— Приехали? Неужели? — И Пимен, радостно взволнованный, стал приглаживать бороду, застегивать рубаху.

Метелик заметил, что у Базалия дрожали руки и ма-

ленькая костяная пуговица все время выскальзывала, не попадая в петельку.

— Я же говорил, что к рождеству будут.

Все, кто только мог привстать, приподнимались на кроватях, смотрели на счастливца. А он, слушая шутки товарищей, аккуратно подворачивал одеяло, снимал с наволочки пушинки и волновался, как никогда в жизни.

— Ты, Пимен, попроси доктора — пусть вам свой кабинет уступит.

— Зачем кабинет? — возражали другие. — Мы тоже хотим посмотреть на твою женку. Хороша она у тебя?

В коридоре послышались шаги. Горящими, как два угля, глазами Пимен жадно следил за дверью. Вот растворилась дверь и в палату вошла женщина с девочкой. Оробевшие, они нерешительно остановились у порога, всматриваясь в лица солдат.

— Танюша! Поля! Родные мои! — радостно крикнул Пимен.

Этот знакомый голос ободрил их.

— Тато! Тато! — И девочка, оторвавшись от матери, как легкий мотылек, бросилась к отцу. А он, забыв о своем увечье, быстро вскочил с кровати и неожиданно упал на пол.

Девочка, увидев отца без ноги, на секунду остановилась. В детских глазенках вспыхнул испуг. Но это было только мгновение, и тут же холодные с мороза ручонки обняли шею отца.

Раненые взволнованно смотрели на эту встречу. И каждый думал о себе, мысленно представляя свою встречу с женой и детьми. У многих невольно першило в горле, но все они следили теперь за женщиной, почему-то остановившейся у двери.

Но вот Поля направилась к кровати мужа. Бледная, потрясенная, она шла, как во сне, ничего не видя перед собой. Ее состояние, ее испуг понял Пимен, и жгучая боль сжала его сердце. У Поли шевельнулись губы, она что-то хотела сказать, но слово так и замерло на ее устах.

— Поля! Поленька!

Но жена не слышала его тревожного крика. Потеряв сознание, она свалилась на пол. Заплакала девочка. Прибежала сестра, а потом вошли санитары с носилками и унесли Полю. Из палаты вывели испуганную девочку, не разрешив ей остаться с отцом.

Притихли солдаты, свидетели этой неожиданной драмы. Они смотрели на Пимена, искренне сочувствуя ему, и каждый старался его утешить.

— Успокойся, это у нее с перепугу. А тебя теперь домой отпустят... Поживешь еще, дочку будешь растить.

Но Пимен ничего не слышал. Он сидел на своей кровати, не отрывая глаз от раскрытой двери, чутко прислушиваясь к каждому звуку. И когда до его слуха долетел слабый женский стон, а затем рыдание, он побледнел, стал требовать костыли.

Вошла сестра милосердия, начала успокаивать Пимена, заверив его, что с женой все благополучно, но ей не разрешили с ним больше видеться — таков приказ главного врача.

Сестра ушла, а Пимен, обращаясь за сочувствием к товарищам, жаловался:

— Вы слышали? Не разрешают... С женой не разрешают встретиться... дочь увели, — и, упав на подушку, глухо зарыдал.

В палате все притихли, слушая солдатский плач. Кто-то из дальнего угла сказал невпопад:

— Что ж молодице делать с таким калекой? Ни землю пахать, ни работать в хозяйстве — нигде не приспособишь его теперь.

На солдата цыкнули, и он умолк, поняв свою ошибку.

Наступила ночь. Метелик не спал. Все происшедшее сильно его расстроило. Он наблюдал за Пименом, — тот тоже не спал, хотя глаза его были закрыты. Время от времени слышались его тяжелые вздохи. Видно, невеселые мысли бродили у него в голове после долгожданной и такой необычайной встречи. Метелик сочувствовал земляку, близко принимая к сердцу его горе, — но как он мог успокоить Пимена? Напомнить ему о жене — значит еще больше растравить душевную рану. Нет, уж лучше помолчать.

Несколько дней после этого Пимен ни с кем не заговаривал. А потом вдруг захотел побриться.

— Неужели тебе не жаль бороды? — спрашивали соседи. — Ведь это не просто борода, а отрада, к тому же солидность придает. Какой же ты будешь «батя» без бороды?

Товарищи весело шутили, стараясь отвлечь Пимена

от тяжелых дум. Сосед, тоже безногий солдат, посматривая на Пимена бойкими, веселыми глазами, говорил:

— Ничего, дружище, не унывай. Еще и нам засветит солнце. Может, колясочки выдадут, и будем мы сами себя катать. А насчет работы не сомневайся, работу мы для себя найдем. Я перламутровые пуговицы научу тебя делать из речных ракушек, откроем ларек — Пимен Базалий и К°, да и заживем! А бритву, пожалуй, дам, оно и лучше без бороды, сразу помолодеешь.

— Не тронь, — кричали другие, — враз всю силу потеряешь, авторитет рухнет.

— Да разве подымется у него рука такую роскошь уничтожить? Растил, берег — и вдруг чик! Где это видано?

Безногий солдат уже хотел было услужливо протянуть бритву, но какая-то сила остановила его в последнюю минуту.

Взглянув Пимену в глаза, он скорее почувствовал, чем понял, страшное намерение, и побледнел

— Ты это что? — спросил он еле слышно. — Что надумал?

Пимен с ужасом посмотрел на бритву, на безногого солдата.

— Убери... Не надо! — и, размашисто перекрестившись, лег на подушку, закрыл глаза.

13

Сосновый бор.

На поляне стоит двуколка. Горят свечи. Тихо падают снежинки на непокрытые головы солдат.

Завтра рождество. Полковой священник приехал на передовую править богослужение. Гнусавый тенорок его напоминал о родном доме, где каждый из солдат встречал праздник со своей семьей.

Кто знает, что будет завтра? В немецких окопах тишина, спокойствие, но снова может начаться артиллерийская подготовка и вслед за ней наступление. Колеблется пламя свечей. На заснеженную поляну легли длинные солдатские тени. За поляной густая стена хвойного леса. Там во тьме несут охрану ночные дозоры.

В строю, недалеко от двуколки, стоят Яков Македон

и Артем Черкашин. Немного левее — Метелик. Его рана быстро зажила, и главный врач, сняв повязку, сказал:

— Здоров.

В медицинской карточке Константина Метелика было отмечено: «Годен». И его снова отправили на передовую. Здесь он встретился с Артемом и Яковом.

Метелик внимательно, но незаметно наблюдал за большевиком, присланным на фронт для работы. О том, что Артем Черкашин подпольщик, он узнал от Пимена во время одной из ночных задушевных бесед.

Артем, как и все солдаты, стоит без шапки. На стриженую голову и на шинель ложатся снежинки. Он молится, как все, хотя Пимен по секрету сказал про него: «В бога не верит, смеется над попами». Это сильно заинтересовало Метелика. Ему захотелось поближе узнать Артема.

В переднем ряду — Кузьма Сукачев и доброволец Терень. У парня замерзли уши, и он красной от холода рукой старательно растирает их. Там же стоит Савелий с каким-то окаменевшим, безучастным лицом, держа в руках солдатскую шапку.

На фронте все чаще и чаще солдаты говорили о мире. И многие из тех, кто с надеждой ждал его, уже давно лежат в могиле или же искалеченные вернулись к своим семьям.

Скоро ли наступит долгожданный мир, Метелик не знал, но, может быть, это знает Артем Черкашин. Вот расспросить бы об этом его хорошенько. С интересом Метелик продолжал наблюдать. Вот откуда-то появилась Нина, стала рядом с братом. Метелику очень хотелось подойти к ней, дружески пожать руку, поблагодарить за спасение. Ведь после той памятной ночи он видит ее впервые. Но как подойти к ней во время богослужения?

Метелик, слушая молитву, поймал себя на кощунственной мысли о попе, гнусавый голосок которого действовал на него усыпляюще, вызывая нехорошее чувство.

«Ну, вот проводит он богослужение... А вдруг немцы ударят из орудий... Как же этот поп: будет улепетывать или нет? Наверно, рясу бы поднял...»

Ужаснувшись, что он мог так подумать о Христовом пастыре и этим невольно оскорбил бога, Метелик стал неистово креститься, замаливая в душе свой невольный грех.

На двуколке догорели свечи. Никто не заменил их

другими. Священник, окончив богослужение, обратился к солдатам с проповедью. Говорил о завтрашнем большом празднике — рождестве Христовом, о том, что не все воины смогут праздновать этот день. Многие солдаты останутся в окопах на своих боевых постах, но пусть не ропщут и не гневят бога. Только он один, всемогущий и всевидящий, может уберечь их, рабов своих, от смерти. Наступит день, придет долгожданный мир, возвратятся воины в свои селения, обнимут родных и близких.

Но надо приблизить этот день победы. Надо разгромить врага, который посягнул на наши исконные земли, чтобы онемечить русских людей, обратить их в вечное рабство.

— Но так не будет, как хотят смертельные враги. Вы, воины земли российской, вы, храбрые русские солдаты, не дадите топтать наши нивы, грабить селения, опустошать родной край. Все как один вы своей жизнью и своей кровью будете самоотверженно отстаивать отечество, веру Христову, царя православного.

Артем, прищурившись, смотрел на попа, чуть улыбаясь. Только опытный глаз мог заметить в этой улыбке скрытую насмешку и презрение к попу, призывавшему солдат к терпению, к готовности в любую минуту отдать свою жизнь за царя.

Догорела последняя свеча. Кто-то из солдат принес и поставил на двуколке фонарик. Поп пел молитву, приглашая и солдат присоединиться к пению:

Рождество твое, Христе боже наш,
Воссия мирови свет разума...

Из лесу показались сани, запряженные парой рысаков. Сани быстро приближались к солдатам. Не доезжая метров тридцати до двуколки, лошади остановились. С саней ловко соскочил прапорщик Бессалый. В добротной шубе, в белых фетровых валенках, повязанная теплым платком, поднялась женщина. Опираясь на руку прапорщика, она сошла с саней.

Всматриваясь, Яков узнал Софью Изарову. Он слышал, что она получила от интендантства новые заказы. Слышал также и о встрече ее служанки Поли со своим мужем. Знал даже, что Софья остановилась в прифронтовом селе, но никогда не предполагал, что она решится приехать сюда, в полк, на передовые позиции.

Софья Изарова, приближаясь к двуколке, пристально всматривалась в солдатские лица, видно кого-то разыскивая. Увидев Якова, она остановилась.

Последний звук молитвы замер в лесной чаще. Послышалась команда: «Вольно!» Софья подошла к Якову Македону, поздоровалась с ним и тут же заметила устремленный на нее женский любопытный взгляд.

— Знакомьтесь, Софья Ивановна. Это мои лучшие друзья. Артем Черкашин. Его сестра Нина.

Софья, еще раз взглянув на девушку, почувствовала в ней соперницу, и радость встречи была омрачена. Скрывая свое недовольство и мило улыбаясь, она смотрела в открытые, лучистые глаза девушки, а неотвязная беспокойная мысль, как огонь, жгла ей душу: «Любит ли ее Яков или попрежнему любит меня?» Надо было что-то сказать, прервать неловкое молчание.

— Вы такая молодая и такая храбрая. Я бы, кажется, и дня здесь не выдержала. Я большая трусиха. Особенно боюсь стрельбы.

Говоря это, Софья следила за Яковом. Каждый раз, как только взгляд его останавливался на девушке, лицо его вдруг светлело улыбкой.

«Яков ее любит», — решила Софья, и сердце ее сжалось от обиды, боли и жгучей ненависти к молодой, хорошенькой сестре милосердия, которая, видно, ничего не знала о ее прежних отношениях с Яковом.

Только ради него Софья не побоялась и, добившись разрешения полковника, приехала сюда, на передовую позицию, чтобы взять с собой Якова в село, где остановилась она, и там обо всем поговорить с ним наедине.

— Яков, мы встретимся завтра, — сказала Нина, задержав его руку дольше, чем это было нужно. И это не ускользнуло от внимания Софьи. Но особенно поразили ее улыбка и глаза девушки. Казалось, Нина договаривалась с ним взглядом, а Софья, при всем желании, не могла разгадать тайного смысла их сговора, и это ее бесило, обжигало ей сердце, вызывая в ней ревность.

Следом за сестрой ушел и Артем, холодно попрощавшись с богачкой.

А Софья, пристально взглянув на Якова, сказала:

— Поедем в село... хочу с тобой поговорить. Отпуск тебе дали... Полковник разрешил...

Заметив на лице Якова тень недовольства, она взяла его за руку, и в глазах ее была мольба.

— Поедем... Мне нужно... Очень хочу поговорить с тобой... Ты еще не знаешь, какую новость я привезла тебе...

Ее обступили солдаты-земляки, стали расспрашивать о своих семьях, о женах, большинство которых работало сейчас в ее мастерских. Солдаты просили передать домой письма, но слободская богачка, ссылаясь на свои неотложные дела на фронте и на то, что она домой намерена возвратиться не раньше чем недели через две, а то, пожалуй, и позднее, отказалась выполнить их просьбу.

Софье скоро надоели эти расспросы, и она, захватив с собой Якова, поспешно уехала. Жила она в небольшой, но довольно уютной и светлой комнатке, а рядом, в совсем крохотной, поселилась Поля со своей дочкой.

Для Софьи они были сейчас обузой. Она очень жалела, что взяла их с собой. Поля теперь, после встречи с Пименом, целыми днями плачет. Все у нее валится из рук, все она забывает, а это только раздражает Софью. Завтра она отошлет их в слободу.

Кони остановились у ворот. Белые сугробы замели почти до окон небольшую опрятную хатку. Крепкий мороз, словно художник, разрисовал стекла дивными узорами.

— Вот здесь я и живу, — сказала Софья, приглашая Якова в хату.

Крепкий мороз разрумянил ее щеки, посеребрил прядь, выбившуюся из-под белого шерстяного платка. Глаза Софьи сверкали от радости. Казалось, она забыла обо всем на свете и сейчас для нее не было большего счастья, чем эта встреча. Яков с ней и она может сесть рядом с ним, взять его сильную руку, смотреть на него, слышать родной голос, любоваться милым.

«Никому... никому его не отдам! Мой он... мой!»

Мечты о недалеком будущем приятным волнением наполняли грудь. Она голубила Якова глазами, и взгляд ее говорил о большой тоске по нем, о верности и крепкой любви к нему, единственному, самому дорогому для нее человеку.

«Неужели ты не видишь, как я страдаю по тебе, как искала этой встречи?»

Он видел. Видел и понимал все, что творилось сейчас в ее душе, но был подчеркнуто сдержан и осторожен.

«Я хорошо тебя знаю. Я возьму тебя в руки. Ведь по глазам вижу — отвык ты от меня, другую встретил, но любишь не ее, а меня... И это я знаю, сердцем чувствую... ты мой... и будешь моим навсегда...»

Софья не стала звать к себе Полю, а сама приготовила Якову закуску, поставила на стол бутылку лучшего вина; угощая дорогого гостя, заботливо и внимательно следила, чтобы он кушал. Такая заботливость, нежность удивили Якова. Он не забыл еще встречи с ней в лесу. Крепкое вино приятной теплотой разливалось по всему телу. Он ждал, что вот сейчас она начнет рассказывать ему о той новости, ради которой он приехал сюда. Но Софья, взяв его за руку, молча страстным взглядом смотрела ему в лицо. Он почувствовал неловкость и даже покраснел. На ней было темновишневое платье, то самое, которое он хорошо помнил и которое ему очень нравилось.

Заметив это, Софья улыбнулась.

— Для тебя его надела... Знаю — любишь. — Она положила ему на плечи свои теплые руки и, не сводя с него глаз, говорила: — Ты, Яков, прости меня за ту встречу. Обидела я тебя тогда. И сама не знаю, как это случилось... Но я потом искупила эту вину... тоской по тебе... Яков! Милый... Как мне хорошо с тобой!

Она прижалась к нему. Он вдыхал знакомый приятный запах ее волос, чувствовал близость ее жадного тела и не понимал: «Зачем все это?.. Неужели, имея такие богатства, она до сих пор не нашла себе мужа?.. Что она надумала? Чего хочет от меня?»

— А когда ты уехал, я ходила как потерянная. Что ни делаю, куда ни иду — все стоишь ты перед глазами. Кто-нибудь на улице заиграет на гармони — лечу к окну. Все кажется — твоя гармонь, тебя увижу... Я все твои письма читаю, что ты домой присылаешь. Ведь они у меня хранятся. Хочешь, покажу? — Она взяла сумочку, вынула пачку писем. — Я их выпрашивала у твоего батьки, и он давал, потому что обещала ему привезти с фронта... — Она подняла голову, влюбленными глазами посмотрела на него, решительно сказала: — Я обещала ему привезти с фронта тебя, Яшенька.

Если бы блеснула молния или в морозном небе раздались громовые раскаты, он, кажется, меньше был бы уди-

влен, чем сейчас, услышав от нее эту непонятную и ненужную ему новость. А Софья, ничего не объясняя больше, обняла его.

— Не хочу, Яков, чтобы эти глаза были мертвыми... Не хочу! Не дам! ..

Она целовала его в губы, в лоб, в щеки. Яков хотел ей что-то сказать, а она, охваченная каким-то внутренним порывом, страстно убеждала его:

— За сотни верст я спешила к тебе, чтобы поскорее увидеть, забрать тебя отсюда, из окопов. У меня есть деньги, много денег, Яков, а настоящей жизни я не знаю. В разлуке с тобой поняла — люблю тебя... Я молода. Ты тоже молод, умен, красив. Хочу иметь такого мужа. И я знаю: если ты будешь со мной, мы при теперешней войне наживем капитал вдвое, втрое больше. Я заключила договор на поставку фуража для кавалерии... Знаешь, сколько тысяч можно заработать на этом деле! Мне нужен человек, у которого бы работа спорилась в руках и на плечах была смекалистая голова. В военное время можно не только себя, но и внуков своих обеспечить. И я решила взять тебя с передовых позиций в слободу.

— Вы, Софья Ивановна, шутите или смеетесь надо мной?

— Милый мой, хороший мой! Кто знает, может быть, я забыть тебя не могу после той встречи в лесу.

— Интересно все-таки: как же вы заберете меня с фронта? Я не имею тяжелого ранения, не калека, здоров...

Она тихонько засмеялась, обняла его, поцеловала.

— Не догадался еще?

— Догадался.

— Ну вот и хорошо. Выкуплю тебя. Я уже почти договорилась. Полковник Бабенко любит деньги, так же как и все мы, грешные... Он обещал все устроить. А ты, я вижу, не рад. — И лицо ее недовольно нахмурилось. — Я должна заплатить за тебя немалый куш.

— И напрасно. Все равно из этого ничего не выйдет.

— Ты думаешь, я поскуплюсь? Для тебя мне, Яков, ничего не жаль. Любые деньги дам, а вырву тебя из этого пекла, где ты можешь погибнуть. Я хочу, чтобы ты жил... Для меня жил.

— Я, Софья Ивановна, с фронта никуда не уеду. Не могу...

В глазах Софьи застыло удивление, даже испуг.

— Ты... не хочешь? Яков, что случилось? — И она вновь обняла его. — Милый мой, не огорчай меня. Ведь знаю: ты меня любишь! Да, да, любишь. Я это чувствую. Ты будешь моим мужем. Я так истосковалась по тебе...

Она снова прижалась к его груди, слушая, как бьется его сердце, но он не обнял ее. Он был холоден, молчалив, и эта холодность встревожила Софью.

— Я увезу тебя отсюда, окружу такой роскошью, какой ты никогда не знал. Тебе со мной будет хорошо. Ты никогда об этом не пожалеешь.

— Никуда я не поеду, Софья Ивановна, — сурово и решительно сказал Яков.

Его особенно поразили слова: «Мы при теперешней войне будем иметь барышей вдвое, втрое больше». Она предлагает ему быть не только мужем, но и соучастником в ее грабительском деле. Но ведь он, Яков, уже не тот простоватый деревенский парень, каким уходил на войну. Фронт многое раскрыл перед ним, а задушевные беседы с Артемом Черкашиным научили Якова по-новому смотреть на жизнь и на людей, понимать то, чего не понимал он раньше.

Новое чувство, которого он не испытывал раньше, вызывало в нем сейчас не только отчуждение, но и неприязнь к Софье. Желая прекратить неприятный разговор, Яков еще более решительно заявил:

— С фронта я никуда не уеду!

— Не поедешь? — отшатнувшись от него, тихо спросила она, не веря тому, что услышала сейчас. — Я уже дала задаток. Яков, зачем ты мучишь меня? Столько времени я тебя не видела, я жила мыслью о встрече с тобой, не помня себя, спешила к фронту, а ты такой недобрый ко мне.

— Вы, Софья Ивановна, приехали подписывать новые договоры на поставку фуража. Вы сами мне недавно говорили об этом.

— Значит, ты не веришь мне? .. Не веришь, что я попрежнему люблю только тебя... тебя одного...

Яков молчал. В прищуренных глазах Софьи вспыхнули злые огоньки.

— Я теперь все понимаю. Ты не хочешь расставаться

с милосердной сестрой. Угадала? — И она снова порывисто обняла его плечи. — Ты любишь Нину Черкашину? Скажи правду — любишь?

В дверь кто-то постучал. Софья неохотно открыла. Вошли оба племянника — Александры Бессаловы.

Александр Трофимович очень был удивлен, встретив у тетки Якова Македона. Александр Лукьянович — ефрейтор — отнесся к этому совершенно равнодушно и, сняв перчатку, спокойно начал обивать снег со своей шинели.

— Поднялась такая пурга — ничего не видно. Глаза слепит, — сказал Лукьянов сын, а его двоюродный брат, недовольно сдвинув брови, приказал:

— Завтра, Македон, поедешь в лес за дровами. В офицерских блиндажах собачий холод.

— Слушаюсь, ваше благородие, — ответил Яков по всем правилам военной муштры и, сняв со стены шинель и серую солдатскую шапку с кокардой, быстро оделся и вышел.

Софья его не задерживала.

14

На второй день рождества солдатам выдали по кусочку колбасы и по порции белого хлеба. Сели разговляться, шутили, вспоминая родной дом, семью. В этих шутках чувствовались тоска и боль.

Как ни плохо жилось многим из них до войны, но в такой праздник было что выпить и было чем закусить. Гуляют у себя дома, а потом едут к родственникам, и там есть чем гостей встречать. А после вечеринки хозяин запряжет доброго коня, разместятся хмельные гости на санях-розвальнях, и на улицах далеко за полночь слышатся песни, крики, смех. И едут и идут по заснеженным дорогам веселые люди, хоть за эту гульбу на взятые в долг деньги, может быть, не одному из них придется отрабатывать зажиточным крестьянам.

— Хоть бы денечек побывать в слободе, хоть часок! — сказал Метелик, ни к кому не обращаясь.

Заплесневелая колбаса, сухая черствая булка. Молча грызут ее солдаты. Загрустил Кузьма Сукачев. Сунул рождественский свой паек в карман, даже не попробовав.

— Не горюй, дружище, — обратился к нему

Савелий, — может, и нам придется погибать. Пимен Базалий уже завоевал костыли, авось завоюем и мы что-нибудь. Слыхал, Кузьма, говорят, будто скоро будет мир?

— Эх, Савелий, ты еще в прошлом году утешал и меня и себя надеждой на мир, а мир, видать, наступит тогда, когда нас с тобой уж не будет на свете.

— А я от деда Михея письмо получил, — сказал Терень; все посмотрели на него. — Зовет меня дедушка к себе. «Ты, говорит, еще мал для войны. Тебе бы дома сидеть. Приезжай... Соскучился по тебе».

— Правду говорит дедушка Михей. Пусть уж мы здесь мучимся, нам иначе никак нельзя. А зачем тебе терпеть и холод и всякие невзгоды?

— Ему все равно, где быть, здесь или дома. Такая судьба у Тереня. Ни отца, ни матери, а дед — старый. Он сам ждет, кто бы ему кусок хлеба принес.

Терень молча всех слушал, а потом сказал:

— Я очень по деду соскучился.

В землянку вошел прапорщик Усиков. Сунул Кузьме Сукачеву письмо, поздравил всех с праздником, а потом приказал солдатам:

— Вы, Сукачев и Савелий, пообедайте — и на кухню, картофель чистить. А ты, — сказал он низенькому солдату, пытавшемуся спрятаться за спину своего соседа, — ты сегодня пойдешь в караул. А ты, Метелик, в соседнюю землянку пойди, там с Македоном и другими солдатами, так сказать, поедете в лес за дровами.

Только Усиков вышел, сразу зашумели солдаты:

— Видали? Сам принес солдату письмо. Они, офицеры, на фронте тоже поддабриваются. Знают: в атаку пойдем — свои же солдаты убьют.

— Кому праздник, а кому... картошку чистить.

— Праздничек, что уж там говорить, — вздохнул тот, кому выпало сегодня заступать в караул. — В этот день бывало я дома сидел на теплой лежанке да семечки грыз или к родичам в гости ходил, водку пить, и никто меня не тащил на такое дело, что душу мне выворачивает.

— Разговелись, братцы, пора и за работу приниматься, — сказал Савелий, выбирая крошки из бороды. — Кому, может, и грех в такой праздник работать, а нам бог простит. Что тебе, Кузьма, из дому пишут?

Кузьма сидел у маленького оконца, почему-то не замерзшего, и затуманенными глазами смотрел на вершины



сосен, запушенных снегом и колючим инеем. Обняв руками колено, он легонько покачивался, молчаливый и глухой ко всему.

— На горячие пироги приглашают или на колбасы? Что ты, друг, загрустил? А? — И Савелий положил свою тяжелую руку на его плечо.

Кузьма вздрогнул, перестал покачиваться, протянул письмо.

— Не силен я пока в грамоте, — сказал Савелий. — Метелика попросим.

В землянке стало тихо. Солдаты повернулись к Метелику.

— «Извещаем тебя, Кузьма, что в понедельник на рассвете помер наш родной сын Сереженька. Заняла я у Лукьяна пять рублей деньгами и досок на гроб...»

— В школе был первым учеником, — дрогнувшим голосом сказал Кузьма, затих и отвернулся.

— Вот бы жалованье нам платили, можно бы и складчину устроить да помочь твоей жене хоть малость. А так — чем поможешь, коли положено солдату в месяц семьдесят пять копеек? Не хватает даже на марки и бумагу.

— Вчера наши солдаты были в городе. Двадцать пять тысяч войска пригнали на наш фронт. Морозище вон какой, а они в открытом поле ночевали: ополченцы, казаки и артиллерия.

— Слышал я, читали листовку, как в одном полку на передовой братались солдаты. Русские с германцами стояли вот как мы с тобой. Наши давали им хлеб — у них нет хлеба, — а они нашим сигары, перочинные ножики, бритвы.

Солдаты, слушая эту новость, как будто забыли о горе Кузьмы. Ведь столько видели они смертей, столько слышали таких писем, что это уже почти не волновало солдат. Все горячо обсуждали небывалую весть о братании в окопах.

— Вот поломайте голову: мы не хотим проливать кровь, и они не хотят, а война идет. Подумать только: третий год в окопах, а мира все нет.

В землянку снова вошел прапорщик Усиков. Разговор оборвался. Назначенные на работу солдаты надели свои шинелишки и шапки. Следом за ними удалился и Усиков. Остался сидеть только Кузьма Сукачев. К нему подошел Савелий.

— Вставай, Кузьма, вставай, пойдем на кухню картошку чистить.

Кузьма медленно поднял отяжелевшую голову, непонимающе посмотрел на друга, тихо ответил:

— Не пойду! Никуда не пойду!

Этого обычно тихого солдата сейчас нельзя было узнать. Глаза воспаленные, руки дрожат... Нервно подергиваются сухие губы.

— Плавать его учил... рыбу с ним вместе ловили. Смышленый мальчик рос... и нет... Никогда больше не увижу. Я тут пропадаю, они там... с голоду. Зачем бросили меня в окопы? А? Зачем? Вот я тоже начну теперь... брататься... Я тоже не хочу воевать. Не могу больше... Сил моих нет!

— Подожди, Кузьма, всему свой черед. И спешить в таком деле не следует. Надо обмозговать все хорошенько, что к чему... Сам знаешь: семь раз отмерь, раз отрежь. А ты сплеча рубишь. Так, человек, можно и под пулю себя поставить. Того и гляди расстреляют как изменника царю-батюшке, вере Христовой, отечеству. Язык свой пока на привязи держи. А сейчас лучше пойдем-ка приказ выполнять. — И Савелий силком увел Кузьму на кухню.

Не успел Метелик подойти к соседней землянке, как навстречу ему вышла группа солдат во главе с Яковом Македоном и Черкашиным.

Метелик обрадовался. Вот и будет возможность ближе познакомиться с человеком, в поведении которого было много такого, что удивляло и одновременно притягивало к нему. Вспомнились слова Пимена, сказанные о Черкашине в госпитальной палате. Вчера Метелик заметил, как Артем холодно попрощался с Софьей-богачкой, перед которой в слободе даже сам господин пристав всегда первым при встрече снимал шапку.

Солдаты разместились на двух санях. Заскрипел под полозьями снег.

Лес был недалеко. Стояли неподвижно высокие сосны, запушенные инеем. Густая хвойная стена, начинавшаяся в районе русских передовых позиций, другим концом далеко уходила вглубь территории, занятой врагом. Метелику казалось, что он у себя дома вместе со своими соседями едет в лес за хворостом, который охотно продавала Софья Изарова крестьянам после осенней прочистки

Какое-то приятное спокойствие овладело им, не донимал мороз, и, может быть, поэтому ни с кем не хотелось разговаривать.

— Ату, ату! Фюи! . . — раздались с передних саней крики.

Загрузая в глубоком снегу, к лесу удирал что было сил вспугнутый заяц. Метелик, по охотничьей привычке, схватил винтовку, но его во-время остановил Яков Македон.

— Не стреляй, Костя, нельзя, подумают — тревога. — Метелик, не выпуская из рук винтовки, следил за перепуганным зайцем, пока тот не скрылся в молодом ельнике.

— Сколько я их перебил. . . И на жаркое хорош, и суп сваришь — есть что покушать. Вкусная вещь зайчатина.

— Ишь ты чего захотел? Зайчатины, — сказал молчавший до сих пор щупленький, слабосильный с виду солдатик в старой шинелишке и натянутой почти на глаза шапке. У него было веснушчатое худое лицо и рыжая жиденькая бороденка.

Метелик ждал, что солдатик еще что-нибудь скажет, но тот умолк и, дрожа всем телом, начал укрывать сапоги ячменной соломой.

— Леса здесь могучие, много всякого зверья водится. Наши солдаты, которые в секретах, стало быть, стоят, еще осенью не раз видели волков и волчиц с выводками. Дикие козы и кабаны есть, а зайцев тьма-тьмущая. Некому сейчас охотиться за ними, вот и развелось их тут. . . всякого зверя и всяческой дичи.

— Зверь в этих лесах есть, — согласился с ним другой солдат и, выбрав удобное место у березы, начал чесаться спиной о ствол.

— Что, домашняя кавалерия беспокоит?

— Беспокоит, — улыбнулся добродушно солдат. — Раньше с других снимал, а вот теперь и у самого завелись. Эх, баньку бы с паром да с березовым веничком! — Солдат даже глаза зажмурил от удовольствия. — Лежишь на полочке и этак веничком, веничком себя похлопываешь. Красота!

— Будет тебе и без того сейчас хорошая банька.

— Что ж, начнем здесь рубить или пойдем дальше? — спросил Яков, глядя Черкашину в глаза.

[illegible]т, взяв в руки топор, ответил:

— Пойдемте дальше от дороги, там, кажется, лес добротней.

Солдатские сапоги ныряли в снег. Последним шел солдат с веснушчатым лицом. Сначала он бормотал что-то невнятное, выражая свое недовольство, но скоро устал и замолк, еле поспевая за товарищами. Ему, низенькому, тщедушному, трудно было попадать в их глубокие следы. Он оступался, падал, начинал скулить:

— Да куда он нас ведет? Разве не все равно, где рубить деревья?

Ему никто не ответил. Все остановились там, где остановился Артем Черкашин.

— Вот тут и начнем, — сказал Артем, подходя к старой развесистой березе, ветки которой были густо покрыты инеем. Оглядев кряжистый ствол, он сказал: — Какие столы можно было бы из нее мастерить!

— Можно и столы, да только я так думаю, — ответил Яков Македон, — что из такой березы получились бы хорошие шкафы. Распилить на доски, высушить, а потом рубанок в руки и...

— Да она и на оконные рамы пошла бы.

— На рамы можно и сосну рубить, а такое дерево только для шкафов, для красивых, добротных, — уверял Яков, и Артем, посматривая на сильные и умелые руки столяра, вполне разделял его взгляд.

— Вижу, Яков, соскучился ты по работе.

— Правду говоришь, соскучился. Эх, с какой бы охотой поработал я за столярным верстаком!

— А я бы на токарном станочке... Ну, да не время нам сейчас про это думать. Нужно дрова заготовлять для господ офицеров, приказ выполнять. — И Артем подошел к березе, разгреб сапогом возле ствола снег, поплевал на ладони и, высоко подняв над головой топор, с размаху ударил им по комлю.

Береза, вздрогнув, сыпанула инеем, как росой. Отлетев от звенящего ствола, утонула в пушистом снегу первая щепка.

— Раздолье. Сколько хочешь руби — и никаких тебе ни объездчиков, ни лесников. А слыхал, Яков, у Кузьмы Сукачева сынок помер. Письмо из дому получил.

— Сережа?

— Сережа.

— Жаль. Знал я его, бедовый паренек рос, шустрый.

— Нет уже... Похоронили мальчонку.

На снег сыпались желтоватые опилки, такие же пахучие, как и щепки. Эта поездка в лес пришлась по сердцу солдатам. Умелые руки истосковались по работе. Работа отвлекала от тяжелых мыслей о войне и напоминала о прошлых днях их мирной трудовой жизни. Вот почему сейчас так споро звенели пилы, стучали топоры; с треском и шумом, поднимая около себя настоящую метель, падали заиндевелые деревья.

— Может, хватит? — сказал кто-то из солдат. — Свалили столько, что за день и перевезти не управимся.

— Объявляется перекур, — шутя сказал Яков и, выбрав толстое, еще не распиленное на части дерево, сел на него.

Закурили почти все. Солдат со вздернутым носом и бойкими глазами, затягиваясь махорочным дымом, спросил:

— Правду гуторят солдаты или брешут, будто в окопах опять братались русские с немцами? Наверно, брехня все это?

— Братание было в ночь под рождество, — уверенно сказал Черкашин.

— Кому не осточертело воевать! — заявил Метелик, посматривая на Артема. — Давно собираюсь у вас спросить. Вот я, к примеру, не раз думал: воин я, за отечество воюю, за царя и веру, крест целовал, присягу принимал, а когда был ранен — в дом не пустил меня офицер. Остался я, как собака, на улице, под дождем... Пропал бы наверняка, если б не встретились мне Яков да Нина. Вот вы и поймите, что в моей душе осталось к этому офицеру. А разве он один такой? — Метелик передохнул и уже более тихим, спокойным голосом продолжал: — Мы тут люди свои, солдаты. Знаем друг друга, можем говорить откровенно. Ночью уснуть не могу. Все мне осточертело: и окопы, и нары, и моя солдатская жизнь. Никаких перемен. Третий год все одно и то же.

— Неправда, перемены есть, — возразил Яков Македон, поглядывая на Артема: я, дескать, поясню ему. — Вот ты послушай, Метелик. Это же не где-нибудь там происходило братание, а на нашем фронте, в одном из полков. Четыре раза подают приказ идти в наступление, а солдаты не идут, да еще требуют: «Давай харч! Одежду, сапоги давайте, а то совсем бросим воевать или все

сдадимся в плен». Сам командир дивизии приезжал, приказал разоружить полк. А солдаты оружие не отдали. Другие полки поддержали их. Да как и не бастовать, когда ходят все чуть ли не босые, голодные... А ты говоришь — перемен нет. Вот тебе, Метелик, и перемены. А задумывался ли ты, кто все это делает? Кто руководит солдатами?

— Они? — взглянул Метелик в сторону Артема, который спокойно скручивал цыгарку.

— Друзья наши — большевиками называются... Здесь их работа... Вот тебе, Метелик, еще одна перемена. Солдату теперь есть опора, советники у него хорошие. Они ведут всех нас за собой, и солдаты охотно идут, потому как силу чувствуют. Вот почему четыре раза была команда и четыре раза отбой... Тут есть над чем призадуматься. А офицерье наше радо стараться. Ему бы на грудь отличия да кресты. Разве им жаль нашего брата — солдата? Я же сам слышал, как полковник Бабенко поучал офицеров: «Вы, говорит, господа офицеры, берегите себя, а солдат, этого навоза, у нас хватит на три войны».

— Ишь ты, как повернул! — отозвался солдат, выбравший для почесывания своей спины уже другое дерево. — Немало нашей кровушки пролито, немало детей сиротами оставлено. Собрать бы эту пролитую кровь солдатскую — реки бы текли по земле... Кровавые реки.

— Бежать надо с фронта, — сказал третий солдат. — Лучше быть дезертиром, чем вот так жить, как мы живем..

— А тебя полевой жандарм подстрелит.

— Из нашей роты десять человек убежало, а поймали только одного.

Вдруг солдатик с веснушчатым лицом, все время молчавший, вскрикнул резким, неприятным голосом, причитая, как над покойником:

— Лучше бы на свет меня мать не родила! Лучше бы маленьким в корыте утопила, чтобы не мучиться мне так, не страдать. Кому нужна эта война?

Он так же неожиданно затих, как и начал. Потом взял горсть снега, стал растирать его в своих маленьких, почти детских руках. Снег таял, падая с его пальцев грязноватыми каплями. Руки краснели.

— Спрашиваешь, кому нужна эта война? — И Артем, не спеша прикурив цыгарку, поглядел на низенького солдата и ответил: — Самодержавию нужна, буржуазии да

капиталистам нужна. В таких делах они, брат, первые зачинатели, действуют нахально и дружно. Взять, к примеру, капиталистов, имеющих в городе большие заводы и фабрики, на которых работают тысячи рабочих. Изготовили они столько разных товаров, что их уже никто не покупает. Что с этими товарами делать? Куда их сбыть? Закрывать фабрики, заводы? Капиталисты от этого будут иметь убытки, а на убытки они не согласны, потому как у них волчья натура и волчья жадность. Вот тогда они, как хищники, и начинают объединяться меж собою, чтобы захватить новые рынки, новые земли и еще больше разбогатеть. А новые рынки или земли голыми руками не возьмешь. Ведь там есть свои капиталисты-хищники, которые ничего не уступят. Что делать? Добром не хотят, надо идти на них войной, силой отнять... Капиталисты одной или нескольких стран договариваются меж собой воевать против других капиталистов, а их правительства объявляют войну. А кто первым идет на войну? Идет рабочий. Идет крестьянин. Кровь их льется реками, а капиталисты да буржуазия наживаются на военных заказах, сидят в тылу, гуляют, пьют да подсчитывают прибыли... Вот кому нужна война. Понимаешь?

— Как же это? — удивленно переспросил солдат. — Выходит, что я воюю, проливаю свою кровь, а на моей крови наживаются всякие богатеи.

— Вот, вот это самое и выходит — на войне они греют руки, а мы, солдаты, свои головы должны подставлять под пули.

— Хитро придумали! А мы тоже будем умными. Вот рассказывал Яков про полк, который отказался наступать, так мы и сделаем. Ну, а царь... он-то знает про все?

— Чего же не знает? Ясное дело, знает. Да ведь вся штука здесь в том, что царь-то наш — самый большой капиталист и самый жестокий палач в Российской империи.

Солдаты боязливо озирались по сторонам, однако с жадным любопытством продолжали слушать Артема. Ведь так еще никто и никогда не говорил с ними. Надо иметь большую смелость, чтобы обозвать царя палачом. Дознается начальство, Артема немедленно арестуют и могут осудить полевым судом и, чего доброго, приговорят к расстрелу, как изменника родины, а могут выслать в далекую Сибирь на вечное поселение или каторгу.

— Война обогащает буржуев. Вот, к примеру, взять хотя бы вашу землячку Изарову. Она, я думаю, немало уже заработала на войне и заработает еще больше. Но ведь Изарова — это только мелкая рыбешка в сравнении с крупными капиталистами. А русский царь им потатчик, друг и слуга. То, что они прикажут, то он для них и сделает.

Солдаты теснее обступили Черкашина.

— Так что же нам делать? Воевать или штык воткнуть в землю да всем разойтись по домам? А может, устроить бунт, как делают рабочие на заводах? — вызывающим тоном спросил веснушчатый солдат.

Артем посмотрел на солдата, на его худое, измученное лицо с серыми бегающими глазами, и в свою очередь спросил:

— А если бы нам пришлось драться в смертном бою и у меня было оружие, а у тебя нет, — кто бы кого победил?

— Ясное дело, ты.

— Вот так и капиталисты. У них оружие, у них полиция, жандармерия... А мы бы вдруг против них с голыми руками? Нет, нам нельзя бросать оружие да расходиться по домам, наоборот, мы должны еще острее отточить штыки и пойти на новую войну.

Всему миру известна стойкость и храбрость русского солдата в бою. Но когда этот солдат будет знать, что он воюет не за интересы капиталистов, а за собственную свободу, за лучшую жизнь для себя и своих детей, за новое отечество, где не будет ни царя, ни богачей, а хозяином станет трудовой народ, силы русских солдат удесятерятся. Они проявят в боях с врагами народа такую отвагу, стойкость и храбрость, каких не знала история России.

Нам нужно оружие для другой войны, такой, чтобы подрубить капиталистов под корень, как вот эти деревья... Ведь до тех пор, пока в их руках власть, будут и войны.

Черкашин [illegible]о солдат оглянулись по сторонам, но вокруг не [illegible] души, только стояли тихие сосны.

— Ну, а как же с землей? Большинство из нас крестьяне. Нам надо подумать о земле. Воевали мы, воевали, а потом вернемся домой — и опять бери соху да паши со-

лончак? Ты этот клочок пóтом своим поливаешь, а он тебе ничего не родит. К рождеству уж в доме ни кусочка хлеба.

— Это не только у тебя. В наших краях земля хорошая, а хлеба тоже не хватает. Мало землицы-то.

— Я и говорю — солончак. А рядом — помещичьи земли. Да еще какие земли! Какая пшеница родится! И рожь, и гречиха — во! Не земля — пух. Хочу вот у тебя, Черкашин, спросить: нарежут ли нам, солдатам, хоть по наделу за то, что мы кровь свою здесь проливаем, жизни своей не жалеем?..

— Нет, не нарежут. Подумай сам: кто же из помещиков захочет свою землю солдатам отдавать?

— Правда, не отдадут по доброй воле. Что же нам делать? Может, какое-нибудь прошение царю написать?

— И это не поможет. Глухим останется царь к вашей просьбе... В пятом году девятого января рабочие уже ходили к царю искать правды и защиты. Шли вместе с женами и детьми, несли хоругви, несли портреты царя. А что сделал царь? Чем ответил на просьбу народа? Он приказал стрелять в безоружных рабочих. Даже детей не пожалел. Кровью залил улицы Петербурга, более тысячи ни в чем не повинных людей убил и больше двух тысяч ранил. Вот как расправился царь с рабочими. Нет, свободу и право народ должен добывать себе не просьбами и прошениями, надо завоевать их с оружием в руках! И землю у помещиков тоже надо взять силой!

— Я помню, как в пятом году в нашем уезде поднялось крестьянство. Помещик тогда убежал. Лошадей запряг и махнул в город, а имение его подожгли, хлеб разграбили, начали рубить лес, делить землю. Ночью бывало выйдешь из хаты, глянешь — все небо так и полыхает от пожаров. Там зарево — знай, горит панская усадьба; а там еще больше — видно, винокуренный завод подожгли или сахарный. А потом, смотрим, возвращается помещик, да не один, а ведет с собой казаков и солдат. Много крестьян они тогда убили, а которых плетьми засекли до смерти. Отец-то мой тоже под плетьми богу душу отдал.

— А ты вот мне скажи, — обратился к Артему солдат с веснушчатым лицом, — ты мне объясни: к примеру, офицеры, полковники, генералы — это ведь тоже буржуáзия?

С них-то, может, и начинать придется. Вот я и думаю: перебить бы их поодиночке. Ты как думаешь?

— Сегодня ты убьешь одного офицера, завтра на его место станет другой. Нам надо свергнуть самодержавие, а свергнуть его можно только вооруженным восстанием народа. Но рабочий класс сам с этим не справится. Ему нужна верная, надежная помощь. А кто поможет рабочим в борьбе за наше общее дело? Поможете вы, крестьяне, наши братья. Одна у нас с вами дорога... Ведь не свергнув царизм, не видеть вам земли, как своих ушей. Вот когда мы с вами соединимся покрепче, тогда станем такой силой, что сокрушим царский трон, потом и с буржуазией да помещиками справимся и построим рабоче-крестьянскую власть.

— Выходит, что зря ждали мы мира. Тут еще новая война начнется, — разочарованно сказал солдат и, отвернув свое веснушчатое лицо, уже больше ни о чем не спрашивал Артема.

А Метелик, жадно слушая Черкашина, все-таки не мог понять, как отважился тот в присутствии солдат, принимавших присягу на верность царю, назвать царя палачом. Ему нравилась такая смелость. Сложить свою голову на поле брани за царя Метелик тоже не хотел. Почему-то снова вспомнилась та ночь, когда ему, раненому, отказал в помощи прапорщик Бессалый. И, кто знает, может, лежал бы Метелик уже в сырой земле, если бы не спасли его друзья.

Никогда не забыть ему той ночи.

— Так вот, Метелик, — неожиданно обратился к нему Артем. — Сегодня мы соберемся в вашей землянке. Она просторнее. А ты, Яков, не забудь, прихвати с собой гармонь.

— Захвачу, — охотно согласился тот, сразу поняв Артема. — Уж сыграю я вам и спою!

Сани доверху нагрузили дровами. Лошади тронули, оставляя на снегу глубокий след от полозьев. За санями пошли солдаты. Солдатик с веснушчатым лицом, жалуясь на мозоли, умостился поверх дров, спрятав закоченевшие пальцы в рукава старенькой шинели. Скрипел снег. Багрово пылал закат, предвещая назавтра большой мороз.

— Надо будет малость дровишек припрятать, — сказал Метелик. — Ведь гости к нам сегодня придут.

Не останавливая лошадей, он на ходу сбросил не-

сколько поленьев. Их быстро подобрали солдатские руки, разрубили на части, и над землянкой вскоре появился сизый дымок. Короткий зимний день быстро угасал.

15

Когда совсем стемнело, в землянку вошел Яков Македон со своей старенькой гармоникой, а за ним, стряхивая с шапки снег (на дворе поднялась пурга), переступил порог и Артем Черкашин. Вернулись из кухни и Савелий с Кузьмой Сукачевым. Савелий, примостившись на нарах, стал грызть семечки. Шелуха застревала в его широкой бороде и он время от времени расчесывал ее пальцами, будто гребенкой. В сторонке одиноко сидел Кузьма. Глаза его, сухие, блестящие, светились таким болезненным горем, что в них нельзя было спокойно глядеть.

Метелик оборвал в лесу хлястик и сейчас старательно пришивал его суровой ниткой. Несколько солдат играли в карты. За столом сидел Терень и громко по складам читал букварь, который подарил ему Черкашин. Артем учил Тереня грамоте, и хлопец, бывая иногда в прифронтовом городишке, старательно перечитывал многочисленные вывески на магазинах и ларьках. Охотно бродил он и по улицам города, останавливаясь у ворот, чтобы прочесть на деревянной или железной табличке номер и фамилию домохозяина.

Листки из книг, обрывки газет, бумажки от конфет — все это он подбирал, прочитывал от слова до слова и складывал потом в деревянную шкатулку, которую берег, как зеницу ока.

— «Бе-жа-ла ко-за че-рез ле-со-чек, сор-ва-ла кленовый лис-то-чек», — читал он букварь, не замечая подошедшего к нему Черкашина.

— Как дела, Терень?

Юноша оторвался от книги и, весь сияющий, пообещал учителю:

— А я сегодня вечером вот это все прочту, — и он ногтем провел линию.

Артем тут же сделал ему замечание:

— Книгу надо беречь. Видишь, метка от твоего ногтя осталась. И пальцы тоже нельзя слюнить, когда переворачиваешь страницы. Потому что они загрязнятся, да

и негигиенично. — Поняв тут же, что Тереню это слово незнакомо, он объяснил его значение и продолжал: — Уголки тоже не загибай, а лучше положи бумажку. Смотрю я на тебя, Терень, как ты исхудал. Тяжела, видно, жизнь солдатская. Домой бы тебя отправить.

— Да разве меня отпустят? Я доброволец. Я в окопах вместе со всеми мерзну вот уже вторую зиму. Не отпустят меня. А хотелось бы деда проведать, как он там.

— Я поговорю с Изаровой, может, она тебя с собой возьмет,— сказал Яков Македон, усаживаясь возле печки.

В землянку вбежал солдат. Окинув всех быстрым взглядом, предупредил:

— Усиков... Сейчас придет!

И сразу Яков Македон, растянув гармонь, ухарски запел:

Раз послал да меня барин
Чай китайский заварить.
А я отроду не знаю,
Как китайский чай варить.
А я отроду не знаю...

Якова окружили солдаты. Один из них пританцовывал, лихо выстукивая каблуками. Вошел прапорщик Усиков. Все встали, приветствуя офицера. Быстрые, как у мыши, глазки Усикова так и забегали по лицам солдат, видимо кого-то разыскивая. Но солдата с веснушчатым лицом, который был ему нужен, в землянке не оказалось, он уехал за водой.

— Когда вернется, пусть немедленно, так сказать, явится к прапорщику Бессалому. Немедленно! — приказал Усиков и направился к двери, но его остановил Яков Македон.

— Ваше благородие! Сегодня рождество Христово, разрешите в такой день немножко повеселиться. Солдаты просят сыграть им что-нибудь на гармошке, просят песню спеть. Можно?

— Можно. Гуляйте. Все равно через два дня снимаемся отсюда — и снова в окопы, так сказать. Только смотрите мне, чтобы пьянки не было, картежной, так сказать, игры. Вот! — И он вышел.

В землянке стало тихо. Первым тишину нарушил Яков. Посматривая на Артема, он сказал:

— Ну, что ж ты медлишь, Артем, начинай.

Терень закрыл свой букварь, положил его в сундучок

и стал на свое постоянное место, у окна, как дозорный, наблюдая за тропинкой, ведущей в землянку. Солдаты подбросили сухих поленьев, чугунная печь начала краснеть снизу.

— Какая благодать! — говорил Савелий, протягивая свои большие руки к теплу.— Иди сюда, Кузьма, садись рядом, погрейся.

Кузьма подошел и сел. Молчаливый, потрясенный горем, он смотрел на огонь равнодушно-безучастным взглядом, попрежнему погруженный в свои мысли.

Возле печки тесным кольцом разместились солдаты. Сбросив шинель, Артем вывернул рукав и, посматривая на дверь, вынул из потайного кармана прокламацию.

— Вы не беспокойтесь, Артем. Я все вижу. Я к этому привычный... даже в секретах стоял. — И Терень, довольный порученным ему делом, улыбнулся. Никогда и ни в чем не подведет он своего учителя.

Кто-то заботливо открыл печную дверку, и отсвет огня упал на белый листочек с печатными буквами.

— Читай!

Стало тихо. Все с любопытством смотрели на Артема.

— «К разоряемым и умерщвляемым народам, — читал он не спеша, чтобы каждое слово было понятным солдату. — Два года мировой войны, два года опустошения, два года кровавых жертв и бешенства реакции. Кто несет за это ответственность? Кто скрывается за теми, которые бросили пылающий факел в бочку с порохом? Кто давно уже хотел войны и подготовлял ее? Это господствующие классы...»

— Погоди минутку, — попросил Савелий, подбрасывая в печку сухое полено, принесенное им из кухни. — Ярче огонь — легче читать будет.

— Ничего, я и так хорошо вижу, — ответил Артем, склоняясь над прокламацией.

— «Уложив миллионы людей в могилы, повергнув в горе миллионы вдов и сирот, нагромоздив развалины на развалины и разрушив незаменимые культурные ценности, война попала в тупик...»

— Правда, истинная правда, что миллионы погибли на фронтах. А дома остались вдовы, остались сироты.

— Помолчи малость.

— Нельзя молчать...

— «Вы, народ, трудящиеся массы, — продолжал Черкашин, — вы делаетесь жертвами войны. А между тем эта война не ваша. В траншеях, на передовых позициях находитесь вы, трудящиеся, сельский и городской люд. Позади фронта видите вы богатых с их приспешниками, скрывающихся в безопасности...»

— Постой, Артем. Нет сил молчать. Видать, большой человек писал эти слова, коли они так мое сердце трогают. Это верно, что на фронте мы — сельский да городской люд. А в тылу кто? Софья Изарова на войне наживается! Она тысячи уже заработала. А Лукьян? Да он скоро все земли наши к своим рукам приберет!

— Что там Изарова вместе с Лукьяном супротив городских капиталистов, которые на этой войне заработали не тысячи, а целые миллионы!

— Все они одним миром мазаны — что Изарова со своими братьями, что городские капиталисты. И те и другие — наши кровные враги. Так я понимаю.

— Читай дальше, Артем, прошу тебя. — И по голосу Кузьмы все почувствовали, как жадно ловил он каждое слово, как глубоко оно западало ему в душу, волновало его своей правдой.

— «В траншеях, на передовых позициях находитесь вы, трудящиеся, сельский и городской люд...»

«Это обо мне сказано», — подумал Кузьма, и ему стало невыносимо жаль самого себя. Но это была не только жалость. Он чувствовал, как в душе его растут недовольство и злоба к тем, кто, скрываясь в безопасности позади фронта, наживается на войне. Надо правду узнать, всю постичь ее до конца.

— Читай, Артем, читай.

Неожиданно заскрипели ржавые петли, и Терень даже не успел предупредить о грозящей опасности, как распахнулась дверь, и на пороге появился Усиков. Гусеницей растянулась в руках Якова гармонь, зазвенела веселая, лихая песня:

Ах ты, лодочка тиновая,
Тиновая, тиновая...
Ты, дивчина молодая,
Молодая, молодая.
Выйди, Дуня, на крылечко,
На крылечко, на крыльцо.
Надень, Дуня, хоть колечко...

— Прекратить! — взвизгнул чем-то рассерженный Усиков. — Почему до сих пор не пришел этот... так сказать, рыжий?

Офицеру объяснили, что солдат еще не возвращался.

— Немедленно... Приказываю, как только появится, немедленно, так сказать, к Бессалому! — и он ушел, хлопнув дверью.

— Зачем понадобился ему рыжий?

— Может, проштрафился чем.

О веснушчатом солдате вскоре забыли. Артем дочитывал прокламацию:

— «Капиталисты всех стран, которые из пролитой народной крови чеканят червонное золото барыша, утверждают, что война служит защите отечества, демократии, освобождению угнетенных народов. Они лгут. На самом деле они погребают на полях опустошений свободу собственного народа вместе с независимостью других наций. С начала войны вы отдали ваши действительные силы, вашу отвагу, выносливость на службу господствующим классам. Теперь вы должны начать борьбу за свое собственное дело, за священную цель социализма, за освобождение подавленных народов и порабощенных классов путем непримиримой пролетарской классовой борьбы...»

— Стой! — подал сигнал Терень. — Кто-то бежит сюда.

В землянку ворвался запыхавшийся денщик Бессалого Глеб Калмыков. Он возмущенно кричал и глаза его сверкали гневом.

— Сволочь! А? Кто бы мог подумать? Предатель! Провокатор! Своих же солдат... Нет, раздавить бы его, как гадину, как слизняка.

— Да говори же толком — что случилось?

— Что случилось? Я сам все слышал, все до единого слова. Солдатик... мразь эта... в вашей землянке живет, рожа у него вся в веснушках, так вот он донес Бессалому на Черкашина. Сказал даже, что сегодня вы здесь собираетесь. Бессалый пообещал ему присвоить чин ефрейтора. Нет, этого простить нельзя. Выдавать товарищей... — И Глеб, остановившись против Артема, уговаривал его: — Бегите отсюда, иначе беда! Я тоже сейчас пойду. Если застанет меня тут Бессалый, бить будет.

Черкашин бросил в печку прокламации, которые думал раздать солдатам. Даже Терень, почувствовав

опасность, угрожающую его учителю, отошел от окна и вместе со всеми слушал Глеба. Бумага сразу вспыхнула ярким пламенем. Кузьма Сукачев едва успел выхватить из огня одну прокламацию.

— Как можно такие слова жечь? — сказал он, с жалостью глядя на ровные ряды строчек, которые быстро пожирал беспощадный огонь. Листки скручивались, чернели. В последний раз их пронизали, как молнии, маленькие огневые зигзаги, и легкий пепел вместе с дымом вылетал в трубу. — Хоть одну спрячу. Пригодится... В окопах солдаты становятся злее. Будем читать. — Он свернул листок с обгоревшим краем, отошел от печки и лег на нары.

Солдаты, потрясенные, растерянно смотрели на Черкашина.

Артем казался спокойным. Даже в его голосе чувствовалось это.

— Я сейчас уйду. И, может быть, скоро не вернусь. Но вы работы не прекращайте. — И, отозвав Якова в сторону, предупредил: — Возможно, что на мое место придет другой товарищ. Ты, Яков, первым узнаешь об этом. Связь остается прежней — через Нину. Ну, кажется, все.

В землянке наступила напряженная тишина. Поняв волнение и тревогу друзей, Артем решил немного подбодрить их:

— Вы что же это притихли? Чего приуныли? Думаете, если меня выдал провокатор, то все пропало? Не бывать этому! Наша партия сильна, ряды ее растут с каждым днем не только в тылу, но и здесь, на фронте. Большевики свое дело знают. Не вешайте головы... Ну, а мне пора. До свиданья!

Попрощавшись, он направился было к двери, но выйти не успел. В землянку вошел прапорщик Бессалый в сопровождении нескольких вооруженных солдат.

— Арестовать!

Артема Черкашина повели к офицерскому блиндажу.

Не говоря никому ни слова, Терень подошел к нарам и лег, спрятав лицо в подушку. Плач его, как острый нож, резнул солдатские сердца.

Все раньше обычного укладывались спать, разговаривали мало, и если говорили, то шепотом, словно в

землянке лежал покойник. Свободным оказалось на нарах одно место: веснушчатого солдата.

Никто не спал.

— Что же ему теперь будет, Яков? — спросил Кузьма Сукачев, забыв даже свое большое горе. — Неужели осудят?

— Доказательств у них нет. Мало что мог наговорить тот рыжий. А нас коли спросят, давайте все стоять на одном: ничего, мол, такого не слышали. Про домашние дела разговаривали. Никакой политики... Подержат Артема день или два и выпустят. Должны выпустить.

— А вдруг доказательства найдут? — сказал кто-то с полутемных нар. — Тогда как? В тюрьму или на каторгу?

— Могут и полевым судом.

— Расстрел, стало быть?

— Не хочу я... Не хочу, чтоб его убивали! — закричал Терень и еще жалобнее зарыдал.

— Убивать не дадим! — сказал Яков Македон, а Савелий, молча лежавший до сего времени, встал с нар, взял сапоги, надел шинель и шапку.

— Ты куда? — метнул на него глаза Яков, видно разгадав его намерение. — Нам надо все обдумать, посоветоваться... Может, придется сейчас же освобождать Артема из-под ареста.

— Что советоваться? Без крови тут, видно, не обойдется... Из офицерского блиндажа не так-то просто освободить. Эх, жизнь ты наша солдатская! — вздохнул Савелий и не спеша вышел из землянки.

Савелий возвратился поздно ночью, когда все спали.

— Не видел того... предателя? — услышал Савелий голос Кузьмы Сукачева, но ничего не ответил другу. Молча раздевшись, стал на колени и начал молиться. Потом лег на свое место и быстро уснул.

А утром возле глухой стены офицерского блиндажа нашли задушенного солдата с веснушчатым лицом.

18

Софья должна была уже выезжать, но, узнав об аресте Артема и о предстоящем полевом суде над ним, решила остаться еще на денек.

Надушенная, она сидела в той же хате, где встречала

Якова, просматривая целую пачку документов и договоров, которые сумела здесь оформить. За эти дни Софья очень устала. Почти каждый вечер к ней приходил полковник Бабенко. Он недавно прибыл на передовую позицию, и ему, как он сказал, «выпала честь» расправиться с большевиком, который через двадцать четыре часа по приговору военно-полевого суда должен быть расстрелян. Полковник был и вчера, привез коробку шоколада. Он помог Софье получить новые заказы, а значит, она будет иметь и новые тысячи прибыли. Все эти дни она не думала о Якове, и только сегодня, неизвестно почему, снова воспоминания о нем стали тревожить ее душу, вызывая возмущение и даже гнев. Да могла ли Софья хоть на минуту представить себе, что Яков променяет ее на какую-то там сестру милосердия, наверно распутную девку... Они тут все такие...

Софья взяла зеркало и долго рассматривала себя в нем. Мысли ее неудержимо летели к Якову. Не любит она неудач. Софья была уверена, что Яков сразу же согласится на ее предложение, несказанно обрадуется, будет целовать ее, говорить ей нежные слова, играть на гармонике любимые песни. Она вместе с ним возвратится в слободу. Софья научит его вести дела, как в свое время учил ее муж. Она будет иметь тогда все: богатую, обеспеченную жизнь и его, любимого Якова, с которым решила связать свою судьбу.

Освободив его от службы, она заставит его быть покорным и послушным мужем. Сама же останется полновластной хозяйкой богатства.

Софье вспомнились тихие летние вечера, когда она еще девушкой встречалась с ним в слободе; вспомнились ей и долгие ночи, проведенные после разлуки с ним, когда сердце замирало от тоски по нем, когда хотелось видеть Якова, слушать его голос, чувствовать его ласку. Больше всех он завладел ее сердцем, и именно его решила она выбрать себе в мужья.

Отправляясь на фронт, Софья представляла себе первую встречу с ним, солдатом, к счастью еще не раненым, хотя он принимал участие уже во многих боях. А сколько раз, просыпаясь среди ночи, она, объятая ужасом, думала о Якове, которого видела в кошмарном сне убитым. Потом до утра не могла уснуть, сама удивляясь чувству, которое с каждым днем росло в ней, крепло, становилось

цепким, как хмель. Сильнее билось ее сердце, когда она перечитывала его фронтовые письма к родителям. Он был нежен и ласков с ними. Он не пугал их ужасами войны. Но Софья понимала, какой опасности подвергался Яков ежедневно на передовой позиции, и ей хотелось поскорей вырвать его оттуда и навсегда оставить возле себя. И вот теперь, приехав на фронт, она получила от него первый удар. Росло недовольство, злоба к Якову, и, может, поэтому ездила Софья с полковником Бабенко в городской театр, чтобы хоть чем-нибудь развеять свою тоску. Полковник хотя и ученее ее намного и такие книжки читал, о которых Софья не слыхала отроду, но он ей скоро надоел своею ученостью. Она невольно сравнивала его с Яковом, который казался ей и умнее полковника, и благороднее. С Яковом у нее было связано много воспоминаний. Никому не говорила Софья, как, выйдя замуж за Изарова, она все еще продолжала любить сына столяра, даже ревновала, когда видела, что он шел на гулянье в лес с другими девушками.

Софья довольна, что пойман Черкашин. Хоть это и страшно, должно быть, но она все же приняла приглашение полковника Бабенко и будет присутствовать при расстреле большевика. Исполнение приговора полевого суда поручено офицеру Бессалому. Он арестовал Артема Черкашина и просил командование дать ему возможность расстрелять большевика, рассчитывая, видно, на повышение по службе. Просьба боевого офицера была удовлетворена.

Но во всей этой истории Софью пугала назойливая мысль: «Если Артем такой опасный человек, зачем же Яков с ним дружит? Ведь Артем, как утопающий, будет хвататься за соломинку, и тот, кто протянет ему руку помощи, неминуемо погибнет и сам. А вдруг Яков тоже станет большевиком? Узнает об этом начальство, и его, так же как и Черкашина, будут судить полевым судом. . .»

Софья представила себе весь ужас этой картины. Вот выводят ее любимого Якова на расстрел. Стоит он бледный, губы плотно сжаты, только глаза горят решимостью и бесстрашием. Он знает, что ему придется сейчас умереть, но даже в эту последнюю минуту не просит пощады. Черные дула винтовок направлены на него, чтобы навсегда потушить в нем жизнь. Солдаты ждут команды.

Слышится наконец короткое, разящее, как удар: «Огонь!» Гремит залп, Яков падает...

Холодная дрожь пронизывает Софью, и она, объятая ужасом, крестится.

— Нет... нет... Только не это... Не пойдет он за ним... Не пойдет на гибель... Нет!

Кто-то постучал в дверь. Софье показалось, что пришел Яков. Он, наверно, передумал и изменил свое поспешное решение, поняв всю легкомысленность своего поступка, и сейчас откровенно во всем сознается, скажет: «Я согласен. Едемте, Софья Ивановна. Не враг я своему счастью. Зачем скрывать, люблю я вас, давно люблю, и вы об этом знаете».

Она бросится к нему на грудь, обнимет, поцелует...

Но вместо Якова в комнату вошла Нина Черкашина. Поздоровавшись, она заметила, с какой сдержанной холодностью и даже неприязнью встретила ее слободская богачка.

— Прошу садиться.

Софья устроилась на диване, с наглым любопытством рассматривала девушку. Может быть, Яков Македон рассказал ей все и Нина в порыве ревности решила с ней объясниться? Почему-то в первую минуту Софья подумала именно об этом и, собрав всю волю, готовилась достойно отразить нападение.

— Вы, наверно, уже слышали, что моему брату грозит расстрел, — сказала Нина, глядя в лицо богачке. Софья, прищурив глаза, кивнула головой: знаю, мол, эту новость. — Вы в хороших отношениях с полковником, — продолжала Нина, — а мне известно, что в большой мере судьба моего брата зависит от него.

— Вы хотите, чтобы я поговорила с Бабенко? — спросила Софья.

В тоне ее голоса чувствовалась не только холодная гордость, но и тайная радость при виде заплаканной соперницы, посягнувшей на ее счастье. Горе и страдание девушки мало трогали черствое сердце вдовы, наоборот, они доставляли Софье истинное наслаждение.

— Видите ли, я в политические дела не вмешиваюсь. Не понимаю я их и, если хотите знать, боюсь. — Она испытующе посмотрела в глаза Нине. — Я догадываюсь: вы виделись со своим братом, и он посоветовал вам обратиться ко мне за помощью. Не правда ли?

— Нет, я сама... Брат об этом ничего не знает... Его сегодня... уже есть приговор... — В руках сестры милосердия задрожал платочек.

— Я вам искренне сочувствую, Нина... кажется, так вас зовут. Сочувствую всей душой. Но, к сожалению, я не могу об этом говорить с полковником. Я далека от всякой политики.

Софье хотелось спросить Нину о другом. Это желание настолько было велико, что она не посчиталась даже с тем, в каком состоянии находилась Нина. Глядя ей прямо в глаза, Софья спросила:

— Скажите: вы давно знаете Якова Македона?

Нина ничего не ответила. Софья объяснила это посвоему, и в глазах ее сразу вспыхнула злоба. Она даже не поднялась, чтобы проводить гостью, и та ушла не попрощавшись, тихо прикрыв за собой дверь.

«Она любит Якова, любит...» — это поняла Софья, почувствовала всем своим сердцем, и буйная ревность, как огонь, обожгла ей душу.

«Погоди, я еще отплачу сторицей! Я покажу тебе, подлая девчонка, как разбивать мое счастье. Пришла за брата просить? Ничего, я тебе уважу... помогу... Еще не раз меня вспомнишь».

Жажда мести затмила все другие мысли. Увидеть, как Нина будет переживать расстрел брата, насладиться этими мучениями вволю, а потом уже можно будет и уехать отсюда, уехать навсегда.

Командир полка на фронте действует значительно свободнее, чем в тылу. И такое дело, как расстрел большевика, он охотно продемонстрирует перед солдатами. Пусть видят, пусть знают, как карает политических преступников закон.

Весь полк видел, как взвод солдат под командой прапорщика Бессалого вел на расстрел бывшего рабочего брянского арсенала, а ныне рядового солдата Артема Черкашина. Местом казни полковник выбрал лесную поляну, где в ночь под рождество поп служил молебен. Артема поставили у сосны. Одиноко росла она тут, разбросав во все стороны мохнатые ветви. У комля сосны тянулись к солнцу молодые сосенки; их по приказу офицера вытаптывали и ломали солдатские сапоги, как будто эти сосенки могли помешать убийству. Офицеры, о чем-то

совещаясь, то и дело посматривали на дорогу. Солдаты поняли: кого-то ждут.

Через несколько минут на лесной дороге показалась пара лошадей, запряженных в резные сани. Подъехав к группе офицеров, сани остановились. В валенках, в добротной шубе, повязанная белым шерстяным платком, Софья сошла с саней. Она, пристально всматриваясь в длинные солдатские шеренги, искала глазами Якова. Он стоял на правом фланге рядом с такими же рослыми, как и сам, богатырями, смотрел на нее, но на таком расстоянии она ничего не могла увидеть в его глазах.

Это ее, Софью, ждал полковник Бабенко. В душе Якова поднялась бешеная злоба к ней. Мысль становилась быстрой, как молния. Он напряженно думал, как спасти друга. Ни с кем не советуясь, Яков принял решение и готов был выполнить его, если бы даже пришлось поплатиться за это жизнью.

«Ведь это на фронте, — суматошно проносились в голове Якова мысли. — Бывало сам Артем мне рассказывал: солдатам подается команда: «В атаку!» — а солдаты не идут. Да неужели сейчас их руки поднимутся на такого человека, как Артем. Не верю! Не допущу! Я сам убью Бессалого, убью, как бешеную собаку, а там видно будет, что делать дальше. Артем должен жить, жить!»

Рядом стоял Метелик. Яков слышал, как он сказал, глядя на Софью:

— Шлюха! На солдатскую смерть приехала посмотреть, как на представленье.

Прапорщик Бессалый подал команду:

— Смирно-о-о!

Полк замер. Тревожно стучало сердце добровольца Тереня, охваченного ужасом предстоящей расправы.

— Убьют, убьют, — шептали его бледные губы, а глаза, полные страха и тревоги, следили за учителем. — Убьют... Чего же мы стоим? Надо его спасать!

Сосед толкнул локтем Тереня.

— Молчи! Смотри и молчи!

Но как молчать, когда над Черкашиным нависла такая опасность? Спасти его надо, спасти сейчас же, немедленно, иначе поздно будет.

Какая-то внутренняя сила так и подмывала его выбежать из шеренги, закричать: «Солдаты, остановитесь! Посмотрите, на кого вы руку поднимаете? Это же наш Артем.

Он и меня и других солдат грамоте обучает, он многим из вас письма домой пишет. Все мы знаем, какой он добрый, хороший... Нельзя! Одумайтесь!»

Но вот в голове его мгновенно созревает другой, смелый, опасный план. Опасность сейчас не страшит. Он должен так поступить, защищая любимого учителя. Вот подождет еще немножко Терень, а потом что есть сил помчится к старой сосне, закроет своим телом самого близкого ему человека: «Не дам... Не дам убивать... Не дам!»

Солдаты не посмеют тогда стрелять.

В нескольких шагах от Тереня стоят Савелий и Кузьма. Савелий исподлобья смотрит на взвод солдат, выстроившихся против Артема. Если Савелий мог легко расправиться с веснушчатым солдатом вблизи офицерского блиндажа, то здесь он был беспомощен.

За месяцы совместной фронтовой жизни Савелий привык к брянскому рабочему, полюбил его за светлый ум, за смелость, за братский подход к простому человеку.

Артем не раз беседовал с Савелием о его семье, интересовался, пишут ли ему из дому, и, когда приходило письмо, охотно читал его вслух и тут же под диктовку писал ответ.

Иногда Артем заходил в землянку просто посидеть, поговорить. Начинались воспоминания о родном доме. Скупыми словами рассказывал Савелий грустную повесть о своей батрацкой жизни. «Ничего, Савелий, не унывай, — говорил Артем. — Придет время — а оно не за горами, — заживем мы по-новому. Будет и у тебя радость, и ты еще узнаешь счастье».

От этих бодрящих слов, исполненных глубокой веры в лучшее будущее, становилось светлее на душе у Савелия, и в ответ хотелось ему сказать Артему тоже что-нибудь приятное, хорошее.

И вот сейчас глядит Савелий на Артема, и вспоминаются ему все добрые слова и дела Черкашина.

«О счастливой свободной жизни мечтал... Как же это? Неужели убьют?.. Такого человека убьют?..»

— Видишь, Кузьма? Все видишь? — тихо спросил он рядом стоявшего Сукачева, и так же тихо и взволнованно Кузьма ответил:

— Вижу... Все вижу. Не дадим его убивать.

Возле старой сосны попрежнему стоял Артем. Он вни-

мательно и, казалось, совершенно спокойно смотрел на солдат. Многих он хорошо знал. Видел, как приехала сюда Софья, понял цель ее приезда и еще больше возненавидел слободскую богачку.

В стороне собрались сестры милосердия. Артем искал среди них Нину, но ее там не было. «Может, арестовали? А возможно, в связи с моим арестом ее срочно отправили с фронта?» Взгляд скользнул дальше по солдатской шеренге и остановился на добровольце Терене. Юноша смотрел на своего учителя жадными, блестящими глазами, полными ужаса. «Милый мой мальчик, понимаю тебя, но мужайся, будь солдатом!» Хотелось его утешить, сказать ласковое слово, подбодрить упавшего духом юношу. Артем улыбнулся. Терень увидел улыбку, относящуюся именно к нему, и в глазах его заблестели слезы. Но он не стыдился этих слез, даже не замечал их, охваченный предчувствием кровавой расправы.

Друзья Артема знали, что его выдал веснушчатый солдат, но не знали, что во время обыска в рукаве Артемовой шинели нашли случайно оставшуюся там прокламацию, это и послужило основной уликой против него. Черкашин знал, что смерть неизбежна, но сознание, что он умрет за правое дело, великое дело, во имя которого отдана уже не одна жизнь лучших сынов народа, отгоняло страх, укрепляло его силы, будило в нем страстное желание в эти последние минуты рассказать солдатам о великой партии, которой руководит гениальнейший русский человек — Владимир Ленин.

— Товарищи! Я большевик, я рядовой боец партии, поднявший голос против палача Николая Романова, против разбойников-капиталистов, бросивших миллионы рабочих и крестьян на фронты этой кровавой войны...

Это было так неожиданно для офицеров, что они растерялись, не зная, что им делать. Черкашин, воспользовавшись замешательством, продолжал:

— Вас обманули, послав на фронт защищать царизм. Солдаты, берегите оружие. Настанет время, когда вам придется повернуть свои штыки против буржуазии, помещиков, офицерни...

— Сми-и-рно! — надрываясь, закричал Бессалый, но солдаты продолжали внимательно слушать Черкашина.

Голос большевика звучал громко, смело:

— Это время не за горами. Солдаты, вы убьете меня,

но помните: вы не расстреляете революции. На мое место станут десятки новых бойцов. Нет силы, которая бы остановила революцию. Я верю в нее. Она придет, и над окопами, и над всей необъятной нашей Россией будут развеваться красные знамена.

— Готовьсь! — взвизгнул, теряя самообладание, прапорщик Бессалый, но это не остановило Артема, голос его попрежнему звучал так же страстно, глаза горели каким-то неугасимым огнем, верой в завтрашний светлый, свободный день.

— По изменнику родины! — подал команду офицер.

Терень рванулся было вперед, готовый осуществить свой план, как вдруг услышал женский крик. К поляне бежала Нина Черкашина. С головы ее слетела косынка с красным крестом, Нина даже не заметила этого.

Все замерли, глядя на девушку, а она, не останавливаясь, бежала прямо к сосне, где стоял брат. По приказу офицера один из солдат схватил ее за руку, не пустил дальше.

— Артем! Артем!

И этот душераздирающий крик, полный ужаса и горя, больно отозвался в душе не только Артема. Он долетел и до Якова, стоявшего в шеренге солдат, и точно ударил его чем-то острым в самое сердце.

— Не плачь, Нина! — крикнул ей брат. — Будь мужественна!

Беспомощный стоял Яков Македон. Он видел, как Нину окружили другие сестры милосердия, пытаясь успокоить, но их слова, видно, не доходили до ее сознания: девушка все время рвалась вперед. Ее держал вооруженный солдат, не позволяя подойти к брату, и она с ужасом ждала расстрела, не имея возможности ни освободить брата, ни хоть чем-нибудь помочь ему в эту страшную минуту.

Яков следил за ней, и, наверно, никогда он еще так ясно не чувствовал, как в эти минуты, что ее горе стало его горем, что ее боль стала его удвоенной болью, что Нина ему безмерно дорога и он любит ее так, как не любил еще никого в жизни.

Когда это случилось, пожалуй, он и сам бы не смог объяснить. А это случилось, видно, тут, на фронте. Он видел ее чуть ли не каждый день в опасности, где она, девушка-сестра, друг и товарищ, переносила вместе

с солдатами все тяготы окопной жизни. Он видел ее, бесстрашную и смелую, на поле боя, когда она, рискуя собственной жизнью, перевязывала раненых солдат, поила их из фляги водой, успокаивала и подбадривала ласковыми словами. Не раз встречал он ее в землянках и блиндажах. При свете каганца или копеечной свечки она писала под диктовку невеселые солдатские письма родным.

А иногда слышал Яков Македон, как пела Нина задушевные песни, развлекая раненых солдат, или рассказывала им о жизни тружеников большого города Петрограда, где ей пришлось жить и работать.

Никогда Яков не говорил ей о своих чувствах, о своей любви, но каждый раз, встречаясь с нею, замечал, как вспыхивал румянец на ее щеках, а глаза становились такими глубокими, искристыми и добрыми, что, казалось, проникали в самую душу. Ему приятно было чувствовать это волнующее тепло, исходящее из ее глаз...

Смелая и ласковая — вот такой вошла она в его душу, вошла властно, и это почувствовал он особенно остро сейчас, когда услышал ее крик, увидел ее неутешное горе. Ее горе передалось ему. «Не плачь... Мы не дадим... Я первый встану на его защиту», — хотел крикнуть он.

Вдруг Яков услышал, как кто-то из солдат довольно громко и угрожающе сказал:

— Ну, теперь и Бессалому не жить. В первом же бою, во время атаки...

Снова полковник махнул перчаткой, подавая сигнал, и во всю глотку заорал прапорщик Бессалый:

— Взвод, огонь!

Но ни одного выстрела. Взбешенный Бессалый взвизгнул:

— Вы... Не подчиняться... Бунтовать... В армии бунтовать? — Его душила злоба, глаза горели, как у волка. Всматриваясь в спокойные лица солдат, он угрожающе кричал: — Расстреляю! Весь взвод расстреляю...

Рядом с Софьей стоял растерянный полковник Бабенко.

— В чем дело? Солдаты не слышали команды? — сердито спросил он и, пьяно шатаясь, направился к взводу.

Артем следил за каждым его шагом. Взволнованный поступком солдат, он подумал: «Что, не слушают? Не выполняют приказ? Вам хотелось бы, чтоб солдат убивал солдата? Прошло это время. Не будет по-вашему!»

— Товарищи солдаты, братья! — крикнул Артем, но его голос заглушила повторная команда прапорщика Бессалого:

— Взво-од, огонь!

И снова тишина. Тогда по приказу полковника Бабенко взвод подпрапорщика Бессалого стал в тыл первому взводу. Поднялись винтовки.

— Солдаты, подождите... остановитесь! — и Терень, выскочив из шеренги, побежал к сосне, чтобы исполнить свое намерение.

В эту же минуту Метелик схватил Якова за руку и, глядя в его распаленные гневом глаза, спросил:

— Ты что... что надумал?

— Не мешай! Убью гада... А потом с солдатами сам говорить буду.

Неизвестно, что было бы дальше, но в эту минуту в воздухе вдруг послышался знакомый свист снаряда. Взрыв подбросил в воздух снег и черные комья мерзлой земли. Точно подкошенные, упали братья Бессалые, упало несколько солдат, убитых и раненных осколками. Поднялась паника. Воспользовавшись замешательством, Артем быстро помчался к лесу, а Терень радостно кричал ему вслед:

— Бегите, Артем, бегите!.. Скрывайтесь!..

Солдаты и офицеры бросились в укрытие. Перепуганная Софья мчалась с такой быстротой, что легкие сани могли опрокинуться, искалечить ее или убить насмерть. Да не думала об этом Софья. Скорей бы только вырваться отсюда, спасти свою жизнь.

Снаряды разрывались справа, слева, сзади, спереди, и Софья, побледневшая от страха, кричала солдату:

— Гони быстрее! Быстрее!.. Ну, что ты? — и порывалась сама править взбесившимися лошадьми, которых беспощадно стегал кнутом Глеб Калмыков.

Немцы после небольшой передышки, сделанной во время рождественских праздников, начали артиллерийский обстрел русских окопов, готовясь к очередной атаке.

Через несколько дней тут же, на передовой, Нина Черкашина прощалась с Яковом Македоном.

— Уже уходишь? — грустно спросил он. — Так скоро...

— Должна... Есть приказ... Не разрешают мне...

— Понимаю...

И оба замолчали, не зная, что сказать в эти последние минуты разлуки.

— К Артему?

— К Артему. Только я сначала Галину Шорохову проведаю, а уж она скажет, где мне искать брата.

Он взял ее руку, посмотрел в глаза, и Нина особенно остро почувствовала сейчас, что разлука с ним будет тяжелой, что она любит его.

— Провожу тебя немного.

— Только немножко, ведь лошади запряжены... меня ждут...

Они шли лесной дорогой. По сторонам стояли деревья, покрытые густым инеем. Иней посеребрил колечки волос на ее висках и холодной бахромой опушил длинные ресницы.

— Я, Нина... я теперь не могу... без тебя...

Он волновался, и его волнение передавалось девушке, наполняя все ее существо неизведанным теплом первой любви, и у нее сладко замирало сердце...

Неожиданно остановившись, Нина сказала:

— Простимся здесь, — и она невольно потянулась к Якову.

Он крепко обнял ее и припал к губам жадным поцелуем.

— Очень буду скучать по тебе, — говорил он, глядя ей в лицо, будто прощался с ней навеки. — Я все хочу знать, все... Где будешь жить, что будешь делать... Скажи — напишешь?

— Напишу, Яков.

В глазах ее светилась первая большая любовь.

— Знаю, я тоже буду скучать по тебе, — тихо говорила она. — Очень буду скучать. Но надеюсь, что война окончится и мы с тобой, Яков, встретимся... Ведь правда же встретимся?

— Любимая моя, родная моя! — говорил он ласково и нежно, снова крепко обнимая девушку. — Я разыщу тебя, где бы ты ни была, ведь я люблю тебя, Нина, люблю!..

Будто пьяная, подошла девушка к саням и тихо сказала солдату, нетерпеливо ждавшему ее:

— Трогай!

Свистнул кнут, зацокали копыта. Звонко в морозном воздухе заскрипел под полозьями снег.

17

Ворота были заперты. Артем перелез через забор, прыгнул в сугроб. Раньше, бывало, когда он поздно возвращался домой, то всегда стучал в крайнее окошко три раза. Мать сразу же просыпалась и шла открывать ему двери.

И сейчас Артем направился к окну. Постучал три раза, прислушался, пошел к крыльцу.

Небольшой садик замело снегом. Неподвижные стояли яблони, сливы, груши. Крыльцо было увито лозой дикого винограда, и на нем, как и на деревьях, лежал густой колючий иней. На протянутой веревке висела твердая, покрытая изморозью рубашка.

Артем стоял на крыльце перед дверью, но ее никто не открывал. «Неужели мамы нет дома?» — и он, обеспокоенный, начал стучать щеколдой. Через минуту из сеней послышался голос:

— Кто там?

— Я, мама, я, Артем.

В сенях стало тихо.

Волнуясь, мать торопливо зашарила в темноте, отыскивая засов и, наконец отыскав, никак не могла вытащить его. Но вот дверь распахнулась.

Протянув руки, мать упала к нему на грудь и несколько секунд стояла, будто обомлев, не в силах вымолвить слова.

Да разве могла она ждать большей радости для себя, чем эта неожиданная встреча?

Из глаз ее катились слезы, дрожали плечи, а теплые, знакомые с детства, нежные материнские руки жадно обнимали его. Казалось, мать еще сама не верила своему счастью и хотела убедиться, что это не сон, что перед ней стоит ее сын, ее Артем, живой, не искалеченный, родной... Но почему-то не в военной форме, а в штатском.

Он гладил ее седые волосы, целовал лицо, чувствовал на щеках соленую влагу ее слез и, волнуясь сам, успокаивал мать:

— Не надо... Зачем же плакать? Пойдем, мама... Ты не одета, а на дворе мороз... Так и простудиться недолго.

— Письмо я получила от Нины. Дни стали темными для меня, как ночь. Какое счастье... Ты жив, жив...

Зашли в комнату. На Артема сразу повеяло привыч-

ным уютом родного крова. Мать зажгла лампу, и только теперь увидел Артем, как похудела мать, осунулась, стала совсем седой. Щеки ее все еще были мокрыми от слез, но глаза сияли теплой радостью.

— Они отняли у меня твоего отца. Они хотели отнять и тебя. Я чуть с ума не сошла с горя, когда узнала о приговоре полевого суда. Но ты жив, и я счастлива. Ты должен жить. Ты должен бороться с ними. — И, улыбнувшись, она сообщила новость, которую не могла утаить от сына, зная, что это будет ему приятно: — Я ведь тоже помогаю вам, большевикам. Листовки рабочим раздаю политические, книжечки, брошюры тоже... С работой справляюсь... Шпиков разных да полицейских научилась обманывать. Они хитры, а мы должны быть хитрее их.

Артем нежно обнял мать и прижался к ее щеке, а она, вся сияющая, как будто помолодевшая, говорила слова, которых он никогда не слышал от нее прежде:

— Буду вместе с моими детьми бороться за счастье. Ведь хочется мне хоть немножко светлой жизни попробовать. Вижу, сердцем своим чувствую вашу великую правду. И поняла я: нужно вам помогать. Другой дороги у меня нет!

— Ну... спасибо тебе, мама... Родная ты моя, хорошая моя!

Она, спохватившись, вдруг засуетилась:

— Что ж это я, разговорами занялась, а ты с дороги, наверно, устал и голоден... Сейчас воды тебе согрею, помоешься, а я ужин приготовлю.

— Не беспокойся, мама. Ведь я к тебе только на минутку забежал... проведать. Нельзя долго задерживаться... Меня ищут.

В глазах матери потухла недавняя радость. Она посмотрела на сына, поняла все и больше ни о чем его не расспрашивала.

— А ты все-таки посиди немного... Я хоть самовар поставлю да чаем тебя напою с вишневым вареньем. Приберегла две банки... Посиди. Я мигом... — и она тихо вышла на кухню.

Артем рассматривал комнату. В доме все было так, как и два года назад. Те же картинки на стенах, так же любовно на вязаной скатерти расставлены фотографии; даже красное яблоко-шкатулка, в которую мать кладет нитки, пуговицы, наперстки, стояла на прежнем месте,

отражаясь в зеркале. Только сильно разрослись калачики на окнах, вырос и фикус да появился кот. Пушистый, сонливый, он растянулся на теплой лежанке, мурлыча и жмуря глаза.

А перед иконой теплился красный огонек лампады. Этот огонек почему-то напомнил ему детство, когда он маленьким становился на колени и повторял за матерью непонятные слова молитвы. Давно уже Артем не верит в бога, а мать, видно, и теперь все еще молится утром и вечером. Маленькое пламя лампады горит ровным, немигающим светом, и в ее лучах поблескивает фольговая отделка иконы и смотрит на все равнодушными глазами божья матерь с младенцем на руках.

Вернулась из кухни мать, остановилась у двери. Глаза и щеки у нее снова повлажнели.

— Ты бы прилег да отдохнул хоть немного, пока я чай подам. Намаялся, верно, в дороге.

Движения ее тихие, мягкие. В каждом слове чувствуется ласковая забота и в то же время тревога и горечь. Ей даже страшно подумать, что вот он сейчас, напившись чаю, уйдет в глухую, морозную ночь, уйдет неизвестно куда, и кто знает, когда увидятся они снова. Мать боится думать об этом, старается отогнать беспокойные мысли, отдалить час разлуки, забыть о ней. Она садится рядом с сыном и молча долго смотрит ему в лицо.

— Ты за меня не бойся, мама. Я еду к товарищам, работать стану.

Но она, казалось, не слышала, не понимала, что он говорил.

— Ни днем, ни ночью тебе не будет покоя. Хватит ли сил? Приютят ли добрые люди? Береги себя, Артем, помни о своей старой матери. Знай, сыночек, что я не перенесу твоей смерти.

Помолчали. Потом мать спросила:

— Куда ж ты теперь, сынок?

— В Петроград. На Путиловский. Есть там у меня товарищи.

— Береги себя. Поймают жандармы — убьют или на каторгу... в Сибирь.

Артем улыбнулся.

— Обо мне беспокоишься... Ты бы о себе подумала. Что, если схватят тебя с листовками?

— Меня? — переспросила она и горько усмехну-



лась. — Меня им не поймать. Я приловчилась. Я знаю, как их надо обманывать. А поймают — все равно ничего им не скажу, пусть хоть раскаленным железом жгут — не скажу! Ты мне верь, сынок. Честных людей подводить не стану. Все стерплю, все пытки вынесу. Только не поддамся им, нет, не поддамся! — Она погладила теплой ладонью его исхудавшее лицо и заговорила о другом: — Как же ты спасся-то?

— Такое счастье бывает, пожалуй, раз в жизни.

— Писала Нина, будто снаряд разорвался.

— Вот я и воспользовался этим — да в лес. Леса там густые, спрятаться есть где. Только снег местами вот такой, прямо по пояс. Ползу через сугробы и чувствую — не хватит сил, не уйду. Пошлют за мной погоню — пропал. Оглядываюсь по сторонам — никого не видно. А куда идти — не разберу. Небо серое, компаса нет. Выбрался на лесную дорогу, глядь, что-то мелькнуло в стороне.

— Погоня?

— Всадники приближаются, а я под сосной, зарылся в снег, лежу. Только серая шапка видна. Чтоб не выделялась, обсыпал ее снегом и наблюдаю за всадниками. Подъезжают ближе. Я хорошо их вижу. Оказывается, немецкие разведчики. «Найдут, думаю, убьют или возьмут в плен». А в плен мне сдаваться неохота — работы много. Лежу я. Перепрятываться поздно. Бежать? Куда же отсюда убежишь? А один немец поворачивает коня...

— К тебе? Ох, господи! — И мать перекрестилась, представляя себе весь ужас. — Заметил, значит?

— Лошадь его загрузла в сугробе. Он повернул назад и помчался рысью по дороге, догонять остальных.

— Счастье твое...

— Уехали они, а я все лежу. Чувствую, начинает клонить ко сну. Думаю: «Чего доброго еще замерзну!» И, не дожидаясь ночи, решил идти дорогой. Поднялась страшная метель. Сосны шумят, а я все иду и иду, сам не знаю, куда. К полуночи совсем выбился из сил. А метель не унимается, стала еще злее. Отдохнуть бы, так нет, боюсь. Знаю: если сяду, сразу усну, тогда конец.

— Господи, такое пережить. На огонек бы шел.

— А где же он, огонек? Кругом лес, и метель такая разыгралась, что за три шага ничего не видно.

— Как же ты выбрался? — нетерпеливо спросила мать.

Рассказ Артема сильно взволновал ее, он это заметил, и ему не хотелось расстраивать мать, но, начав рассказ, он должен был его закончить.

— А потом слышу — лают собаки. Набрел я на знакомое село. Там местный учитель — свой человек. У него достал я паспорт, одежду. Снабдил он меня харчами, денег на дорогу дал. Теперь уже я не Артем Черкашин, а Иван Павлович Демченко. Профессия моя — учитель.

— Хорошо, что так все кончилось. Не отморозил себе ноги?

— Да, малость прихватило, но я снегом растер, и все обошлось благополучно.

Из кухни послышалось веселое шипенье.

Мать, поднявшись, вышла из светлицы и вскоре вернулась, неся перед собой блестящий самовар. Она круто заварила чай, нарезала хлеба, вынула из шкафчика банку с вареньем и, наполнив им стеклянную вазочку, поставила перед Артемом.

— В чай клади и так кушай. Это ж твое любимое.

— Люблю... Варенье всякое люблю, а вишневое — особенно.

Но чаевать ему не пришлось. Стенные часы пробили пять. Артем встал из-за стола.

— Я должен спешить, ведь в пять тридцать отходит поезд. А чаевать вволю будем уж как-нибудь в другой раз.

Он быстро надел пальто и калоши, натянул шапку-ушанку.

— Ну что ж... и за то спасибо, что мать проведал... радость мне принес. Понимаю, иначе нельзя. Иди... Благословляю!

Мать перекрестила сына, а он, улыбнувшись, сказал:

— Зачем? Ведь я, мама, давно...

— Ничего, сынок. А вдруг он есть?.. Не надо его гневить... Я за тебя все равно буду молиться.

Она встала, чтобы проводить его. Недавняя радость угасла, как потушенная свеча. Минута тяжелой разлуки, которую всячески старалась она отдалить, пришла внезапно, омрачив душу щемящей тоской и тревогой.

— Провожу тебя немножко.

— Не надо, мама! Никто не должен видеть меня с тобой. Сам дойду... До свиданья!

Мать вышла вместе с ним во двор и, стоя у ворот, смотрела вслед, пока он не скрылся из глаз. Потом зашла

в дом. На столе попрежнему весело шумел самовар. Падали на поднос угольки и, покрываясь серым пеплом, быстро гасли.

Она тяжело опустилась на стул. В фарфоровое блюдечко с недопитым чаем упала соленая слеза, но рука матери даже не шевельнулась, чтобы отодвинуть блюдце. Затуманенными глазами смотрела она на вазочку с вишневым вареньем, на нетронутый хлеб, нарезанный для него.

— Сынок мой... Артем! — заплакала она и упала на стол, не в силах больше сдерживать рыданье.

С теплой лежанки спрыгнул сытый кот и, подойдя к ней, стал ластиться у ее ног.

18

По завьюженной дороге шел солдат. Он часто останавливался, поправляя вещевой мешок за плечами. От долгого пути солдат очень устал. Оглядываясь назад, жадно искал глазами попутной подводы. И только недалеко от слободы, когда он, окончательно выбившись из сил, готов был свалиться на снег, увидел быстро приближавшуюся тройку. Смотрел на нее с радостью и надеждой, как на единственное спасение.

Сытые лошади бежали дружно. В тулупе, в теплых рукавицах, повязанный башлыком, дремал на облучке кучер, закрывая широкой спиной пассажира.

Все ближе подъезжала тройка, и когда она поравнялась с солдатом, он поднял свои костыли. Натянулись вожжи. Лошади остановились.

— Сил нет. От станции иду пешком. Подвезите солдата-калеку к слободе.

В санях сидела женщина в дорогой шубе, валенках, повязанная теплым платком так, что виднелись только ее красивые, но недобрые глаза. «Посади такого рядом, а он грязный», — брезгливо подумала женщина. Не отвечая солдату, она молча толкнула кучера в спину, и тот стеганул лошадей.

Заскрипели полозья, тройка промчалась мимо, и долго стоял солдат, провожая взглядом сани и молчаливую женщину. Это была Софья Изарова.

Только под вечер добрался солдат к слободе. На него

с любопытством и жалостью смотрели слобожане, не узнавая в этом искалеченном солдате своего земляка.

Солдат остановился на мосту, наблюдая, как на горку взбирались дети, таща за собой санки. Его внимание привлекла девочка лет семи. Одетая в отцовский пиджак с засученными рукавами и повязанная материнским платком, она, быстро усевшись на санки и оттолкнувшись ногами, помчалась вниз к мосту.

Увидев солдата, девочка радостно улыбнулась и, кинув санки прямо на дороге, бросилась к нему. Обхватив его ручонками, она прижалась горячим лицом к холодной шинели, крепко держась за нее, словно кто-то мог снова отнять у нее отца.

— Тато... таточко мой вернулся...

Это был Пимен Базалий, отпущенный по «чистой» с фронта. Грудь его украшали медаль и крест — награды за храбрость и компенсация за увечье.

— Бери саночки, пойдем... пойдем, Таня.

Встреча с дочкой взволновала Пимена. Шире, свободнее вздохнул солдат, подумал: «Ничего, проживем какнибудь... Буду дочку растить. Она у меня молодец, бойкая...» И, обняв девочку, он прикоснулся холодной бородой к ее румяной от мороза щечке.

— Умница ты моя, родная моя. Мама небось беспокоится: где, мол, загулялась доченька?

— Мамка же в мастерской... Она приходит поздно. А дома я хозяйничаю. Я уже большая. И ключ вот у меня. Я сама умею варить обед и все сама делаю.

Их встречали на улице соседи, и хотя не узнавали Пимена, но догадывались, что это он, потому что рядом с ним шла Таня.

Солдата остановил столяр Македон.

— Ты, Пимен? — спросил он удивленно, и в голосе столяра прозвучали сочувствие и жалость к соседу. — Отвоевался, значит?

— Отвоевался...

— Да... Ну, а как же мой Яков? Видел его?

— Живой...

— Ну, слава богу. — И Македон, заметив усталость Пимена, не стал больше обременять его расспросами. Пусть отдохнет человек с дороги, а о фронтовой жизни они потолкуют с ним позже. — Ты не отчаивайся, что ногу потерял... Руки есть, голова цела, жить можно.

Захочешь — обучу своему ремеслу, всегда будешь иметь кусок хлеба.

— Спасибо за доброе слово. Подумаю, посоветуюсь с жинкой, — поблагодарил Пимен и пошел дальше. Вот и его хата. Чаще забилось сердце. Снаружи почти ничего не изменилось. Только когда зашел во двор, сразу заметил: лошади нет. У плетня лежало присыпанное снегом колесо. Не видно было ни одной курицы, соломенная крыша сарая провалилась.

— Заходите, тато, — сказала девочка, отомкнув дверь, и он впервые за время войны переступил порог родной обедневшей хаты.

Таня уже привыкла хозяйничать. Не раздеваясь, она побежала в сарай, захватила охапку сухого валежника и соломы, внесла в хату, быстро и умело разожгла печку.

— Замерзли, тато? Садитесь вот сюда, ближе, вам будет теплее. А я картошки сварю. А вот на столе хлеб. Хотите, тато, хлеба? Есть соленые огурцы, и помидоры тоже есть. Дать?

И маленькая хозяйка поставила на стол все, что было съестного в доме.

В печке гудел огонь, а возле стола сидел Пимен, слушал дочку, невольно восхищаясь тем, как ловко и умело в ее маленьких руках спорилась работа. Оглядывая хату, он увидел, что исчез сундук, полный всякого добра, нажитого годами вместе с женой, а на вешалке, где всегда у них было много одежды, осталась только старенькая юбка Поли да Танино платьице в заплатках.

— Я теперь часто ночую дома одна. Маме нельзя отлучаться. Она стережет Софьины комнаты, а я сама. — Дочка подошла к отцу, посмотрела на его деревяшку, спросила: — Отрезали?

Ей хотелось расспросить отца обо всем еще тогда, в госпитале, но там она испугалась, увидев отца без ноги, и с мамой такое случилось... А потом мама часто плакала. А когда ехали они на поезде домой, мама села у окна, а окно было замороженное, все в узорах и ничего сквозь него не увидишь, а мама все смотрела на узоры, и Таня хорошо расслышала ее слова; хотя мама произнесла их тихо, но все равно Таня расслышала. Мама сказала: «Что ж мы будем теперь делать? Не работник он, калека... навеки калека». Таня хотела утешить ее и хотела спросить — когда же тато вернется домой? Но мама

все глядела в окно, молчала, закрыв глаза, словно уснула, а по щекам у нее текли слезы, и Тане было очень жаль свою маму, очень...

И вот сейчас отец сидит рядом, только вместо ноги у него деревяшка и ходить без костылей он совсем не может.

— Это германцы тебя искалечили? — допытывалась она, и в ее глазах засверкали злые огоньки. — Зачем они так сделали, тато, зачем?

Отец обнял ее, тихо сказал:

— Маленькая еще ты, ничего в этих делах не смыслишь.

— Я не маленькая... Я смыслю... Зачем же людей калечить? Я видела в госпитале...

— Доченька, сбегай-ка к мамке, скажи ей: вернулся, мол, батько домой.

— Сейчас сбегаю, — и Таня вспорхнула, как мотылек, натягивая на свое худенькое подвижное тельце отцовский пиджак.

Заскрипела калитка, и через несколько секунд в распахнувшейся настежь двери он увидел Полю. Кто-то из слобожан уже сообщил ей о возвращении Пимена, и она, бросив все, прибежала домой.

Так и застыло сердце у Пимена, словно опустили его в ледяную воду. Эта встреча казалась ему еще страшнее, чем там, в госпитале. Несколько секунд они смотрели друг на друга, онемевшие, потрясенные... Первой бросилась к нему Поля.

В глазах ее он увидел испуг, как и тогда в госпитале, поразивший его, будто удар ножа. «Не примет... Не нужен я ей такой... калека», — болезненно пронеслось в его голове.

Бледная, она опустилась на колени и, жадно целуя его, говорила сквозь слезы:

— Милый мой, родной... Как я рада, что ты вернулся... Не тревожь себя... Не думай ни о чем... Я буду работать, нам хватит... Как-нибудь проживем... Ну вот и хорошо... снова мы вместе.

Взволнованный Пимен смотрел ей в глаза. В них уже не было испуга, а светилась тихая, кроткая радость.

— Я тоже каким-нибудь делом займусь. Ведь руки у меня есть, голова цела. Пойду к Македону на выучку, столярным мастерством овладею, буду тебе помогать.

Пимену хотелось как-то оправдать свое увечье, хотелось подбодрить и утешить Полю. Он все понял, войдя в дом, понял, как тяжело живется ей, но он постарается не обременять ее и найдет какую-нибудь работу. Обо всем этом они еще потолкуют и посоветуются с Полей, а сейчас ей надо уходить. Возвратилась из фронтовой поездки Софья, и служанка обязана быть возле хозяйки. Умолчал Пимен о своей недавней встрече со слободской богачкой в заснеженном поле, не рассказал жене, чтобы не тревожить ее лишний раз.

Поля вскоре ушла, а Таня нагрела в чугуне воды, внесла из сеней корыто, вынула вышитый рушник и пару чистого белья, добыла где-то даже кусочек мыла.

— Вы, тато, помойтесь с дороги, а я трошки на улице погуляю.

Пимен с удовольствием вымылся, и когда с улицы в теплую хату вернулась Таня, он сидел уже за столом чистый, причесанный, доставал из чугунка горячую картошку и, обжигая пальцы, солил и ел ее с большим аппетитом. А потом он лег на кровать, прислонив к стене костыли. Тане все еще не верилось, что у ее отца нет ноги и что вместо нее он прилаживает себе вот эту деревянную.

Утомленный отец скоро уснул. Таня тихонько ходила по комнате, убирая со стола, и время от времени подбрасывала в печку сухой валежник.

Мороз красиво разрисовывал оконные стекла, немного оттаявшие за день. В хате было тепло и тихо. Эту тишину нарушал лишь огонь, потрескивавший в печке. Иногда сквозь неплотно закрытые дверки с треском вылетали маленькие красные угольки и, падая на земляной пол, гасли, покрываясь серым мягким пеплом.

В темнеющем небе зажигались мерцающие звезды.

19

В тот же вечер, узнав о приезде Софьи, Трофим Иванович решил навестить сестру. Его очень интересовала ее поездка, особенно хотелось узнать Трофиму Ивановичу, удалось ли Софочке получить новые заказы.

Софья, приняв ванну и надев халат, устроилась в мягком кресле у камина.

Покойный Изаров в зимние вечера любил сидеть ря-

дом с ней, наблюдая, как яркое пламя сухих березовых дров отражалось на ее молодом лице, делая его еще красивее. Он купил для нее рояль, и даже откуда-то привез учительницу-француженку, но после первых же уроков Софья невзлюбила учительницу и ее скучные уроки. Не давалась ей музыка. Изаров хоть и редко, но играл на рояле сам. Софья тогда садилась в кресло, следила за его руками, быстро бегавшими по клавишам, вспоминая Якова и его гармошку.

Служанка Поля внесла вязанку дров и, сбросив ее на пол перед камином, ушла. Софья сама подкладывала в камин, любуясь веселой игрой красных язычков пламени.

Не постучав, тихой, крадущейся поступью вошел в гостиную брат, внося с собой острый запах керосина, селедки, дегтя. Этот тяжелый дух исходил от его пальто, настолько засаленного, что оно казалось кожаным.

— Греешься, Софочка? — спросил он подобострастно, подходя к сестре.

— Ой, какой же ты... вонючий... Сбросил бы хоть свое пальто там.

Трофим покорно вышел, разделся в коридоре и снова появился в гостиной.

— А мне люди передали: «Приехала Софья Ивановна». Так я запер свою лавку и сразу к тебе. Здравствуй, Софочка! Здравствуй, родная сестрица!

Она неохотно подала ему руку. Трофим это заметил, но промолчал, пододвинул ближе к камину кресло и сел. Софья, скользнув глазами по его не совсем чистой одежде, на этот раз ничего не сказала.

— Дров много тратишь. Невыгодное дело... Баловство одно эта печь.

— Не печь, — поправила его Софья, — а камин. Во всех хороших домах они есть, камины.

Брат не стал больше возражать, а, грея руки у огня и прищуривая хитрые глаза, спросил:

— Как ездилось тебе, Софочка? Рассказывай — что новенького привезла? Видела нашего Сашеньку? Не спрашивала его, куда это девает он деньги? Тянет и тянет. Сто рублей выслали... Подумать только, сто рублей, а он снова просит. Вот письмо на днях получил.

Но письма Трофим Иванович не показал, а Софья,

поправив на груди халат и посмотрев брату в лицо, сказала:

— Больше он у тебя денег не будет просить.

Она заметила, как в глазах брата засветилась радость и смутная надежда на какую-то приятную для него новость. «Может, новый чин получил Сашенька, а значит, и большее жалованье. Но почему же сразу не сказать об этом, а так вот томить. Нехорошо. Переменилась Софочка. Приятно ей помучить старшего брата. А зачем?» Трофим Иванович снова стал жаловаться сестре на то, что сын выматывает у него последние деньги.

— Скоро по миру с сумой пустит родителей. — И, сгорая от нетерпения узнать правду о сыне, спросил: — Значит, добился он своего, Александр? Какой же чин ему дали? Может, теперь он и мне сможет помогать? А?

Софья колебалась: сказать сразу страшную весть — значит поразить его в самое сердце. На это она не решилась и подготовляла его осторожно.

— На фронте, Трофим, я видела, как разрываются снаряды.

Он насторожился, посмотрел на нее и удивленно воскликнул:

— Ты? Видела разрывы снарядов? Так близко была от позиций? Ай-ай-ай! Нельзя тебе там бывать. Вдруг шальная пуля заденет! Нехорошо, Софочка, лезть, куда не следует. Разве можно? Снаряды... Это тебе серьезная штука. И пуля тоже может убить.

— Был такой случай... Могло убить — только не пулей, а осколками. Еле удрала. Навеки тот день запомню.

— Ты шутишь, Софочка? Правда, шутишь? — засмеялся Трофим Иванович, похлопывая сестру по упругим бедрам. — Ну, не дразни, рассказывай, только без шуток.

Она стала рассказывать, а он жадно слушал ее. И когда Софья остановилась чуть передохнуть, Трофим Иванович нетерпеливо спросил:

— Ну, и как же, расстреляли Черкашина этого?

— Нет. Разорвался на поляне немецкий снаряд. Поднялась паника, и большевик этот... А впрочем, не знаю, что с ним было потом. Я сама еле выскочила оттуда.

— Видишь, Софочка, видишь? Разве можно так рисковать собой? А вдруг бы тебя убили?

— Тебе досталось бы все мое богатство, — пошутила Софья, следя за братом.

Трофим Иванович, потирая руки, угодливо засмеялся.

— Такое скажешь, Софочка: «Тебе досталось бы». Зачем мне твое богатство? У меня есть бакалейная лавка. — И он, хитровато подмигивая глазом, допытывался: — Ты, Софочка, наверно, и денег привезла? Задаток по договорам?

— Привезла.

И Софье почему-то захотелось похвастаться перед братом. Она подошла к шкафу, отомкнула его, вынула шкатулку красного дерева, подаренную ей еще Изаровым. Трофим Иванович жадно следил за каждым ее движением. Ничто так не разжигало его жадность, как деньги, особенно червонцы. Но сейчас Трофим Иванович увидел целые пачки ассигнаций. Софья раскладывала их на столике, словно игральные карты. И когда она вынула последнюю пачку сторублевок, на дне блеснуло золото. Софья нарочно встряхнула шкатулкой, и одна монета, вылетев из шкатулки, закатилась под массивный диван.

Трофим Иванович с кошачьей быстротой бросился доставать червонец. Он просунул под диван свою длинную худую руку и вытащил монету.

— Новенький... Ишь ты, как переливается. Мне бы такой червончик.

— Возьми. Пусть будет на развод, — улыбнулась Софья. — Видишь, Трофим? Вот так работай, как я. Еще несколько таких выгодных операций — и я буду иметь в десять раз больше.

— Боже мой! — всплеснул руками брат. — Мне бы хоть половину этого, и то я бы вот такую свечу поставил в церкви Николаю-угоднику.

— Такой не поставишь. Пожалеешь денег. Ты очень жадный, Трофим.

— Ну, тогда вот такую, — показал Трофим Иванович чуть поменьше размер свечи. — Такую бы поставил. — И он продолжал следить за Софьей, как голодный кот следит за шуршащей где-то под комодом мышью.

Софья, положив деньги обратно в шкатулку, поставила ее на прежнее место и уселась возле камина. Она все еще не решалась сказать брату страшную правду о сыне.

— А ты, Трофим, никогда не видел, как разрываются снаряды?

Он поднял голову, пристально посмотрел на Софью, не понимая, зачем она снова начинает разговор о войне.

— Где же мне видеть? Я на позиции не был... Вот ты бы про Сашу мне рассказала. Как он там? Получил ли новые награды?

— Трофим! Я скажу тебе правду. — Голос у Софьи стал твердым, решительным. Почувствовав что-то недоброе, Трофим Иванович насторожился. — Что бы ты делал, если б твоего сына... убили?

— То есть как убили? — И, вдруг поняв все, Трофим Иванович вздрогнул, посмотрел на сестру, потом на икону, перед которой горел синий огонек лампады.— Царство небесное новопреставленной душе раба твоего. — И он, широко перекрестившись, сказал: — Я-то думал — в чине его повысили, новую награду получил, а он... преставился, значит...

Софье стало страшно. Никакой перемены в лице брата. Как будто убили не его родного сына, а совсем постороннего человека. Трофим Иванович снова сел на прежнее место, притворно вытер носовым платком сухие глаза.

— Думал, помогать мне будет Александр.

— Его привезут в слободу... Ранен и Лукьянов сын. Такое несчастье... При мне все это случилось...

— А зачем же везти его в слободу? Разве не все равно, где лежать мертвому? Так и расходов было бы меньше. Все ведь из моего кармана. Все я сам.. Может быть, ты, Софочка, хоть чуточку мне поможешь?

— Хорошо, я помогу.

Он с благодарностью пожал ей руку. Рука была у него костлявая, холодная, как у мертвеца.

Софья подробно рассказала ему все, что видела. Трофим Иванович не перебивал ее вопросами, слушал молча, а когда она окончила свой рассказ, он, загибая на руке длинные с черными ногтями пальцы, стал подсчитывать:

— Взять, к примеру, церковный хор — плати. Попу — плати. Землекопы к бедному даром пойдут, а мне придется им ставить магарыч — снова нужны деньги.

Софья смотрела на брата, и ее охватывал ужас. «Что это за человек, — думала она, — даже смерть родного сына его не трогает». И она пообещала сделать все, лишь бы только поскорее от него избавиться:

— Ну что ты там подсчитываешь? Я беру на себя расходы.

Он посмотрел на нее, но не стал больше благодарить.

— Пойду скажу жене. Вот видишь, как оно в жизни бывает! Высылали, высылали ему деньги — а что получилось? Все прахом пошло. Еще недавно сто рублей... Подумать только — сто рублей отослал! Целый месяц сами одну картошку ели.

Служанка подала ему засаленное пальто, закрыла за ним дверь. Трофим Иванович шел по улице, думая о похоронах, которые взяла на себя сестра. Неотступно стояла перед его глазами драгоценная шкатулка. А это ведь только часть денег, десятки тысяч рублей Софочкиного капитала лежат в банке. Вспомнились ее слова, оброненные случайно: «Если бы меня убили, тебе досталось бы все мое богатство». Эти в шутку сказанные слова глубоко запали ему в душу. Но тут же он вспомнил о брате Лукьяне. Случись что-нибудь с Софочкой, ведь он, Лукьян, тоже имел бы право на часть ее состояния. Трофим Иванович почувствовал глухую ненависть к брату. «Я ведь сам слышал, что о нем люди говорят: «Не похож Лукьян на породу Бессалых». И впрямь не похож. Рыжий он, а у нас порода чернявых».

У Трофима Ивановича росла зависть к Лукьяну, сумевшему за какие-нибудь полтора-два года так разбогатеть. Земли у него теперь — что у помещика, много лошадей, коров, есть свиньи, овцы, птицы разной полон двор. Каменный дом выстроил. Правда, дав взаймы денег, Софья помогла ему, но он уже давно возвратил ей долг. У Трофима Ивановича теплится надежда, что Софья, возможно, снова поедет на фронт — и ее, так же как и Александра, убьет шрапнелью или пулей. Тогда двухэтажный дом попадет в его руки. И дорогие ковры, украшающие комнаты, и добротная мебель, и ценные картины — все это достанется ему одному. Ничего не даст он брату. Ведь кто нашел для Софочки богатого жениха? Он, Трофим Иванович, нашел. Его стараниями все добыто. Он, разумеется, и только он должен быть наследником всех ее богатств.

Крылатая мечта уносила его к тому счастливому дню, когда он станет владельцем всего движимого и недвижимого имущества сестры. Служанку — долой! Картины можно на ярмарке продать по сходной цене. А ковры...

С коврами дело сложнее. Кто же их купит в слободе? А вот в Харьков бы их отвезти — там покупатели, пожалуй, найдутся, можно хорошие деньги взять. К чему в доме роскошь? Случится, зайдет недобрый человек, увидит — и сразу догадается, что богато живут. Гляди тогда в оба да бойся грабителей. Нет, это все придется распродать, так будет спокойнее.

Бессалый споткнулся о столбик, присыпанный снегом. Течение приятных мыслей нарушилось.

В окнах его дома горел свет. Плотно прикрыв калитку, Трофим Иванович не спеша направился к крыльцу, обмел веником снег с валенок, как обычно, вошел в дом. Дети уже спали. Олимпиада сидела в полутемной спальне, освещенной слабеньким огоньком лампады, и, слегка покачивая головой, смотрела невидящими глазами в одну точку. Это покачивание так и осталось у нее после памятного случая, когда Трофим Иванович чуть было не задушил ее. Убитая горем, она не заметила даже вошедшего мужа. В ее безжизненно опущенной руке белел исписанный листок бумаги.

Трофим Иванович молча взял листок и при свете слабого огонька лампады прочел извещение о смерти сына.

— Говорил же я тебе, Олимпиада: не надо высылать. Триста сорок пять рублей... У меня все записано. Подумать только, какие деньги пропали зря! Кто их вернет теперь? Кто? Убит... Картечью убит. Софья видела его смерть.

Олимпиада сидела на прежнем месте, в той же позе, только голова у нее тряслась сильнее. Она не слышала, о чем говорил ей муж.

— Если б ты была из хозяйской семьи, ты бы умела ценить каждую копейку, — даже в такую минуту он не удержался, чтобы не напомнить ей о ее бедности в прошлом.

Много лет после женитьбы он продолжал мучить ее подозрениями в воровстве, часто избивал, допытываясь, не носит ли она своим родителям деньги, сахар, подсолнечное масло или чай. Позже, когда ее отец и мать умерли, Трофим Иванович ссорился с ней из-за Александра, для которого Олимпиада готова была отдать все. Александр был ее первенцем, самым любимым сыном. Она вытерпела от Трофима столько оскорблений, побоев, обид, пе-

режила столько унижений, что сейчас уже была совершенно равнодушной не только к ругани мужа, но даже его побои принимала, как покорное животное, не защищаясь.

Единственное, чего желала она теперь, — смерти. Но самой ей страшно было наложить на себя руки. Удерживала ее от самоубийства также и мысль о младших детях. Трое их у нее осталось, но нет к ним у матери той самоотверженной любви, какую испытывала она к своему Сашеньке. И никогда бы не поверила она тому человеку, который сказал бы ей правду о сыне, о том, какое у него жестокое сердце, как бесчеловечно относится он к солдатам, как безжалостно избивает их за малейшие проступки.

Вечерами она горячо молилась за здоровье сына, прося всевышнего уберечь ее любимца от случайной пули, от безжалостной смерти, от злых болезней и простуды. Но, видно, не дошли до бога материнские молитвы. Забрал он у нее единственную радость в жизни, единственную ее отраду. И, убитая горем, сидит она сейчас в маленькой комнатке, качая головой, а бледные губы ее еле слышно шепчут:

— Нету... нету Сашеньки... Убили... сыночка... родного...

— Ужин мне приготовь да зажги лампу.

Бессалый, сняв пальто, аккуратно повесил его на гвоздик, сел у стола, молча посмотрел на икону, освещенную лампадкой. В фольговой отделке ризы ему все мерещилось золото. Глаза его горели ненасытной жадностью, а беспокойные мысли уносились к Софочкиной шкатулке, вытесняя из головы даже страшную весть о сыне.

«Господи, ну зачем ей одной такое богатство? Ни детей, ни мужа. Вдова...»

За дверью тихо. Немощно и одиноко мерцает перед иконами огонек лампады. Трофим Иванович попрежнему смотрит на него, не отрывая глаз. Вдруг он вздрагивает, воровато косясь на дверь. Греховная мысль поражает его разум. Он боится, что вот сейчас войдет Олимпиада и догадается обо всем.

Ежась, Трофим Иванович тихо и осторожно подкрадывается к иконам. «А что, если богу уже все известно?» — думает он, объятый ужасом.

— Господи, — виновато шепчут его губы, — господи, не вводи во искушение, избави мя от лукавого.

Широким, размашистым жестом он трижды осеняет себя крестным знамением.

20

На перроне стоит Олимпиада. Женщины поддерживают ее под руки. Они успокаивают ее, не подпуская к вагону, где толпятся родственники. Олимпиада не сводит глаз с мужа. Вот он заходит в вагон и почему-то долго не появляется оттуда, заставляя мучиться несчастную мать. «Что он там делает? Почему не выносят гроб?» — думает она, боясь в то же время этой страшной минуты.

Появляется в дверях вагона денщик Глеб Калмыков, которому приказано доставить тело офицера в родную слободу. Он деловито осматривает толпу, выбирает мужчин и парней, ведет их в вагон.

Олимпиада тоже бросилась к вагону, но ее удержали женщины, уговаривая:

— Нельзя... у тебя сердце слабое. Подумай о меньших детях.

— Ничего со мной не станется... Пустите... Прошу вас, пустите меня к нему. Ведь я мать...

И вот она пришла наконец, эта страшная минута. В дверях вагона показался, слегка покачиваясь, тяжелый гроб. Олимпиада, взглянув на него, потеряла сознание.

21

Несколько раз в светлицу заходил Трофим Иванович, зачем-то ощупывал гроб, царапал его ногтем, а потом, надев пальто и укутавшись башлыком, не говоря ни слова, вышел на улицу.

Поднималась метель. Холодные, колючие снежинки, кружась в воздухе, секли по лицу, ослепляли. Трофим Иванович щурился, натягивал ниже башлык, продолжая идти дальше. Возле двора Македона остановился, колеблясь: заходить или нет? Постояв немного, он решительно направился к калитке.

Македон распиливал доску — мастерил кому-то стол.

На земле валялись кленовые стружки, пахло столярным клеем и лаком. Трофим Иванович, поздоровавшись с хозяевами, не спеша снял башлык, стряхнул у порога снег.

— Ну и метет! Такая вьюга поднялась, света божьего не видать. — Он подошел к верстаку. — Есть к тебе просьба, Андрей Степаныч. У тебя тоже сын на войне, и ты меня поймешь...

— Слышал. Моя старуха уже говорила... Значит, правда?

— Правда. Привезли тело Александра, и я хочу, чтобы для него ты сделал гроб. Я достану сухих липовых досок, принесу их к тебе, а уж ты, Андрей Степаныч, не откажи. Такое горе у меня, такое горе свалилось на мою голову... Старший сын... помощник... Приходится хоронить, — и он, наклонив голову, вытер носовым платком сухие глаза. — Вырастил сокола — и нет его... убили...

— Стол можно и потом доделать. А ты, Андрей, уважь человека, — сказала отзывчивая к людскому горю Македониха, вспоминая в эту минуту Якова. Ведь он тоже на войне, и его так же могут убить, как вот убили Александра.

При одной только мысли об этом Македониху обдало холодом, сжалось от щемящей боли сердце. Она затихла, прислушиваясь к тому, о чем говорили мужчины.

— А разве его не в гробу привезли? — спросил Македон.

Не сказал ему Бессалый правды, что ему жаль закапывать в землю такой дорогой, дубовый, оцинкованный гроб, за который при случае он мог выручить хорошие деньги. Ведь можно сделать другой, подешевле, покрыть его лаком, и будет хорош. А доски Бессалый возьмет на Софьином складе.

— Спрашиваешь, в гробу ли его привезли? В гробу. Но когда снимали крышку, она почему-то раскололась пополам, — лгал Трофим Иванович, не глядя столяру в лицо. — Так я закинул крышку на чердак. А завтра мы думаем его хоронить. Уж ты, Андрей Степаныч, помоги мне в таком горе. Олимпиада плачет, ребятишки плачут, и сам я тоже — как взгляну на него, сердце на части разрывается, — говорил он, стараясь еще больше разжалобить хозяев, чтобы Македон и вовсе ничего не взял с него за работу.

Во время этого разговора внимание Трофима Ивано-

вича привлекла к себе стамеска, лежавшая на верстаке. Узенькая, она напоминала штык русской винтовки и, наверно, была очень острая. Косясь на нее, он рассказывал столяру все, что слышал от Софьи и денщика Глеба Калмыкова.

— Ваш Яков тоже там был. Только о Якове они мне ничего не говорили.

Македониха насторожилась, услышав имя сына, побледнела, и муж, угадав ее мысли, начал успокаивать:

— Ничего, старуха, ты не бойся. Наш Яков жив. Чего ты так испугалась? Софья не видела, что было потом, когда снаряд разорвался. И Глеб тоже не мог видеть. Ведь он тогда за кучера был при ней. — Желая быстрее прекратить этот разговор, столяр предложил: — Вы, Трофим Иванович, привозите доски, а я схожу мерку сниму.

— Мерку с меня можно снять. Мы с ним одного роста, — всполошился бакалейщик, боясь, что ложь будет сразу же раскрыта, как только столяр придет в его дом: крышка-то ведь цела, и гроб еще не раскрывали.

— С живого человека оно как-то... того... не совсем сподручно... — замялся было мастер, но Трофим Иванович настаивал:

— Зачем идти? На дворе такая метель. А что с живого человека мерку брать — это ничего. Ты не смущайся, знай свое дело.

Мерка была снята. Приближалась самая неприятная для Бессалого минута — когда ему придется договариваться о цене за работу.

— Столько расходов у меня... Певчих возьми — плати, попу — плати, землекопам...

— Не беспокойтесь, понимаю... мне только доски доставьте, а за работу ничего не надо.

Бакалейщик, поймав крепкую теплую ладонь столяра, с благодарностью пожал ее. И снова стамеска привлекла его внимание.

Трофим Иванович взял ее в руки, с любопытством рассматривая сталь. Он попробовал лезвие — оно было отточенное, как бритва.

— Дырки ею выдалбливаешь?

— Все, что придется, — ответил столяр, удивляясь, как в такую минуту человека может интересовать обыкновенная стамеска.

— Остра! — сказал гость и положил инструмент на место.

Распахнулась дверь. В комнату ворвался морозный воздух, стелясь под ноги холодным туманом. Вошел Пимен Базалий. Он снял шапку и стряхнул с нее снег.

— Здравствуйте!

— Здравствуй! — ответил столяр. — Проходи, садись.

Македониха поспешно предложила гостю стул.

— Значит, «георгия» заслужил? — Трофим Иванович осторожно притронулся к холодному кресту, на котором искрились капельки от растаявших снежинок. — Что ж он, крест, из всамделишного золота или позолоченный?

— Не надо никаких наград, только бы нога была целая.

— Моли бога, что жив остался. Видел, нашего Александра привезли...

Трофим хлопотливо начал завязывать башлык и, поглядывая на Пимена, спросил:

— Ну как же ты теперь? Что думаешь делать?

— Вот к Андрею Степановичу пришел. Хочу столярное мастерство изучить, да не знаю, примет ли он меня в ученики.

Македон смахнул с верстака стружки, посмотрел на Пимена приветливо и ласково.

— Приму. Научу. И столы будешь мастерить, и стулья, и шкафы — все, что потребует заказчик. Видишь, Якова нет, его верстак стоит без дела. Снимай-ка шинель да становись на рабочее место, начну тебя обучать ремеслу.

— Нет, Андрей Степаныч, обучать его будешь потом, а сегодня ты гроб сделай. Доски-то я живо доставлю.

Бессалый вышел из хаты. Провожала его Македониха. Она остановилась у ворот и долго смотрела ему вслед, думая о Якове. Все слышанное от Трофима Ивановича навалилось на нее как тяжелый камень, и не было у нее сил свалить его, душа ее была объята тревожным предчувствием чего-то страшного, что могло случиться с ее любимым единственным сыном.

В тот же вечер Македон при свете керосиновой лампы писал Якову письмо. Утром Македониха отнесла его на почту, и полетело оно быстрокрылой птицей из родной слободы к далекому фронту, на передовые позиции действующей армии.

22

Черный закрытый гроб стоял на длинном столе головой к иконам. Горели восковые свечи. Их слабое пламя, колеблясь, освещало лицо Глеба Калмыкова. Он повторял свой рассказ, внося в него все новые детали, заставлявшие мать жадно его слушать.

Ей тяжело было слушать денщика, не растравляя еще больше свежей раны, но какая-то неудержимая жажда знать о сыне все, до конца, заглушала в ней все другие чувства, и она прислушивалась к тихому голосу рассказчика, боясь пропустить хотя бы слово.

— Ну, а потом, когда уже Софью Ивановну отвез, возвращаюсь я назад, — рассказывал Глеб Калмыков. — Возвращаюсь, значит, на передовую, а мне и говорят наши солдаты: опоздал, мол, отправили их благородие в госпиталь. На другой день я наведался туда. А там, гляжу, в часовне стоит вот этот закрытый гроб. Санитар мне говорит: «Пойдем в канцелярию, документы тебе выдадут».

Заходим. В комнате сидит за столом фельдшер, пьяненький. «Ты кто?» — спросил он меня. «Я, говорю, денщик». — «Фамилию, имя, отчество их благородия знаешь?» — «Как не знать? Ведь мы с ним земляки».

Все он записал, потом вручил мне предписание — доставить тело их благородия на родину. Я и доставил.

Денщика накормили и отпустили спать. Поздно вечером пришли две монашки: одна постарше, другая совсем молоденькая. Начали читать у гроба псалтырь.

Глеб Калмыков видел на войне сотни солдатских трупов. Никто не читал над ними псалтырь. Убитых воинов клали в большие братские могилы, закапывали и порой не ставили даже над ними креста. Но здесь, в тылу, всегда над покойником читают священные книги. Денщик прислушивался к негромкому певучему голосу молоденькой послушницы. Голос ее, мягкий, жалобный, трогал сердце, наполняя его невыразимой печалью.

Но мысли Глеба летели к фронту, вызывая в душе смутную тревогу. Вот завтра похоронят офицера, и снова Глебу Калмыкову придется ехать на передовые позиции. Может, пошлют в окопы, а может быть, снова отдадут в денщики к какому-нибудь офицеру и тот будет издеваться

над Глебом точно так же, как издевался над ним Александр Бессалый, возвращаясь в землянку после неудачной картежной игры.

Всю свою досаду и картежные промахи он вымещал на своем денщике. И хотя прапорщик Бессалый был его земляком, но Глеб несказанно рад случаю, освободившему его от издевательств и частых побоев.

«Может, другой-то офицер попадется добрее», — думал он, прислушиваясь к певучему голосу.

Дверь была слегка приоткрыта, и Глеб хорошо видел молодое, опечаленное скорбью лицо послушницы, державшей в руках восковую свечу, видел ее зрачки, привычно бегавшие по страницам псалтыря. Глеб, слушая ее, старался понять смысл священного письма.

— «Преклони, господи, ухо твое и услыши мя, яко нищ и убог есьм аз...»

У гроба на коленях стояла мать. Она безмолвно глядела на иконы. Ни слез, ни мольбы. Словно окаменела ее душа, став равнодушной ко всему окружающему. И только изредка бледные дрожащие губы ее еле слышно повторяли дорогое имя:

— Саша... Сын мой... Сашенька...

Вот монашенка перевернула страницу, и восковая горячая капля упала на пожелтевшую бумагу псалтыря, быстро на ней застывая.

— «Господи, услыши молитву мою...»

И Глеб услышал, как вдруг вырвалось из материнской груди долго сдерживаемое рыданье. К ней никто не подошел, никто не попытался ее успокаивать. Пусть поплачет. На стульях и лавках разместились старушки, без которых не обходятся в слободе ни одни похороны. Тихонько разговаривая между собой, они будут сидеть вот так всю ночь и только перед рассветом разойдутся по своим домам.

Глебу тяжело было смотреть на мать, убитую безутешным горем. Ее слезы волновали солдата, вызывая в нем жалость и сострадание к ней.

На рассвете к Глебу зашел Трофим Иванович.

— Не спишь?

— Что-то не спится...

— Тогда вот что... вставай-ка, Глеб, да помоги открыть мне гроб.

Все посторонние ушли, осталась только своя семья.

Трофим Иванович взял топор. Сильнее зарыдала мать, жалобно заплакали меньшие братья. Сняли крышку. Трофим Иванович отшатнулся, дико вытаращив глаза. Из его рук выпал топор, воткнувшись в крашеный пол.

В гробу лежал Лукьянов сын Александр.

23

Не постучав в дверь, Лукьян в тулупе, в заячьей шапке и в охотничьих сапогах ввалился в Софьину комнату. На плече у него висела двустволка, а сбоку — два зайца, убитых в лесу.

Следом за хозяином вошла его любимая собака Валет, купленная в соседнем уезде у лучшего охотника и несусветного пьяницы. Купил он ее, не торгуясь. И теперь почти не было случая, чтобы Лукьян возвращался с охоты без добычи.

— Лукьян, да ты в своем уме? — всполошилась Софья. — С зайцами — в комнату?.. Ведь ты кровью испачкаешь дорогой ковер. И собаку выгони сейчас же!

— Не беспокойся, Софья. Собака у меня ученая, она все понимает, как человек. Верно говорю. — И он тут же приказал Валету: — Ложись!

Собака, поглядев умными глазами на хозяина, отошла от него и легла на указанное место у порога.

— Вот что, Софья, ты мне зайца поджарь с картошечкой, с перцем да с лавровым листом. Лучше тебя никто не умеет приготовить. Хочу помянуть убиенного сына. Сегодня сороковой день как похоронен.

От Лукьяна несло водкой. Он все время улыбался и щурил глаза так, что вместо них оставались только узенькие щелочки, в которых ярко горели два черных, с хитринкой, зрачка. Выпил ли он один, отправляясь на охоту, или с друзьями, Софья не знала, но она сразу догадалась, что сын здесь ни при чем. Не за этим, видно, пришел он к ней, и, глядя в его прищуренные глаза, Софья старалась угадать истинную цель посещения. Молчаливый, даже угрюмый в трезвом состоянии Лукьян под хмелем любил пошутить. Он даже раза два обнял за талию Софью, шепнув ей на ухо похабные словечки.

— Да ну, не балуй! Медведь! — отбивалась Софья от его больших, сильных и почему-то всегда красных рук.

Но Лукьян заметил, что сестра в хорошем настроении

и у нее можно будет сегодня погулять. Софья ничего не расскажет его жене — маленькой сварливой женщине, ревновавшей его, не без основания, к солдаткам и молодым вдовушкам.

Лукьян часто уходил в лес на охоту, убивал зайцев, но, как правило, эти зайцы попадали в руки какой-нибудь зазнобушке, с которой он охотно выпивал, закусывая сытной зайчатиной. То ли соседки, то ли всевидящие кумушки сообщали обо всем Лукьяновой жене, и когда он, отрезвевший, возвращался домой после бурно проведенной ночи, она набрасывалась на него, как разъяренный хорек. Глаза ее злобно горели, личико морщилось, напоминая печеное яблоко, она яростно выкрикивала обидные слова, а ее твердые кулачки густо сыпались на его широкую спину. Он, лениво отстраняя ее рукой, успокаивал:

— Ты что, одурела? На кого руку поднимаешь? На законного мужа? Отстань!

— Бабник проклятый! Окаянная твоя душа! Чтоб тебе ни дна ни покрышки... Чтоб тебе...

— Врут ведьмы... Не был я у баб... Вот крест святой, не был... наврали тебе злые языки, поссорить нас хотят. Сама подумай: стал бы я божиться?

Эти слова действовали на жену успокаивающе. Она утихала, пока не повторялся снова такой же случай.

Больше всего на свете боялся Лукьян жены. Чтобы избавиться от домашних сцен ревности и избежать ненужных ссор, он, как-то встретившись с лесником, сказал ему:

— Слушай, Мефодий... Дельце к тебе есть. Мне, понимаешь, надо поговорить в лесной сторожке с одной вдовушкой... наедине...

Мефодий сразу понял его.

— Хата у меня, брат, больно маленькая... Бедность... К таким встречам не приспособлена.

— Слушай, Мефодий, ты не хитри. Я тебя насквозь вижу. И не вздумай возражать, — раздраженно сказал Лукьян, и в глазах его зажглись недобрые огоньки. — Сам знаю, не маленький... «Не приспособлена». А для меня, может, лучшей и не надо. Не барин я — мужик. Только гляди у меня, — пригрозил он, — об этом никто не должен знать, если хочешь оставаться лесником. Понял?

— Понял.

— Вечерком, как она появится, вдова эта, ты в обход пойдешь

— Добре.

Бедные вдовушки и некоторые солдатки, жившие в большой нужде, посещали лесную сторожку. Лукьян поил их водкой, ласкал молодиц, а потом, расставаясь, совал им в руки какой-нибудь подарок.

О гульбищах в лесной сторожке скоро проведала жена. И теперь Лукьян искал новое убежище для распутства. Понравилась ему одна молодица, работавшая в мастерской Софьи. Давно он следит за ней, и вот сегодня, убив двух зайцев, Лукьян будто мимоходом завернул к сестре, надеясь, что она сумеет устроить ему встречу с солдаткой.

— Закуска будет отличная, а водочку принесет Базалииха. Я денег ей дам. А для тебя, Софья, пусть прихватит бутылку лучшего вина. Для такой сестры, как ты, ничего не пожалею.

— Никуда не нужно посылать. Все у меня есть — и водка, и вина лучших сортов. Ты у меня всегда желанный гость...

Софья подошла к буфету и достала бутылку коньяку и полбутылки рому.

— Подарочек фронтовой. Полковник лично распорядился...

— Завидую тебе, Софья. С такими людьми теперь водишься.

В зрачках брата заиграли озорные огоньки. Софья, угадав его похабные мысли, предупредила:

— Нет, нет, даже не думай... Ничего такого не было. Он только руки мне целовал и все о своей бабушке рассказывал... Скучно с ним. Стар, неповоротлив, как мешок... Не люблю таких.

— А если б молод был?

— Ну, тогда другое дело.

— Люблю тебя, Софья. Умеешь ты работать, и голова у тебя на плечах! Я вот иногда думаю о нашем Трофиме. В кого он удался? Жену чуть было не придушил, деньги спрятал... Спасибо, что ты это дело замяла и его, дурака, спасла. Ведь, наверно, под суд пошел бы, а там и до

тюрьмы недалеко. Главное — слеп, дальше своего носа ничего не видит. — Он искренне и громко рассмеялся.

Софья подошла к нему, шутя схватила за чуб.

— Хитрущий ты. Все видишь, все понимаешь.

— Для того живу, чтобы видеть и понимать. Так-то, сестренка. — И он, нахально обняв ее за талию, сказал: — Хороша ты, бабонька. Ух и хороша!

Софья погрозила ему пальцем.

— Не балуй! Рыжий черт! Догадываюсь, что мои тысячи тебе пошли на пользу. Много накопил?

— Не считал, — ответил уклончиво Лукьян. — Машины сельскохозяйственные купил, молотилку, плуги, сеялки — все, что в хозяйстве нужно.

— Я вижу, ты стал настоящим хозяином. И вот думаю порой: есть, Лукьян, люди побогаче нас. Они заводы имеют, фабрики. Тысячи рабочих у них. С такими бы тузами подружиться, приглядеться, как они живут, как работают, да поучиться у них. А? Как ты думаешь?

— Ну что ж, в добрый час на добрые дела. Видать, планы у тебя большие. А меня, Софья, другие думы тревожат. Хочу жить, как помещик. Да, да, мужик я и руки у меня — во, гляди какие, земляные руки, но я ими крепко за нее, матушку-землицу, держусь, как дуб вековой. Не оторвать меня от земли, потому как она кормилица и отрада моя. Запомни, Софья, не хвастаясь говорю тебе: рано или поздно, но я своего добьюсь, обязательно добьюсь! Судьи в моих руках. Как скажу, так по-моему и будет. Иная солдатка придет, чуть не плачет. Детишки малые, есть нечего. Помоги, мол, Лукьян Иванович. Почему не помочь бедному человеку? Денег надо — дам и денег. Муки просит — дам муки. Жду. Пришло время долг возвращать, а возвращать-то нечем. Я в суд. Что у солдатки есть? Земелька. Я ее, матушку, по суду, значит, к своим десятинкам и прирежу. Они-то, десятинки мои, и растут, словно грибы после дождика. Иной раз утречком выйдешь в поле, глянешь, как хлеба колосятся, и на душе станет тихо и радостно. Моя земля, мои хлеба... Хорошо!

— Обижаешь ты людей.

— Без обиды в моем деле никак обойтись нельзя.

— Я не об этом.

— А, насчет баб? — догадался Лукьян и тут же сознался: — Грешен. Попу на духу не признаюсь, а от тебя,

Софья, скрывать не стану. Люблю их. Ласку их люблю. Иная попадется до того жадная да горячая...

— Ох, рыжий развратник! Вот пойду к твоей жене, расскажу...

— Не расскажешь. Ты лучше скажи, Софья: приведешь мне солдатку? В твоей мастерской работает.

— Кто же она? Может, Марина Сукачева? Так ведь я ее выгнала.

— Да нет же. Зачем Марина! Есть краше. С Метеличихой хочу погулять вечерок.

— Не пойдет она.

— А ты прикажи. Ты над ними начальница, хозяйка — обязаны слушаться.

— И не стыдно тебе в такие дела сестру впутывать?

— Я знаю: ты, Софья, всегда была ко мне доброй. А солдатке не говори правды... Пригласи к себе в комнату — и все. Будто для дела ее вызываешь, а там видно будет. Ну, позовешь?

— Что с тобой делать? Придется уважить. Как-никак брат все же.

В разговорах незаметно пролетело время. О своем сыне Лукьян больше не вспоминал.

Вошла служанка Поля, сообщила, что зайцы приготовлены, и спросила, можно ли подавать на стол.

— Можно. Все неси. А потом иди домой, — сказала Софья, и Лукьян понял, что сестра не хочет иметь свидетелей.

Через несколько минут стол был уставлен кушаньями. Хорошо поджаренные зайцы, залитые жиром, лежали на фарфоровом блюде. От них поднимался такой ароматный запах, что Лукьян даже глаза прищурил, предвкушая удовольствие.

Софья, накрыв кушанье блюдом, чтобы оно не остывало, вышла из комнаты. Лукьян догадался, куда она ушла. Став перед зеркалом, он старательно пригладил волосы, расчесал пальцами рыжую, как охра, бороду. У порога лежал Валет, умными глазами следил за своим хозяином. Лукьян бросил ему кусок хлеба, и проголодавшаяся собака с жадностью проглотила его, подобрав даже крошки. За дверью послышались шаги. Лукьян с нетерпением ждал. Открыв дверь, Софья сказала молодице:

— Заходи! Не бойся, собака не кусается. Я ж тебе говорила, посторонних нет. Все свои.

Солдатка много слышала о похождениях Лукьяна, и сейчас, увидев его, хотела повернуть обратно, но встретила острый, недовольный взгляд хозяйки, услышала угрожающий шепот:

— Подумай. Я могу тебя выгнать с работы, как Марину Сукачеву. Иди! — подтолкнула она в спину молодицу, и та пугливо переступила через порог.

— Что это ты, Метеличиха, так робко входишь? Али не признала меня?

— Я ничего... Я такая всегда... застенчивая...

— А ты будь посмелее. Не к туркам в дом пришла. Люди как будто свои... Ну, здравствуй!

Взяв ее за руку, Лукьян почувствовал, как женщина вздрогнула и, встретившись с ним взглядом, побледнела и опустила голову. И этот короткий взгляд, как огонь, ожег Лукьяна. Он невольно подумал о ней: «Ох, и хороша краля!» А вслух сказал:

— Вот зайцев убил из мужниного ружья. Прекрасное ружье было у Метелика. Да только одному мне скучно. Решил я угостить Софью и тебя свежей зайчатиной. Помянем покойника-сына. Садись, Метеличиха, садись рядом.

Но побледневшая Метеличиха продолжала стоять и только бросала полный тревоги взгляд то на Лукьяна, то на Софью. Никогда в жизни не испытывала она такого страха и жгучего стыда, как сейчас. Словно вольную птицу, поймали ее эти властные, недобрые люди, скрывая свой черный замысел, о котором она догадывалась.

В слободе было немало разговоров о Лукьяне, о его кутежах. Часто, напившись пьяным, он бесцеремонно заходил в дом к какой-нибудь солдатке. И не смей ему перечить ни в чем, если не хочешь нажить беды на свою голову. Лукьян злопамятен и жесток. Обиды никогда не забудет и не простит. С таким человеком не то что сидеть за столом, даже встречаться на улице Метеличихе было неприятно.

Лукьян взял ее за руку, усадил рядом с собой. Софья села напротив.

Лукьян начал с коньяка, а Софье и Метеличихе налил в стопки сладкого, но крепкого вина.

— Бери! — приказала Софья.

Метеличиха дрожащей рукой взяла красную стопку. Несколько гранатовых капель упало на дорогую скатерть.

— Ой! — вскрикнула она, испуганно взглянув на

Софью. — Еще не пила, а скатерть... Я выстираю потом... Дадите мне... Я знаю, как выводить винные пятна.

— Не беспокойся, — подбодрила Софья и, чокнувшись с братом, а потом с солдаткой, выпила до дна.

— Молодец, сестра! Умеешь работать, умеешь и пить!

— Чего другого, а пить... тут большого ума не надобно, — улыбнулась Софья и, заметив, что Метеличиха все еще держит свою стопку, сказала: — Такого вина ты еще сроду не пробовала. Пей до дна! Пей сразу!

Метеличиха выпила.

— Вот и отлично! А теперь я тебе зайчатины дам, — и Лукьян, отрезав лучший кусок, положил его на тарелку солдатке. — Ешь! Заяц вкусный...

Невольно вспомнилось Метеличихе недавнее прошлое, когда муж, возвращаясь с охоты, частенько приносил ей одного, а то и двух зайцев. Она приготовляла их точно так же.

— Ел я индюшек, ел рябчиков, перепелов, диких уток ел, но вкуснее зайчатины ничего на свете нет, — говорил Лукьян, закусывая.

В его бороде застревали крошки хлеба. Он этого не замечал. Софья подала ему полотенце. Лукьян молча вытер бороду, налил всем коньяку. Метеличиха, хлебнув немножко горьковатого и крепкого напитка, отставила стопку.

— Ты закусывай, голубушка, закусывай больше, — посоветовал Лукьян, крякнув от удовольствия. — Хорош коньячок... А ты, Софья, почему не ешь?

На лестнице послышались шаги. В комнату вошел Трофим Иванович.

— Как ты попал сюда? — удивилась Софья. — Ведь парадная дверь закрыта.

— Через черный ход. Что, я в твоем доме ходов не знаю?

И его завистливый взгляд на несколько секунд задержался на охмелевшем брате.

— Ишь ты, зайчатину кушаете? — И, не ожидая приглашения, он подсел к столу, налил себе вина и, ни с кем не чокаясь, выпил, потом уставился глазами на Метеличиху: а ты, мол, почему здесь?

Быстро все поняв, он нарочно стал ее расспрашивать о муже: часто ли шлет письма с фронта, собирается ли

приехать домой на побывку? Ведь, слышал Бессалый, Метелик тоже был ранен, как и Александр.

Расспрашивая солдатку, Трофим Иванович не сводил с нее глаз. Его презрительно-насмешливый взгляд смущал ее. Она угадывала его мысли и чувствовала еще большую растерянность, неловкость, стыд.

Недоволен был появлением брата и Лукьян. Вначале он молча слушал Трофима, потом, прямо глядя ему в лицо, спросил:

— Ты что сюда, по делу или просто так?

Лукьян видел с какой ненавистью метнул на него глазами брат. Но тотчас Трофим Иванович, овладев собой, кротко улыбнулся, вытер полотенцем рот и, глядя на сестру маслеными глазками, сказал:

— Я, Софья, к тебе не просто в гости...

— Снова хочешь денег просить? Не дам!

— Видишь, какая ты недобрая, Софочка, еще не знаешь, в чем дело, а уже сердишься. Я, Софочка, решил новый магазин приобрести и вот зашел к тебе, чтобы вместе пойти посмотреть. Думаю мануфактурой торговать и галантерейными товарами. Но для меня это дело новое, хочу осмотреть хорошенько, посоветоваться с тобой. Прежде чем деньги платить, надо увидеть собственными глазами. Может, пойдем? Это ненадолго. Ты сметлива... тебя они не посмеют обмануть. Помоги мне, Софочка, в новом деле.

— Ладно, пойдем! — согласилась Софья, вставая из-за стола.

Трофим Иванович больше не смотрел на брата, к которому давно чувствовал глухую неприязнь, переходящую часто в самую лютую ненависть. Но это чувство овладело им особенно сильно сейчас, когда он увидел Лукьяна в хорошем настроении, по-братски беседующего с Софьей. В нем проснулась зависть к брату. С ним вот, Трофимом, так никогда не посидит Софочка и не угостит вином, а старается всегда как можно скорее избавиться от него, словно он ей не родной брат, а совершенно чужой человек. В душе его поднималась обида на сестру, хотя эту обиду он ловко прятал в подобострастной улыбке, в голосе, вкрадчиво-жалостливом и заискивающем.

— Вы посидите, а я скоро вернусь, — сказала Софья, взглянув на Лукьяна.

Он понял ее быстрый, обещающий взгляд и благодарно улыбнулся.

Софья ушла с Трофимом, а Лукьян, закрыв дверь на ключ, положил его в карман.

— Зачем вы спрятали ключ? — с тревогой спросила Метеличиха.

— Видишь, зашел вот Трофим, а там, гляди, еще кого-нибудь принесет чертяка, а я хочу быть только с тобой, чтобы никто не мешал. — И раскрасневшийся Лукьян взял за плечо Метеличиху. — Хороша...

— Вы... не балуйте! — резко и гадливо отстранилась молодица, словно к ее телу прикоснулась лягушка.

— Ишь ты, какая недотрога! Выпьем еще, что ли? — и он наполнил рюмки. — Чокнемся?

Выпил, а ее рюмка так и осталась нетронутой.

— Отоприте. Мне надо идти в мастерскую.

Метеличиха решительно направилась к двери, но, услышав позади себя резкий окрик, остановилась.

— Стой! Валет, не пускать!

Собака, до сих пор спокойно лежавшая у порога, зарычала, оскалив белые острые зубы.

— Она тебя отсюда не выпустит.

Хмельной Лукьян подошел к Метеличихе. Сильной рукой притянул ее к себе.

— Не смейте... буду кричать...

— Глупенькая, зачем же кричать? Лучше по-хорошему... Я тебе подарочек... и денег дам...

Метеличиха с ужасом смотрела в его глаза, полные животной страсти, и отчаянно вырывалась из его сильных рук.

— Закричу!.. Не трогайте! Спасите! Спа-а-а...

Лукьян широкой потной ладонью закрыл ей рот, сломил гибкий стан, дохнул перегаром табака и водки ей в лицо.

Не помня себя, Метеличиха вцепилась зубами в его руку и вырвалась из объятий.

— Ах, так? Кусаться!..

Рыжие волосы взлохматились, глаза стали узкими, злыми.

— Все равно будешь моей!

— Добром прошу... не трогайте меня, Лукьян Иванович... Отоприте дверь. Мне надо уходить... Пустите

а то жене вашей расскажу... Возьму вот и расскажу... Как вам не стыдно?.. Пожилой человек...

Но он, не обращая внимания на ее слова, широко расставив руки, снова пошел на нее.

— Моей будешь, моей...

— Не тронь! Слышишь?

И в этих словах, произнесенных почти шепотом, прозвучала решительность и угроза. В глазах ее уже не было страха, они горели такой ненавистью, презрением, что Лукьян оторопел.

— Мне? Ты мне угрожаешь? Все равно возьму тебя...

Метеличиха схватила охотничье ружье.

— Не подходи! Буду стрелять!

Лукьян остановился. Молнией пронеслось в голове: «А вдруг бабахнет?»

Но он отогнал от себя нелепую мысль.

«Ну нет, не осмелится она стрелять в человека. Просто на испуг берет... Да я не из пугливых... Я баб не боюсь... И эта тоже будет моей... Будет!»

Платок сполз с головы женщины. Тяжелые пряди волос рассыпались по плечам, и она стала еще заманчивее, еще красивее, возбуждая в нем страстное желание овладеть ею.

«Хороша Метеличиха! Ух, и хороша, стерва!» — подумал Лукьян.

— Ты не выстрелишь... — громко сказал он. — Побоишься... Знай: за убийство — в Сибирь... да... да... на каторгу!.. А у тебя сын... У тебя муж...

— Открывай дверь! — оборвала его Метеличиха. Голос ее звучал властно. — Сейчас же открывай, рыжий дьявол!

— Положи ружье, глупая баба! — строго сказал Лукьян. — Это тебе не игрушка... Оно заряжено. — И Лукьян пьяно улыбнулся. — Ты не смотри, что я рыжий да некрасивый. Я могу приласкать... Я знаю, бабы мою ласку любят.

— Убью! — еще тише предупредила Метеличиха, но Лукьян или не поверил ее угрозе, или не расслышал, он сделал к ней шаг.

Вдруг громкий выстрел прозвучал в тихих комнатах изаровского особняка.

Лукьян даже не вскрикнул. Он только вытаращил на

солдатку глаза, в которых застыли изумление и животный испуг.

— Убила...

Покачнувшись, он упал.

Ни жива ни мертва стояла Метеличиха у стены. Она не думала стрелять, а только хотела напугать его и скорее уйти из этой проклятой ловушки. Выстрел раздался неожиданно для нее самой. Выронив из рук еще дымящееся ружье, она с ужасом смотрела на Лукьяна. Он не сводит с нее своих испуганных глаз, не стонет и никого не зовет на помощь.

Метеличиха увидела, как белая рубашка на груди у него начала покрываться красными пятнами. Молодица бросилась к двери, но верный хозяину пес зарычал на нее снова. Она дико шарахнулась назад к столу, бледная, растерянная.

Нужно взять у Лукьяна ключ и скорее звать на помощь людей. Вспомнились слова, сказанные только что им: «За убийство — в Сибирь... на каторгу... А у тебя сынок, у тебя муж...» Холодный пот выступил у нее на лбу.

«Да разве я хотела?.. Я ж вовсе не думала в него... так только, напугать хотела. Как же Володя? Что с ним будет? Что будет теперь со мной? Неужели тюрьма?.. Сибирь?.. Лукьян ведь живой... Его еще можно спасти... только вынуть бы из кармана ключ, отогнать от двери собаку. Сейчас...» — беспорядочно проносилось в ее голове.

Дрожащей рукой она попыталась достать ключ из его кармана.

Лукьян приподнялся, раскрыл рот, хотел что-то сказать, но упал лицом на ковер и, заливая его кровью, затих...

Послышались взволнованные голоса, тревожные крики:

— Люди, сюда! За мной! Скорее, черт вас побери!

Уже на лестнице слышен топот ног. Вот чьи-то кулаки резко и сильно застучали в дверь, а Метеличиха стоит беспомощная, будто окаменела.

У кого-то нашелся ключ. Открылась дверь.

В комнату вошла Софья, а следом за ней солдатки, встревоженные выстрелом. Стоя у порога, они с ужасом

смотрели на Лукьяна, лежавшего у окна, и на Метеличиху, лицо которой было белее стены. Смотрели и не понимали, что произошло: пьяный он так растянулся или убит?

24

Метеличиху отправили под конвоем в уездный город. Там ее будут судить и, может быть, угонят в Сибирь на каторжные работы, а может, посадят в уездную тюрьму.

Остался Володька один. Нельзя было спокойно смотреть, как вырывалась из рук стражников солдатка, умоляя отпустить ее домой хоть на минутку, чтоб попрощаться с сыном. Ее не пустили. А мальчик в тот день до поздней ночи ходил вокруг Софьиного дома, ожидая, когда же наконец выйдет из мастерской его мать. Но мать не вышла.

— Кого ждешь? — спросил какой-то мальчуган, узнав Володьку.

— Маму.

Мальчишка свистнул.

— Ищи ветра в поле... Твоя мама в Лукьяна Иваныча из ружья бабахнула. Ее увели в город стражники. Я видел, как ее вели, вон по той дороге, где телеграфные столбы.

Мальчишка убежал, а Володька стоял, ошеломленный страшной новостью.

«Мама... из ружья... Зачем ей стрелять в Лукьяна? Моя мама совсем не злая, она добрая, очень добрая. Я же знаю...»

В душе мальчика росли тревога, страх, отчаяние.

— Мама! Мамочка! Ма... — и, сорвавшись с места, он побежал по улице, не зная, куда и зачем.

Когда слобода осталась позади и Володя увидел перед собой дорогу с бесконечно тянувшимися вдаль столбами, ему стало жутко, словно там, где эти столбы сливались с горизонтом, начинался какой-то неведомый и страшный мир. Мальчик остановился. Сердце у него учащенно билось. Нигде ни души, только однозвучно гудели от ветра телеграфные провода.

«А может, наврал мне мальчишка? — пронеслось вдруг в голове. — Нужно спросить у Софьи Ивановны. Она, наверно, скажет правду».

То, о чем говорил ему мальчик, оказалось правдой. Впервые Володька ночевал в хате один, чутко прислушиваясь ко всякому шороху за окном. Соседи несколько дней присматривали за мальчиком, а потом оставили его; ведь у каждого были свои дети и свои заботы.

Вскоре Володька исчез из слободы. Может, ушел искать свою мать и, сбившись с дороги, замерз где-нибудь в снегу, может, попал в прорубь и утонул в реке, — только хата Метелика вот уже вторую неделю стояла закрытой. Соседи, видя, что хозяев нет, начали понемножку брать во дворе у Метеликов заготовленный на зиму хворост, а когда он кончился, добрались и до соломенной кровли сарая, вытаскивая снопики и оголяя жерди. Зима стояла лютая, а топлива купить было не на что.

О Лукьяне быстро забыли. Пролежав около месяца в слободской больнице, он вышел оттуда совершенно здоровым, только немного похудел, да глаза стали глубже и больше заострился нос. По дороге домой он зашел к Софье. Она была рада ему. Шутливо грозя пальцем, начала выговаривать:

— То-то, обжегся на одной, теперь больше не будешь развратничать.

Лукьян, посмотрев на сестру, засмеялся.

— Глупая баба, но отчаянная. Я думал — не выстрелит, а она... Смелая солдатка, с такой бабонькой я бы с удовольствием посидел наедине. — И, глядя на сестру, попросил: — Угости меня, Софья, коньячком или водкой. С мороза это лекарство самое подходящее.

Софья поставила на стол графинчик с настоенной водкой, закуску и села рядом. Быстро пьянея, брат лукаво подмигивал ей.

— Слышь, Софья, пригласи ко мне солдатку какую-нибудь молоденькую на часок-другой... Сама выбери, только смирную.

— Рыжая борода! Бесстыжие твои глаза... Подумай, о чем меня просишь?

— Подумал... Я знаю, ты моей бабе ничего не скажешь, а мне охота... маленько согрешить...

— Ух ты, ненасытный! — сказала Софья, восхищаясь его мужской силой, и в глазах ее заиграли веселые огоньки. — Устрою... Так и быть, приведу смирненькую.

...Трофим Иванович не ожидал, что Лукьян выживет и выйдет из больницы здоровым. Он уже записал его в

свою грамотку «за упокой», горячо молился о его душеньке грешной, хитря с самим господом, и, чтоб задобрить бога, всякий раз, бывая в церкви, покупал восковые свечи и ставил их перед иконой Николая-угодника. Освещенное огнями мудрое и доброе лицо святого старца немного смущало бакалейщика, словно это была не икона, а живой, древний мудрец, молча наблюдавший за ним, все видевший, угадывавший даже его греховные замыслы.

Трофим Иванович, стараясь не смотреть в лицо святому, упирался взглядом в его ноги в сандалиях, искусно нарисованных неизвестным живописцем. В стекле иконы отражались трепетные огоньки дешевых свечей.

— ...И прости ему всякие согрешения, вольные и невольные, — шептал слова молитвы Трофим Иванович, отбивая земные поклоны.

Каждое утро, просыпаясь, он прислушивался, не звонят ли в слободской церкви «за упокой души». Но было тихо. Никто не извещал бакалейщика о смерти брата, и тогда тревожное беспокойство овладевало им.

«Неужели выживет? Столько дроби вогнала в него — и не умрет?»

Молился он горячо, служил акафисты. Но даже когда стоял на коленях перед иконой, мысль о Софьином богатстве неотступно преследовала его. Трофим Иванович стал очень ласков к сестре. Наведывался к ней вечерами, садился в кресло, смотрел на пламя в камине, о чем-то сосредоточенно думал. Однако в последнее время Трофим Иванович стал замечать, что Софья неохотно пускает его к себе в дом, немножко побаивается, когда он подолгу молча сидит у нее. Вот и сегодня Трофим Иванович пришел проведать сестру.

— Что случилось с тобой, родненькая Софочка? — заговорил он, потирая с мороза руки. — Когда бы ни зашел к тебе, ты все дома. Раньше хоть кататься ездила на тройке, а теперь стала домоседкой, о чем-то грустишь, о ком-то скучаешь. Я ведь все вижу, не слепой.

— Правда твоя, давно не каталась на тройке.

— Послезавтра масленица. Молодежь всю ночь будет веселиться, игры да забавы. Вот бы в такую ночь прокатиться на рысаках!

— Что ж, может быть, и прокачусь, — неуверенно сказала Софья, глядя на брата.

Посидев немного, он ушел.

Софья действительно грустила. Часто вечерами, освободившись от работы, она садилась у камина, наблюдая, как трещат и брызжут искрами горящие поленья, а мысли ее уносились к Якову Македону. С каким волнением мечтала она о желанной встрече с ним, как хотелось ей, чтобы любимый человек был рядом, ласкал ее, пел задушевные песни, играя на своей старенькой, но милой сердцу гармошке.

Софье нравились его улыбка, голос, его простые, задушевные речи.

«Неужели я и до сих пор люблю его?» — спрашивала она себя, не спуская с огня влажных глаз. Губы ее чуть вздрагивали, сердце учащенно билось. В такие минуты ей казалось, что Яков стоит рядом, любуется ее красотой, тянет к ней руки, говорит пьянящие слова: «Люблю тебя, Софья. Ты одна была и навеки останешься в моем сердце. Лучше нет для меня женщины на свете. Люблю!»

Она откидывается на спинку мягкого кресла, закрывает глаза, тихо шепчет:

— И я... Я тоже люблю тебя, Яков. Никого мне не надо... О тебе только думаю... родной ты мой...

Софья сама не знает, когда все это произошло. Она полюбила Якова первой, чистой, девичьей любовью. Поэтому отказ Якова уехать с фронта, вернуться в слободу особенно обидел ее. И хотя Софье очень хотелось побыть тогда с Яковом, но гордость взяла в ней верх, не позволив остановить любимого, когда он собрался уходить. Рассерженная Софья рассеянно слушала своего племянника, Трофимова сына, хваставшегося успехами у дам, с бесстыдной откровенностью рассказывавшего о своих похождениях.

Сын Лукьяна, глядя на двоюродного братца, глуповато ухмылялся и молчал.

А Софью мучил вопрос: «Почему отказался Яков? Почему? Что случилось? Разлюбил он меня, полюбил другую?»

Чем дольше думала она, тем больше убеждалась: «Яков влюбился в Нину Черкашину».

Огнем вспыхнула в душе Софьи безумная ревность.

А рядом с ревностью — обида. Он, не имевший ничего, кроме столярного верстака да своих умелых рук, не захотел роскоши и сытой жизни, оттолкнул ее от себя, как последнюю батрачку.

Выпроводив племянников и оставшись в комнате одна, Софья заметалась, как зверь. Обида жгла сердце, вызывая буйную ярость.

Но время шло, злость к Якову постепенно утихла, как утихает любая боль. Софья жила теперь смутной надеждой, что закончится война, и Яков вернется в слободу. Нина уедет к себе домой, в разлуке они забудут друг друга, и тогда Софья все уладит с Яковом — и он всетаки станет ее мужем и отцом ее будущих детей.

В камине горели дрова. Отблески яркого пламени играли на ее лице и платье. Взяв зеркало, Софья начала внимательно рассматривать себя.

«Неужели Нина лучше меня?»

Из зеркала смотрели темные блестящие глаза. На белый лоб падал локон густых волос. Черты лица правильные, особенно красивы губы. Они всегда горят, как спелые и сочные вишни. Яков очень любил их целовать.

«Хороша. Ведь я же знаю, что хороша».

Но вдруг в глазах ее появился страх. Она увидела седой волос. Казалось бы, мелочь, пустяк, но это глубоко взволновало Софью. Вырвав первый и пока единственный седой волос, она положила его себе на колени, начала пристально рассматривать.

«Что ж это я, стареть начинаю? Так рано... Мне же всего двадцать четыре года. И впрямь, засиделась я в своих комнатах. Правду говорит Трофим. Надо прокатиться на тройке на масленицу».

Софья встала, зажгла лампу и, взяв в руки счеты, приступила к работе. Она перечитывала деловые бумаги, отмечала в них что-то красным карандашом, принималась считать.

Вошла Поля, тихонько сложила у камина охапку дров.

— Зайди к старому Македону. Пусть завтра придет ко мне. Есть для него работа, — сказала Софья, не поднимая глаз от договоров, купчих, ценных бумаг, которые она подписывала размашистым почерком.

Под ее длинными пальцами стучали блестящие костяшки, бегая по стальным прутикам.

25

Трофим Иванович нигде не находил себе покоя, даже похудел. Во сне и наяву он видел Софьину шкатулку из красного дерева, полную золота и бумажных денег. Но еще больше у нее денег в банке. Дом, мастерские, лес, сенокосы, лучшие в слободе земли — все это могло бы принадлежать ему, если б с Софьей что-нибудь случилось. Он, как хищник, подстерегал свою добычу, думал только о сестрином богатстве. Мысли о нем мешали работать, и уже не раз случалось, что он вместо подсолнечного масла наливал покупателю керосин или давал больше сдачи, чем следовало. Порой отвечал невпопад, удивляя покупателей, но люди объясняли это несчастьем, случившимся с Лукьяном: ведь Трофим, прожив с братом много лет, ни разу с ним не поссорился, никто не слыхал, чтоб они друг друга обозвали при посторонних нехорошим словом.

Никто не знал, о чем думал Трофим Иванович, хотя наблюдательным покупателям и казалось странным его поведение. Олимпиада многое могла бы рассказать о муже. Иногда, проснувшись среди ночи, он тихонько выходил в соседнюю комнату и, опустившись на колени перед иконами, горячо молился. Раньше этого никогда с ним не бывало. Жена невольно прислушивалась к его тихому, невнятному шепоту, и в душе ее рождалось предчувствие какой-то беды. Вставал Трофим Иванович, как всегда, рано. Потом завтракал и шел в бакалейную лавку.

Сегодня покупателей было мало. Трофим Иванович отпустил Сукачихе бутылку керосина, спросил о муже, пишет ли письма, часто ли бывает в боях. Зашли мужчины, купили по пачке махорки. Один из них рассказал о страшном случае:

— В лесу снова появились волки. Этой ночью ехал мужик на санях, лошаденка плохонькая. Налетела волков целая стая, разорвали лошадь и мужика. Вот и знай, где тебя смерть поджидает.

Трофим Иванович молча слушал рассказ; спросил только, из какого села был тот мужик, зачем и куда ехал, но этого никто не знал. Поговорили еще о цыганах-барышниках, появившихся в слободе со вчерашнего дня. Наверно, куда-нибудь на ярмарку едут, а жены и дочери ходят по хатам, собирают милостыню, гадают на картах.

В бакалейную лавку вошла группа цыган. Купив два фунта колбасы и булку, они тут же начали есть. Бессалый, следя, чтоб они не утащили чего-нибудь с прилавка, расспрашивал их, куда они едут, долго ли собираются жить в слободе или остановились только проездом.

— Проездом, — неохотно ответил чернобородый цыган, сверкнув глазами из-под нависших бровей. — Ночью двинемся дальше. Времени маловато, а путь далек. Спешим.

Но куда именно они едут — не сказал. Поев колбасы и хлеба, цыгане ушли, а Бессалый, глядя им вслед, точно замер, потрясенный неожиданно возникшей мыслью.

Сегодня первый день масленицы. Трофим Иванович надел тулуп, валенки, шапку.

— Куда ты собираешься? — спросила Олимпиада, наблюдая за ним.

— Никуда не собираюсь, — грубо ответил ей муж, и она больше не решилась расспрашивать.

Олимпиада помнила, как в былые годы на масленицу, одевшись, как сейчас, Трофим Иванович выходил на улицу к молодежи.

«Шум ходит, рыбу ловит,
А Шумиха продает,
Что заробит — то пропьет, —

смеялся он, выбирая самого крепкого парня. — Ты, что ли, водить Шума будешь?» — «Могу, — охотно соглашался тот и в свою очередь спрашивал: — А вы будете рыбой?» — «Давай!»

Девушки и парни, взявшись за руки, бежали по улице живой, неразрывной цепью. Вдруг «вожак» со всего разбегу останавливался, цепь выгибалась дугой, а последний в цепи Трофим Иванович, оторвавшись от чьей-нибудь крепкой молодой руки, путаясь в длинном тулупе, летел в белый мягкий сугроб. Первыми к нему на выручку спешили девушки. Со смехом и шутками они помогали бакалейщику подняться на ноги. Варежками, а то просто голой рукой отряхивали с тулупа снег. Трофим Иванович, выпив перед этим рюмочки две водки, щурил повеселевшие глаза, доставал из кармана дешевые конфеты и разбрасывал их по снегу. Девушки, толкая друг дружку, бросались подбирать, а Трофим Иванович, глядя

на них, от души хохотал и дома обо всем рассказывал Олимпиаде.

«Может, и сейчас ему захотелось Шума поводить? — подумала жена, с укором посматривая на мужа. — Из ума выжил, что ли? Не понимает, что и годы уж не те и время другое. Люди засмеют. В госпитале раненый сын лежит, а отец веселиться вздумал». Но остановить все же не решилась.

Олимпиада не видела, но видели люди, как, выйдя из слободы, Трофим Иванович вскоре свернул на дорогу, ведущую к изаровскому лесу. Перед ним лежало широкое, покрытое глубоким снегом поле. Справа в лощине, извиваясь, тянулась улица, названная Широким яром. Кое-где в хатах зажигались огни. Слева от дороги на вершине горы виднелись заснеженные деревянные корпуса келий женского монастыря «Тихвинская пустынь». Там тоже то и дело вспыхивали огоньки. Сразу же за монастырскими стенами начинался лес. Черной полосой тянулся он к горизонту, сливаясь вдали с потемневшим небом. Туда же вела и дорога, хорошо укатанная санями.

Трофиму Ивановичу было немножко жутко. Нигде ни души. Он часто оглядывался, словно за ним кто-то гнался. Теплый овчинный полушубок с длинными полами мешал ему идти быстрее. Становилось душно. Но уже виден был мамврийский дуб, к которому он спешил, стараясь быть незамеченным.

Трофим Иванович достиг наконец своей цели. Спрятавшись за стволом векового дуба так, чтоб его нельзя было увидеть ни прохожему, ни проезжему, он стал зорко следить за дорогой.

Сегодня утром, навестив Софью, Трофим Иванович узнал, что она хочет прокатиться на тройке. Обычно она каталась по этой лесной дороге. Софья сама правила тройкой, любила мчаться во весь дух. Заранее все хорошо обдумав, Трофим Иванович просил бога помочь ему осуществить намеченный план. Он не пожалеет тогда для всевышнего самых дорогих свечей и уж как-нибудь замолит этот грех неустанными молитвами, пожертвованием на церковь и праведной жизнью в дальнейшем, — лишь бы ему посчастливилось захватить сестрины богатства.

Назойливые мысли не дают ему покоя. Может быть, завтра или послезавтра он станет самым богатым, всеми

уважаемым человеком в слободе. Он откроет новые магазины, поведет дело, как учила его Софья, чтобы деньги рождали деньги, а не лежали в шкатулках мертвым капиталом.

«Хорошо бы весь базар прибрать к своим рукам. А? То-то выручка была бы. А потом можно и о кожевенном заводе подумать, тоже выгодно; и лесопильный завод построить — прибыльное дело. Лесу у Софьи много, хороший лес».

Но мысль о постройке лесопильного завода пугала его. Нет, не сможет он им заниматься. Лес — это лишние хлопоты. Лучше продать его на корню, чтоб не морочить себе голову. Продать по сходной цене, а денежки положить в банк под проценты.

Трофим Иванович размечтался о том, как он вечером, вернувшись домой, сядет в Софочкиной комнате у камина, а Олимпиада будет подавать ему горячий чай внакладку. И никто никогда в жизни не догадается, каким путем добыта беспечная, сытая жизнь.

Только бы поскорее все произошло, как задумано.

В лесу мертвая тишина. Она пугает Трофима Ивановича. Ему вспоминается разговор о волках, разорвавших на части какого-то мужика вместе с лошадью. Трофиму Ивановичу становится как-то не по себе. Он робко оглядывается по сторонам — не блестят ли в кустах фосфорическим светом голодные волчьи глаза. Страшно. Рука невольно тянется под тулуп, где спрятан отточенный, как бритва, длинный нож, которым всегда кололи в Трофимовом хозяйстве откормленных кабанов. Этот нож Трофим Иванович выбрал для Софьи.

Он до мелочей продумал страшный план. Он убьет Софью и, возвратясь на ее же тройке в слободу, расскажет, как цыгане пытались отнять лошадей, как один из них, бросившись на Софью, начал ее душить, но она вырвалась у него из рук, и тогда бородатый цыган, тот, что приходил сегодня в лавку покупать колбасу и булку, со всего размаху ударил ее ножом в бок... А он, Трофим, в это время возвращался из соседнего села и случайно наткнулся на дикую расправу. «Эй, ребята, мою сестру убивают... Заходи со всех сторон, мы их сейчас переловим!» — закричал он, обращаясь будто бы к своим попутчикам. Хитрость его удалась. Подумав, что их

и впрямь сейчас окружат, цыгане в испуге разбежались, а он, подойдя к саням, увидел убитую Софочку...

Трофим Иванович верил в удачу и совершенно не думал о том, что его преступление может быть раскрыто. Софочкино богатство не давало ему покоя ни днем, ни ночью.

Дорога была безлюдна. И хотя Бессалый был тепло одет, его начал донимать холод. Как только Софья приблизится к мамврийскому дубу, он выйдет из своей засады, скажет: ходил, мол, по делу в соседнее село и возвращаюсь домой. Попросит Софочку подвезти его к слободе и в санях ее прикончит.

Трофим Иванович пристально смотрел на дорогу. Беспокойные мысли, как горячие угли, обжигали мозг, тревожили сердце. Все путалось в голове. То вспоминал Софочкины рассказы о крупных заказах для фронта и думал, что неплохо бы продолжить это выгодное дело, дающее большие барыши; то вдруг пугался этих заказов, боясь запутаться в них. Но желание нажить большие деньги заглушало страх и нерешительность. «Она баба, а умела такие тысячи зарабатывать. Неужто ж я не сумею?»

Вот только золота, если попадется ему, золота он, конечно, не выпустит из своих рук. Золоту можно и в шкатулке полежать. А бумажные деньги, пожалуй, смело пустит в обращение.

Медленно поднимаясь над далеким горизонтом, закрытым узенькой длинной полоской темного леса, всходила багровая луна — немой свидетель его засады. Безоблачное небо светилось мириадами крупных, ярких и далеких, слабо мерцающих звезд, предвещая крепкий мороз. С каждой минутой светлело, и это раздражало бакалейщика. Хотелось, чтобы ночь была совершенно темной. В темноте можно орудовать смелее.

Становилось холодно, а дорога, освещенная луной, попрежнему была пустынна.

Трофим Иванович упорно ждал. Черный смушковый воротник уже побелел от инея. Мерзли ноги. С усов и с бороды повисли ледяные сосульки.

«Неужели Софочка не поедет сегодня кататься, неужели я зря простоял здесь столько времени? Не видно... Может быть, срочную телеграмму получила и ей не до катанья?»

Вдруг он заметил тройку. От волнения замерло дыхание. Ни на секунду не сводил он глаз с тройки. Так могла управлять лошадьми только Софочка. Выгнув шеи, кони быстро приближались к дубу. Трофим Иванович сразу забыл о холоде. Пальцы нащупали у пояса отточенный нож.

«Боже, дай мне силы. Пусть в последнюю минуту не дрогнет моя рука».

Кони летели, как птицы. В санях сидела Софочка в красивой теплой шубке, не связывавшей ее движений. Луна так ясно освещала дорогу, что в вытянутых Софочкиных руках видны были вожжи. Все ближе под полозьями скрипел снег. Еще минута, другая, и горячие кони поравняются с мамврийским дубом.

«Выходить или еще подождать?» И вдруг некстати шевельнулась мысль: «Остановись, безумец! На кого руку поднимаешь? Чью кровь собираешься пролить? Ведь сестра она тебе... родная сестра».

Трофиму стало даже нехорошо, но жадность затмила его разум, отогнала прочь ненужные мысли. Отказаться от намеченного плана было свыше его сил, и он, как в бреду, шевелил губами, боясь собственного голоса. «Может, без крови... просто задушить ее...»

Трофим Иванович побледнел. Не отрываясь глядел он на Софью воспаленными, почти безумными глазами, руки его тряслись.

«Ударю ее в левый бок, ближе к сердцу, чтоб она, бедная, недолго мучилась».

Уже можно оставить засаду и выйти навстречу Софье. Медлить дольше нельзя. Пора... Трофим Иванович пошел к дороге. Остановился, поджидая тройку. Никогда еще сердце его не билось так сильно.

— Благослови и помоги мне, господи, в делах рук моих. По гроб жизни тебе молиться буду. Свечи твоим святым угодникам... на храм и на сирот от щедрот своих... Укрепи мой дух, господи! — шептал Бессалый.

Вдруг кони, резко остановившись, взвились на дыбы. Послышался тревожный храп. Трофим Иванович не сразу сообразил, что произошло. Он только видел, как Софья, напрягая все силы, старалась удержать гарцующих коней, но они были страшно напуганы. Не подчиняясь Софье, кони повернули обратно и понеслись с такой

бешеной скоростью, что через минуту или две совершенно скрылись из виду.

Трофим Иванович, вытаращив глаза, смотрел им вслед, не понимая, что случилось. Почему, не доехав до мамврийского дуба, тройка повернула назад? Неужели это он своим появлением так напугал лошадей, что Софья уже никак не могла их остановить?

Злой, раздосадованный бакалейщик пошел прочь, проклиная и рысаков, и свою одежду, жалея потерянное время.

Скрипел под валенками снег, блестя холодным светом в лучах полной луны.

«Такой случай упустить! Совсем, ну, совсем близко подъехали — и вдруг испугались полушубка. Простого полушубка!»

Трофим Иванович услышал, как где-то вблизи завыл волк. И он понял: кони понеслись в слободу, почуяв волчий дух.

Трофиму Ивановичу, вооруженному одним ножом, опять вспомнился рассказ о волках. Объятый ужасом, бакалейщик остановился, почувствовав, как у него дрожат ноги и на голове шевелятся волосы. Он напряженно следил за каждым кустиком орешника, за каждым деревцем, из-за которого мог выскочить зверь.

Опять послышалось завывание, и наконец бакалейщик увидел волка.

Зверь сидел на задних лапах возле молодого дубка и, вытянув морду к луне, надсадно и жутко выл.

Другой дороги здесь не было. Трофим Иванович остановился.

«Вдруг это вожак стаи? Он сзывает других волков, и как только они соберутся, сразу же голодной стаей набросятся на меня и разорвут в клочья».

На лбу у Трофима Ивановича выступил холодный пот. Он не в состоянии был сделать и шагу ни вперед, ни назад. Ноги стали тяжелыми, точно к каждой из них привязали по двухпудовой гире.

«Это кара господня», — подумал он, и его охватил еще больший ужас.

— За что? Я же ничего не сделал ей плохого... зачем мне убивать сестру? Это я так, попугать ее немного хотел. Клянусь прахом матери... Спаси и помилуй... Не попусти, царица заступница... Отведи гнев свой, гос-

поди, — бормотал он. — Разорвут... Появится стая, и разорвут меня на части... Ведь у них клыки... Господи!

Волк, посидев еще с минуту, исчез в кустарнике.

Трофим Иванович побежал что есть мочи. Животный страх поглотил все мысли, кроме одной: «Быстрее выбраться из леса, уйти от страшной опасности».

Только когда лес остался далеко позади, вблизи показались слободские хаты, запыхавшийся Трофим Иванович остановился немного передохнуть.

Домой он возвратился взволнованный и бледный. Жена, взглянув на него, спросила, что с ним случилось. Ничего не отвечая ей, он приказал зажечь лампадку. А ночью, когда все уснули, Трофим Иванович, стоя на коленях, горячо молился.

Олимпиада не знала, чего просил у бога ее муж.

26

Точно так же, как убийцу неизвестная сила тянет посмотреть на совершенное им преступление, так и Трофим Бессалый не мог побороть в себе желание увидеть Софочку. Он пришел к ней на другой день утром. Усадив брата за стол, Софья угощала его горячим кофе, рассказывала о вчерашнем случае. Испуганные кони так понесли, что Софья не могла ни сдержать их бег, ни тем более остановить их. Еще никогда в жизни ей не было так страшно, как в ту минуту, когда ей казалось, что вот-вот перевернутся сани.

— Значит, правду говорят, что в лесу снова появились волки. А я не верил, думал, врут. Откуда волкам здесь взяться? Давно о них не слыхали.

Трофим Иванович рассказал Софочке, как на днях целая стая набросилась в лесу на крестьянина и разорвала его и лошадь. Но, вспоминая об этом случае, он ни единым словом не обмолвился о том, что видел вчера Софочку и волка, так напугавшего ее лошадей, и что сам едва избежал страшной смерти.

— Может быть, еще выпьешь чаю? — спросила Софья, заметив, что чашка брата пуста. — Давай, налью.

— Ты больше не езди в лес, а то еще, не дай бог, и тебя волки разорвут, — сказал Трофим Иванович.

Софья пристально посмотрела на него.

— Ну и что ж, если разорвут? Тогда ты будешь жить в моем доме. Что? Жил бы? — И засмеялась, но в глазах ее были недобрые огоньки. — Знаю, чувствую — не любишь ты меня, Трофим. Завидуешь мне. А вот Лукьян... Лукьян действительно любит как сестру, любит и уважает.

— Ай-а-ай. Такие слова говоришь старшему брату. Как же я могу не любить тебя? Разве ты мне чужая? Разве не я тебя маленькой нянчил, на руках носил, игрушки покупал? А ты, Софочка, теперь меня обижаешь... Вспомни, кто тебя в люди вывел. Я! Если б не мои хлопоты, разве ты вышла бы за Изарова? Нет, не вышла бы. Я все устроил. И ты, Софочка, должна это ценить. Ты молода. Тебе еще жить и жить. А я... У меня сын почти ровесник тебе. Что-то начал сниться мне часто. И все нехорошие вижу сны-то. Все денег он просит.

Софья молча слушала брата, не сводя с него пытливых, все понимающих глаз. Он, склонившись над чашкой, боялся посмотреть ей в лицо. А когда их взгляды все же встречались, он первым опускал голову и опять говорил Софочке о своей преданной братской любви, расхваливал ее ум, ее умение заводить знакомства с деловыми людьми.

Трофим Иванович услышал, что по лестнице, стуча костылями, поднимается какой-то калека.

— Вот так каждый день с утра до вечера ходят разные попрошайки. Просто житья от них нет. По дворам шляются, в лавке просят. Солдаты-калеки, женщины, дети. Всем подай. А что я им подам? Что?

Раскрылась дверь, на пороге остановился Пимен Базалий с корзиночкой, в которой лежали столярные инструменты.

— Андрей Степанович мастерит шкаф, поэтому он меня к вам послал. «Поди, говорит, Пимен, к Софье Ивановне. Ей столяр требуется». Вот я и пришел.

Софья встала.

— Да мне нужен столяр. Надо кресла починить, новую полочку сделать на кухне, стол подправить, видишь, как рассохся.

— Это можно. Дело несложное. Все будет в порядке, — говорил Пимен, прицеливаясь глазом на вещи, которые ему нужно было починить.

Столярное мастерство пришлось Пимену по душе. Он быстро овладел им и выполнял заказы слобожан и хуто-

рян на столы, стулья, сундуки не только в срок, но и добротно. Заказчики были довольны его работой, и мастер стал все чаще подумывать о приобретении собственного столярного верстака и недостающих инструментов, чтобы самостоятельно принимать заказы.

Не теряя дорогого времени, Пимен вынул из корзинки инструменты и приступил к делу. Корзинка стояла возле Трофима Ивановича. Его внимание привлекла к себе стамеска — точно такая же, какую он видел у столяра Македона, когда заказывал гроб для сына. Только на этой была другая колодочка, на которой кто-то искусно вырезал две буквы: «П. Б.»

В комнату вошла Поля.

— Я отлучусь часика на два, — сказала ей Софья. — Смотри за домом. Да угости мужа чем-нибудь. Он, может, еще не завтракал.

— Я уже ел. Спасибо, — ответил Пимен, чувствуя какую-то неловкость.

Трофим Иванович незаметно вытащил из корзинки стамеску, быстро спрятал ее в валенок и спокойно перевернул на блюдечке чашку вверх дном. Потом перекрестился, поблагодарил сестру за «чай-сахар» и вместе с ней вышел из комнаты. Поля закрыла за ними дверь.

— Пимен, налить тебе стаканчик?

Не дожидаясь ответа, она принесла из кухни горячий кофе, усадила мужа за стол, заботливо стала за ним ухаживать. Пимен с удовольствием пил сладкий кофе, рассматривая богато обставленную комнату, в которую попал впервые.

— Роскошно живет Софья.

— Богато, — согласилась Поля, глядя на мужа. Чужое богатство не вызывало в ней зависти; даже немного смешило, что Пимен обращает внимание на дорогие кресла, ковры, зеркала. А ведь ей приходится столько трудиться, чтобы все это держать в образцовом порядке и чистоте. Нет, не о богатстве думала она в эти минуты. Другими чувствами была полна ее душа — светлая, чистая, как родниковая вода.

Поле приятно было смотреть, как муж пил кофе, ел булку, как неторопливо разглаживал пальцами свою пышную бороду и, глядя на жену, улыбался чему-то. И она отвечала ему взглядом, полным любви.

— Один ковер продать бы — и в хозяйстве лошадь, а то и две, — неторопливо говорил Пимен. — Барыней стала Софья.

Выпив еще одну чашку кофе, он приступил к работе.

27

Трофим Иванович знал, что сегодня под вечер, закончив работу, Пимен вместе с женой ушел домой. Софья осталась одна. Лучшего момента и желать нельзя. Бессалый уже несколько раз заходил в бакалейную лавку, где под мешками с мукой была спрятана Пименова стамеска.

Не обдумав все как следует, он решился на страшный шаг. В таком состоянии, как сейчас, Трофим Иванович не мог сохранить ясного ума и спокойствия. Прежнее желание овладело им — убить сестру. А уж захватив ее богатство, он сумеет как-нибудь выкрутиться. Деньги сделают все, что нужно. Пимена и его жену засудят как убийц.

Ведь на суде могут спросить: «Кто открыл дверь в дом Софьи Ивановны Изаровой?» Конечно, служанка. Никто не узнает, как он, Трофим Иванович, бывая в доме Софочки, незаметно снимал мерки с ключей, вдавливая ключи в кусочки мягкого воска; а потом съездил в Харьков, и там мастер изготовил ему ключи. С этими ключами можно было проникнуть даже в Софочкину спальню. Ведь всем в слободе известно, как бедствует Пимен. Ему надо оборудовать свою хотя бы маленькую столярную мастерскую. Надо приобрести инструменты, разные лаки для полировки мебели, доски. В общем Пимену нужны деньги.

Бессалый сам слышал однажды на базаре, как Пимен рассказывал о фронте. Он говорил, что бедняки, выносящие на своих плечах все тяготы войны, терпят ужасные лишения, нужду, а тем временем Софья Изарова лопатой загребает денежки, наживаясь на этой кровопролитной войне.

Трофим Иванович ничего не говорил сестре об этих разговорах. Но теперь настал подходящий момент. Лишь бы удалось ее убить, а уж потом он сумеет так обставить дело, что выйдет, будто Пимен Базалий с женой польсти-

лись на Софочкины деньги. Убийство совершено с целью грабежа. Убийцы будут схвачены. И первой неопровержимой уликой против них будет окровавленная стамеска с буквами «П. Б.» — Пимен Базалий.

Бессалому казалось, что, обвинив в преступлении Пимена и его жену, очень легко отвести от себя подозрения властей. Словно в лихорадке, Трофим Иванович ждал полуночи. Стенные часы пробили двенадцать. Встав с кровати, Бессалый оделся. Жена, проснувшись, молча следила за ним.

— Трофим, ты куда? — спросила она, когда он, перекрестившись, шагнул к порогу.

Муж метнул на нее недовольный взгляд и, ничего не отвечая, вышел, тихо прикрыв за собою дверь.

Улицы были пустынны. Подойдя к дому Софьи, Трофим Иванович в нерешительности остановился. Пробираться через черный ход было рискованно — его мог увидеть конюх. Но и через парадное идти было нельзя. В швейной мастерской он увидел трех солдаток. Видимо, Софочка разрешила им остаться после работы пошить что-нибудь для себя. Присутствие солдаток усложняло его план: теперь уже приходилось идти в дом непременно через черный ход. Солдатки, наверно, будут работать до утра, а ему нет времени ждать, пока они разойдутся по домам или улягутся спать в мастерской. Ему нужно действовать, не теряя ни минуты.

Заглянув через забор, Трофим Иванович прислушался. Тишина. Возле конюшни мерцает тусклый свет фонаря. Бакалейщик осторожно шел по пустынному двору, и вдруг на него откуда-то с лаем бросилась собака, но, узнав своего, начала ластиться. Трофим Иванович замер. С тревогой и страхом смотрел он в сторону конюшни, ожидая, что вот-вот оттуда выйдет разбуженный лаем конюх, увидит его — и замысел может не осуществиться.

Трофим Иванович готов был придушить ненавистного пса, доставившего ему столько волнений. В первую секунду он хотел было бежать, но быстро овладел собой и пошел дальше. А если встретит конюха, то скажет, что парадная дверь закрыта, служанка, вероятно, спит, а у него к Софочке неотложное дело, вот он и решил пройти через черный ход.

К счастью, конюх не вышел. Кто-то проехал мимо

двора, в морозном воздухе долго слышался скрип снега под скользкими полозьями.

Бессалый на ощупь разыскал нужный ключ, отпер, вошел, осторожно прикрыл за собой дверь и стал подниматься по лестнице на второй этаж. Еще никогда в жизни он не уставал так, как сейчас. Сердце, казалось, готово выскочить из груди от страха и волнения. Дышать было трудно, словно в помещении, куда он вошел, не хватало воздуха. А когда из-за неосторожного шага скрипнула деревянная ступенька, Трофим Иванович точно застыл, напряженно прислушиваясь к тишине, царившей в доме. Если Софья слышала его шаги, она немедленно появится здесь, и он почувствовал, что не решится убить ее тут же, на лестнице. Внезапный страх сковал его. Но в доме попрежнему было тихо. Немного успокоившись, бакалейщик осторожно пошел дальше. Неожиданно в темном коридоре сверкнули два зеленоватых огня. Сразу догадался — это любимый Софочкин кот. Пройдя еще несколько шагов, Трофим Иванович остановился у двери ее комнаты. Дверь не была заперта на ключ.

«Какая Софочка неосторожная, — подумал он, нащупывая рукой Пименову стамеску. — Ведь так и воры могут забраться и грабитель войти». Трофим Иванович представил себе, как поразится Софья, увидев его в такое позднее время; может быть, даже сразу догадается о цели прихода. Она умная, часто разгадывает его мысли. Но едва она вскрикнет, он тотчас же, словно коршун, бросится на нее, зажмет рот и ударит стамеской в левый бок, ближе к сердцу...

«А вдруг Софочка, догадавшись, зачем я пришел, первой нападет на меня, отнимет стамеску, позовет на помощь солдаток? — пронеслась тревожная мысль. — Ведь она молодая, здоровая, сильная».

Трофим Иванович остановился в нерешительности. «Хорошо бы сонную ее ударить... В кровати. Наверно, Софочка спит. Ведь уже ночь».

К нему снова вернулось хладнокровие. В последние секунды он вспомнил о боге и еле слышно прошептал:

— Господи, благослови.

Распахнув дверь, высокий и худой, он быстро юркнул в комнату. На столе неярко горела лампа. Кровать была пуста. Им овладел дикий ужас.

Бежать... Немедленно бежать... Софочка догада-

лась... Услышала скрип на лестнице и через другую дверь вышла в мастерскую, чтобы позвать конюха, солдаток и схватить его.

Трофим Иванович метнулся к потайной двери. Она оказалась заперта. Кровать тоже стояла нетронутой, застланная богатым покрывалом. Значит, Софочка еще не ложилась. Это его немного успокоило. Воспаленные глаза остановились на шкафе, где была спрятана заветная шкатулка красного дерева. Руки у него дрожали. От страха его охватил лихорадочный озноб.

Стуча зубами и чувствуя, как лоб покрывается испариной, Трофим Иванович долго пытался открыть замок, но все старания были напрасны. Наконец он догадался, что ошибся, взял не тот ключ. Быстро схватив другой, он легко открыл шкаф и один из ящиков. Когда увидел знакомую шкатулку, в глазах вспыхнула радостная надежда. «Ее надо будет оставить для доказательства, — соображал бакалейщик, — и стамеску тоже, а золото положу в свою сумку».

Трясущимися руками он поднял крышку и ахнул от удивления: шкатулка была пуста.

— Софья Ивановна, — услышал он позади себя женский голос.

Резко обернувшись, он выпустил из рук шкатулку и диким взглядом окинул солдатку, стоявшую у двери с неоконченным шитьем. Вскрикнув, солдатка бросилась назад, но Бессалый быстрым ударом свалил ее с ног, сам не понимая, зачем это сделал.

Послышался стон. Обезумевший от страха бакалейщик широкой ладонью зажал ей рот. Удар пришелся прямо в сердце.

Крика больше не было. Женщина лежала на полу с открытыми, невидящими глазами. В предсмертной агонии у нее подергивалась рука и почему-то дрожали веки. Ужас сковал Трофима Ивановича.

«Убил... Убил... Кто же это?»

Слабый свет лампы падал на бледное лицо солдатки, которую бакалейщик, казалось, видел впервые.

«Бежать... бежать...» И вдруг он заметил на своей одежде кровавые пятна. Страх его увеличился еще больше. Дико глядя на убитую женщину, он в ужасе попятился к двери. Через черный ход вышел во двор и у самых ворот остановился. От дороги к дому шла

какая-то женщина. Присмотревшись, Трофим Иванович узнал жену Пимена. Подойдя к парадной двери, она постучала в нее кулаком. Из мастерской кто-то вышел и отпер дверь, впуская ее в дом. А когда опять все стихло, Трофим Иванович вышел на улицу. Он уже не думал о совершенном преступлении. Его волновала только кровь, в которой он, очевидно, выпачкался, когда зажимал женщине рот. Кровавые пятна могут его выдать. А кто знает, как будет действовать Софочка. Может, снова потребует собаку-ищейку. При одной мысли об этом ему становилось не по себе.

Трофиму Ивановичу почему-то казалось, что единственным спасением для него может быть река. Он быстро пошел к мосту, свернул на тропинку, по которой ходили молодицы к проруби стирать белье. Впервые в жизни не пожалел он своего добра. Дрожа всем телом, снял пиджак, рубаху, брюки и все бросил в прорубь. Течением воды одежду быстро уносило под лед. В последнюю минуту вспомнил о валенках, на них тоже были пятна. Но валенки Трофим Иванович не сбросил, пожалел. Смыв ледяной водой кровь, он пошел к дому.

Олимпиада была поражена, увидев мужа в таком виде.

— Ограбили? Кто? .. Господи! ..

Она металась возле него, растирая ему ноги, руки. Укутала его в теплое одеяло. Трофим Иванович лежал на кровати, стуча от холода зубами. Он ничего не мог сказать перепуганной жене.

— Я тебя укрою еще чем-нибудь. Согрелся? А может быть, выпьешь водки?

Олимпиада налила рюмку и сама поднесла ее к посиневшим губам мужа. Выпив водки, он как будто немного успокоился. После второй рюмки взял Олимпиаду за руку и сказал, не отрывая взгляда от ее лица:

— Никому не говори, Олимпиадочка, никому! Я потом все тебе объясню. Не скажешь?

Не понимая еще, что с ним случилось, она обещала молчать. Муж быстро уснул. Олимпиада тоже легла в постель, но в эту минуту раздался громкий стук в ка

Трофим Иванович, сразу проснувшись, испуга
сился к окну, но густые узоры на стеклах меша
разглядеть позднего гостя.

— Зачем ты встал? Иди ложись, я сама узнаю, кто стучит.

Но Трофим Иванович, быстро обув валенки и набросив на себя теплый тулуп, вышел во двор и открыл калитку. Перед ним стояла какая-то женщина. Он догадался, что это одна из солдаток, оставшихся на ночную работу в Софьиной мастерской. Волнуясь и плача, солдатка сказала:

— Софья Ивановна зовет... к себе... Несчастье... В ее комнате убили... солдатку...

— Приду! — И, захлопнув калитку, Трофим Иванович вошел в дом.

— Кто? — спросила Олимпиада, не сводя глаз с мужа.

— Убийство... В Софочкиной комнате... солдатку...

— Господи! — прошептала Олимпиада, потрясенная страшным известием. — Убили... За что же? Кто убил?

— Откуда мне знать? Вот пойду, посмотрю.

Трофим Иванович начал одеваться. Руки у него дрожали. Жена, наблюдавшая за каждым его движением, видела это. Страх мужа невольно передавался ей, но она никак не могла понять: «Кто поднял руку на солдатку? За что ее убили? Кому понадобилось убивать бедную женщину, у которой остались малые дети?»

Трофим Иванович ушел. В мастерской Софьи Ивановны горел свет, но там никого не было. Во втором этаже слышались голоса. Кто-то тихонько всхлипывал. Бессалый, неслышно ступая валенками по ступенькам, приблизился к раскрытым дверям. Его не заметили. Встревоженная Софья стояла у стола, слушая рассказ солдатки.

— «На минуточку, говорит, сбегаю к Софье Ивановне». Ушла и долго не возвращается. Мы думаем: «Наверно, Софья Ивановна решила попотчевать ее чайком». Сидим, работаем, а ее все нет и нет. Поля откуда-то вернулась, поднялась наверх, и вдруг слышим крик: «Убили!.. Убили!» Прибежала она к нам, вся дрожит, лицо белое, глаза испуганные. Мы тоже испугались...

Трофим Иванович, кашлянув, переступил порог. Мельком взглянув на убитую, отвернулся, достал из-под стола [illegible]авленную стамеску, поднес ее к лампе.

— А Пимен ее дома искал, — сказала Поля, но уви-[illegible]о лезвие и колодочка испачканы кровью, в ужасе отшатнулась.

— Искал? — усмехнулся бакалейщик, не сводя с нее колючих глаз. — А стамеска-то в крови. Кажется, Пименова стамеска.

Поля выпрямилась. Глаза ее сверкнули гневом и обидой.

— Вы что это? Вы на моего Пимена?..

— Доказательство налицо. Его стамеска. Смотрите, люди добрые, тут даже буквы на колодочке. Вот, глядите, — показывал он солдаткам окровавленный инструмент. — Это они, Софочка, наверно, к твоему шкафу подбирались.

— Вы... Как вы смеете говорить такое на нас? — воскликнула Поля, зарыдав от жгучей обиды. — Скажите... Ну, скажите же ему, — обратилась она к хозяйке, надеясь найти у нее защиту. Но Софья Ивановна почему-то молчала, наблюдая за братом.

Трофим Иванович нагнулся к убитой, зачем-то приподнял ее руку и бросил. Безжизненные пальцы, словно деревянные, стукнулись об пол.

— Несчастливая комната у тебя, Софочка, — вздрогнув, глухо сказал Трофим Иванович. — Здесь Лукьян был ранен, а сейчас вот... убийство.

— Уходите, — сказала Софья, глядя на труп. — А ты, Трофим, извести о случившемся господина пристава. Пусть прибудет сюда немедленно.

Трофим Иванович положил стамеску рядом с убитой и, осторожно ступая, словно шел босиком по выгону, заросшему чертополохом, направился к двери. Следом за ним вышли и солдатки.

А утром Пимена Базалия вместе с его женой арестовал урядник. Следствие и суд были короткими. На суде выступал столяр Македон. Напрасно пытался он уверить судей, что всю ночь, до утра, они с Пименом работали, выполняя срочный заказ. Пимен никуда не отлучался. Македон хорошо знает Базалия, этот человек не мог убить.

Но на свидетельские показания столяра суд не обратил никакого внимания.

После Македона слово попросил Трофим Иванович:

— Господа судьи! — начал он. — Я хочу сообщить вам кое-что. Мне хорошо известно, что Андрей Степанович Македон, по профессии столяр, дружит с обвиняемым.

Именно Андрей Степаныч обучил его столярному мастерству. Пимен Базалий находился в этот день в Софочкином доме, и ясно, что это он совершил преступление. Лучшим доказательством его виновности является стамеска, которой он убил свою жертву. У меня лично нет сомнений в виновности подсудимого. А соучастницей в преступлении была его законная супруга Пелагея.

Судьи не пожелали слушать дальнейших показаний Македона.

— Суду все ясно, — заявил судья. — Стамеска, которой совершено убийство, принадлежит столяру Пимену Базалию. Пустить его в дом Изаровой могла только жена, работавшая там служанкой и действовавшая заодно с мужем. Возможно, конечно, что солдатку они убили случайно. Убийцы проникли в дом с целью грабежа, и если б Софья Изарова находилась в этот момент дома, весьма вероятно, что она подверглась бы нападению грабителей и была бы убита ими вместо солдатки.

— Не виноваты мы... Не убивали... Смилуйтесь!.. — промолвила Поля, зарыдав.

— Не проси их, — глухо сказал Пимен. — Не поможет. Их сила, их закон.

Суд приговорил Пимена Базалия и его жену к десяти годам тюремного заключения.

В тот же день их под конвоем отправили в уездный город.

Молчаливая и строгая, возвращалась Софья домой. По дороге ее догнал Трофим Иванович и, подобострастно заглядывая в лицо, заговорил:

— Бога не боятся, вины не признают, убийцы... Души у них, видно, нет. Хорошо еще попалась солдатка, а ведь они могли и тебя убить, Софочка. Могли же, правда?

— Убийцы не они, — спокойно ответила Софья, пристально посмотрев брату в глаза.

— А кто же? Кто? Стамеска-то чья? Вещественная улика. Он не отказался... Признал свой инструмент. И пробраться в дом... Кто же мог пробраться к тебе в дом? Только они: Поля пришла первой, открыла ему дверь, они хотели ограбить тебя, забрать деньги и золото, но в шкатулке...

Трофим Иванович умолк, поняв, что сказал лишнее. Софья схватила его за руку.

— Ты? Ты убил ее? — быстро спросила она, со страхом глядя ему в глаза. — Не отказывайся... Я вижу... Я по глазам твоим вижу.

— Софочка, опомнись! Ты с ума сошла?

Но Софья впилась в него взглядом, который, казалось, проникал в самую душу. Все увидела она, все поняла — и ужаснулась мысли, мгновенно поразившей ее.

— Ты шел ко мне? Ты меня хотел убить? Меня? Ведь так? Говори правду!

Трофим Иванович рассмеялся каким-то странным, колючим смехом, но, быстро овладев собой, прищурил глаза, и узенькие злые щелочки уставились на сестру.

— Черт знает, что ты мелешь. Убить... Тебя убить? Подумай, какие грешные мысли у тебя на уме!

Если до этой минуты она еще сомневалась, то сейчас окончательно убедилась в невиновности Пимена и его жены. Ее все время мучил вопрос: «Кто же истинный убийца?» И вот в случайном разговоре с ней Трофим Иванович неожиданно выдал себя, проговорившись о шкатулке. Софья поняла все.

— Обидно мне слушать такое от родной сестры. Очень обидно, — жалобно проговорил Трофим Иванович и, не прощаясь, отошел, а Софья смотрела на его сутулую спину, и ее охватывал ужас.

«Он хотел убить меня».

Вспомнился тот день, когда Пимен пришел к ней для починки мебели и Трофим, увидев стамеску, зачем-то взял ее в руки, пробуя пальцем острый кончик стального лезвия. Тогда Софья не придала этому значения, а сейчас ей все стало ясно.

«Он решил меня убить, чтобы овладеть моим богатством. Я всегда его боялась».

В тот же день Софья отслужила в церкви молебен. Выбрав себе новую служанку, она несколько ночей спала с ней в одной комнате, каждый вечер сама тщательно проверяя все запоры и замки. Сон ее был тревожным и чутким. При малейшем шорохе она вскакивала с кровати, будила служанку и вместе с ней осматривала весь дом. И только после такого обхода, немного успокоившись, снова ложилась в постель, но долго не могла уснуть. Ей страстно хотелось, чтобы рядом с ней был Яков. Он мужественный и смелый, он смог бы в любую минуту защитить ее от опасности. Но Яков был далеко.

Софья теперь совсем не каталась на тройке, вечерами никуда не выходила из дому. Ей казалось, что повсюду ее подстерегает Трофим и может, как и солдатку, пырнуть ножом где-нибудь в темном переулке или придушить, как когда-то душил Олимпиаду.

Софье не хотелось ссориться с братом. Это могло испортить некоторые ее дела, подорвать репутацию добропорядочности, бросить и на нее черную тень убийцы, чего она, конечно, не хотела. Длинными зимними вечерами, греясь у камина, она часто вспоминала Якова. Ей сейчас особенно хотелось почитать его письма. Она послала к старому Македону служанку, чтобы взять последние фронтовые письма Якова, но столяр не дал ей писем и категорически отказался давать их впредь.

Выслушав ответ столяра, Софья встревожилась. Мысль, что Андрей Степанович тоже знает, кто настоящий убийца, не на шутку испугала ее. Она хотела проверить это, убедиться в своей догадке и решила зайти к Македонам сама.

Старый Македон оттачивал на станке ножку для стола. Жена топила печь. Ей помогала девочка — дочь Пимена Базалия. После ареста родителей ее приютили у себя Македоны. Войдя в хату, Софья вытащила из сумочки серебряную монету, чтобы дать девочке на конфеты, но, к удивлению Изаровой, та денег не взяла и только спросила, сурово нахмурив брови:

— Куда вы отправили мою маму и моего папу?

Македониха взяла девочку за плечи и, приласкав ее, сказала:

— Танюша, бери картошку. Ты хотела кушать. Садитесь, Софья Ивановна, — обратилась она к гостье, сметая фартуком со стула древесную пыль.

Андрей Степанович прекратил работу и, не снимая очков, смотрел на богачку.

— Я пришла узнать о Якове, — сказала, немного смутившись, Софья. — Есть от него письма?

— Есть. — Открыв ящик стола, Македониха вынула несколько синих конвертов. — Пишет: солдаты не хотят больше воевать. Может, скоро домой вернутся.

Муж молча взял у нее из рук конверты и положил их к себе в карман.

— Не могу я давать вам эти письма, Софья Ивановна.

— Почему? — удивленно спросила Софья, покраснев от обиды. — Ведь раньше я все его письма читала. Мне интересно знать, какие новости на передовых позициях.

— Не дам! — решительно и недружелюбно сказал столяр. — Ни одного письма больше не дам!

Софья покраснела еще сильнее. Молча поднялась со стула и, не прощаясь, вышла из хаты, затаив в душе гнев на столяра.

Македониха удивленно смотрела на мужа, не понимая причины такого отношения к гостье.

— Буржуйка! — со злобой проговорил столяр. — Разве у нее совесть есть? Невинных людей посадила в тюрьму. Невинных! И смеет приходить... Письма ей дай. Нет больше для нее писем! — И долго еще он не мог успокоиться, удивляясь нахальству слободской богачки.

Софья не могла догадаться, почему столяр отказал ей в такой просьбе. «Может быть, Яков женился на Нине?» — подумала она. Эта мысль, как огнем, обожгла ей сердце.

Любой ценой она должна получить письма Якова и узнать правду. Не захотел дать по доброй воле — Софья заберет их силой. Только надо придумать, как это сделать.

Дома ее ждал Трофим. Не слушая, зачем он пришел и что хочет сказать, Софья молча указала ему на дверь.

— Софочка, я знаю, ты любишь шутить, но сейчас мне не до шуток. У меня к тебе дело.

— Вон! — в бешеном гневе закричала Софья. — Вон! Не то позову людей и выгоню тебя, как паршивую собаку! Не смей ко мне приходить! .. Не смей!

Трофим Иванович струсил. Схватив шапку, быстро исчез за дверью. Софья позвала служанку и строго-настрого приказала ей никогда больше не пускать в дом Трофима.

Оставшись одна, Софья стала размышлять, как бы достать письма Якова.

Под вечер к столяру Македону пришел урядник. Спросив хозяев о каких-то революционных прокламациях, он приступил к обыску. Перерыл все в сундуке и шкафу, потом открыл ящик и забрал письма и открытки, полученные с передовых позиций от Якова. Через полчаса все это было вручено Софье Ивановне.

Сидя у камина, она по нескольку раз перечитывала каждое письмо и бросала его в огонь.

28

Стояли лютые февральские морозы. По базару шатались беспризорные дети, отцы которых погибли на войне. В большинстве это были бездомные дети, пришедшие сюда неизвестно откуда; они выпрашивали у торговцев копейку или кусочек хлеба. Подавали редко; было уже несколько случаев, когда детей к утру находили мертвыми возле ларьков.

В начале марта по слободке, как вихрь, пронеслась необычайная весть: свергнут царь, в Петрограде революция.

Услышал об этом и Трофим Иванович, но не поверил... Как можно свергнуть царя? Бакалейщик не высказывал своего мнения, только слушал других. Он знал, что полиция уже арестовала несколько человек за распространение подобных слухов. Но весть передавалась из уст в уста с неимоверной быстротой, и лишь когда в слободу доставили газеты, стражники перестали таскать людей в участок.

Трофим Иванович сидел в бакалейной лавке, раздумывая над тем, как же теперь пойдет жизнь, если царя нет. Кто будет править Россией? Министры? Царица? А может, все это одни слухи? Говорят, пришли газеты, но Трофим Иванович не видел их. А если не видел своими глазами, как можно верить?

Но сомнения его скоро рассеялись. В лавку зашли крестьяне. Один из них, вытащив аккуратно сложенную бумагу, начал осторожно разворачивать ее.

— Мы со станции. Возили лук... Ну, сдали все, как полагается. Собрались домой, да Степан вдруг увидел поезд. «Стойте, говорит, братцы, поглядим». Стали мы на перроне. Все ближе он, ближе, поезд этот, а в поезде солдаты с фронта едут в Петроград. Минуточку только постояли на нашей станции и поехали дальше. Ну, они тоже насчет царя: нету, мол, Николашки... по шапке дали царю. И сунули нам в руки эту листовку: прочтите, мол, там все как есть описано. Ну, а мы в грамоте-то не сильны. Пришли вот к тебе. Может, почитаешь, а?

Трофим Иванович нерешительно взял в руки листовку, оглянулся на дверь, закрыл ее на крючок и начал шепотом читать.

— «Тайны царского двора...» — прочел он и умолк,

всматриваясь в напряженные лица извозчиков. — Смотрите же, если что случится — знать не знаем, ведать не ведаем. Ясно? — предупредил их Трофим Иванович.

— Ясно. Не томи, Иваныч, читай.

— «Последние часы царствования Николая Второго. В ночь со второго на третье марта, в четыре часа двадцать минут утра, корреспондент «Утра России», добравшись на дежурном паровозе номер шестьсот сорок два из Вишеры на станцию Старая Русса, имел возможность встретить здесь царский поезд и был свидетелем событий, предшествовавших отречению Николая Второго...»

— Значит, правда. Напрасно людей сажали под арест.

— Да еще били. А тут все как есть тайны царского двора описываются.

— Читай дальше.

— «Поездов было два. Впереди шел свитский поезд, литера «Б», под начальством командующего железнодорожной полосой генерал-майора Цабеля. Поезд шел в полном составе с полуротой железнодорожного полка и двадцатью солдатами сводного полка. Остальная охрана разбежалась...»

— Ясно, царя нет — значит и воевать не надо.

— Не об этом речь. Охрана царская разбежалась.

— Да я слышу.

— «На станции Вишера государь был вызван государыней в Царское Село. Оказалось, что государю не была доложена ни одна телеграмма М. В. Родзянко...»

— Прятали, значит. Оттого и тайны.

— «Не были доложены и телеграммы главнокомандующих, за исключением первой, посланной генерал-адъютантом Алексеевым. Кругом никого не было. Только дряхлый старик граф Фридерихс...»

— Не нашей фамилии. Видать, из немцев.

— Кто его знает, какой он породы.

— «...знаменитый адмирал Нилов и бывший командир гвардейского экипажа, а впоследствии дежурный генерал свиты его величества и комендант царского поезда, он же дворцовый комендант Воейков. Спутники государя много пили...»

— И вина разные и водку небось глушили ведрами.

— Зачем ведрами? Господа — они из бутылочек потягивают!

— «Адмирал Нилов настойчиво уговаривал государя

пить. Больше всего Воейков и Нилов боялись, как бы государь не узнал правды. О том, что происходит, царь ничего не знал...»

— Скрывали правду-то от царя. Ловкачи!

— «В ночь под первое марта взволнованный генерал-майор Цабель заявил Воейкову, что это недопустимо и что если они не пойдут к государю и не доложат ему немедленно обо всем, то он сам, устранив их силою, явится к нему и скажет все. Тогда Воейков сказал, что сделает это сам. Выяснилось, что государь спал. Он был утомлен...»

— Ну, понятное дело, с перепоя всегда ко сну клонит, — заметил крестьянин в стареньком полушубке. «Говори, да не заговаривайся, — казалось, говорил его боязливый взгляд. — Может, правда в газетке напечатана, а может, и брехня». — Оно, конечно, царь тоже человек. Поди, работы, забот всяких не мало. Устал, прилег государь-батюшка отдохнуть...

— Чего боишься? — с укором посмотрел на него сосед. — Царь-батюшка... Пьяница он — вот кто. Слыхал — «спутники государевы много пили». А он-то, царь, думаешь, к чарке не прикладывался? Заодно с ними дул. Злой я на царя. Он Ваньку моего угнал на войну. Погиб Ванюша... соколик мой... — И затих мужик, отвернулся, чтоб не видели его скупой слезы.

— Читать дальше? — спросил Трофим Иванович, недовольно посмотрев в сторону крестьянина, так смело назвавшего царя пьяницей. Отозвалось сразу несколько голосов:

— Давай, Иваныч, давай. Всю как есть тайну выворачивай наизнанку. Хотим знать, как жил царь.

— «Ему заявили, что в Петрограде революция. Студенты и хулиганы взбунтовали молодых солдат. Эти молодые солдаты отправились к Государственной думе и терроризируют депутатов; Родзянко, под влиянием Чхеидзе и Керенского, уступил, а город захвачен чернью и взбунтовавшимися солдатами. Однако достаточно каких-нибудь четырех рот, чтоб разогнать их...»

— Слыхал? Город захвачен чернью и взбунтовавшимися солдатами. Как они трудовой народ величают! Чернь... И о рабочих ни слова. А рабочий — он ведь всему делу зачинатель.

— Четыре роты пошлют. А могут и полки туда направить.

— Неужто снова прольется кровь?

— Не посмеют... Солдат нынче уже не тот, что раньше. Солдат стал умнее. Помнишь, что рассказывал Пимен об Артеме Черкашине? Хоть я сроду этого человека в глаза не видал, но слыхал, что и там, на фронте, есть добрые люди. Большевиками называются. За народ они даже жизни своей не жалеют.

Трофим Иванович внимательно слушал, а когда все замолчали, продолжал:

— «В это время в вагон вошел Воейков и сказал, что получена телеграмма, из которой следует, что из Могилева идет на станцию Дно поезд с семидесятью георгиевскими кавалерами (эти георгиевские кавалеры направлялись из ставки в Царское Село представляться государю). По слухам, они должны были преподнести ему георгиевский крест третьей степени...»

— Ишь ты, такого я еще не слыхал: не он им, а они ему цепляют награду.

— Да ты слушай!

— «Государь, этих доблестных георгиевских кавалеров вполне достаточно, — сказал Воейков, — для того, чтобы ваше величество, окруженное этой славной свитой, могло явиться в Царское Село. Там вы встанете во главе верных вашему величеству войск Царскосельского гарнизона и двинетесь в Петроград, к Государственной думе. Взбунтовавшееся войско вспомнит царскую присягу, и вы сумеете справиться с молодыми солдатами и революционерами». В этот момент в поезд вошел генерал Цабель. «Все это ложь, — сказал он. — Вас обманывают. Вот телеграмма. Смотрите. Она подписана петроградским комендантом поручиком Грековым. Видите, здесь приказ задержать на станции Вишера поезд литера «А», а затем направить его в Петроград, а не в Царское Село». — «Что это? — воскликнул государь. — Поручик Греков — комендант Петрограда?» А Цабель сказал: «Ваше величество, в Петрограде шестьдесят тысяч войск, во главе с офицерами, уже перешло на сторону временного правительства. Ваше величество объявлены низложенным...»

— Рухнул царский трон.

— Куда же его денут, царя-то? На даче будет жить, или работенку полегче для него найдут?

— «Родзянко объявил во всей России о вступлении в силу нового порядка. Ехать вперед нельзя. На всех дорогах распоряжается депутат Бубликов». С крайним изумлением, растерянностью и горечью государь воскликнул: «Но почему же мне ничего не сказали об этом раньше? Почему говорят только сейчас, когда все кончено?» Однако через минуту сказал со спокойной безнадежностью: «Ну и слава богу. Я поеду в Ливадию. Если народ потребует, я отрекусь и поеду к себе в Ливадию, в сад. Я так люблю цветы...»

— Ишь какой, в Ливадию. Столько крови народной пролито...

— А чего же ты хочешь? — осторожно спросил Трофим Иванович, глядя на мужика в стареньком пиджаке. — Ну, отвечай!

— Чего я хочу — это уж мое дело. И ты меня, Трофим Иванович, не выпытывай.

— А я так, для интересу.

И бакалейщик, снова уткнувшись в листовку, продолжал степенно, негромко читать:

— «Многие из присутствующих лиц, составлявших свиту государя, утверждают, что в эту минуту генерал Воейков воскликнул, что «остается одно — открыть минский фронт немцам, и пусть германские войска придут для усмирения этой клоаки». Адмирал Нилов, как он ни был пьян, взволнованно сказал: «Вряд ли это удобно, ведь они заберут Россию и потом обратно нам не возвратят». Воейков продолжал настаивать, уверяя, что, по словам княжны Васильчиковой, император Вильгельм воюет не с Николаем, а с Россией, преследующей противодинастические цели. Государь ответил: «Да, об этом много раз говорил Григорий Ефимович (Распутин)...»

— Нам солдаты показывали открытку. Просто стыд и срам. Распутин с царицей голые... Тьфу!

— «Но мы его не слушали, — продолжал читать Бессалый, впитывая, как губка воду, каждое слово. — Это можно было еще сделать, когда германское войско стояло под Варшавой. Но я никогда не изменил бы русскому народу...»

— Не изменил... А в пятом году в Питере кто приказал расстреливать мирную демонстрацию? Там женщины были, дети, старики... Шли к царю искать правды и защиты. А как он их принял? Пулями да картечью ответил

на просьбу народа. Мы не забыли царской милости. Мы даже очень хорошо все это помним. А теперь, слышь, в Ливадию хочет ехать, цветочки нюхать... Убить его надо, как он убивал народ. Без всякой жалости — убить! — смелее повторил мужик в стареньком полушубке.

Все со страхом посмотрели на него.

— Гляди, Мефодий, посадят тебя за такие речи, тогда некому будет стеречь изаровский лес.

Трофим Иванович сделал вид, будто ничего не слышал, и продолжал чтение.

— «Последний раз я видел Николая в четыре часа тридцать минут вечера верстах в тридцати от ст. Русса. Он вышел на площадку землисто-бледный, в солдатской шинели с защитными полковничьими погонами. Папаха была сдвинута на затылок. Он несколько раз провел рукой по лбу. Растерянным взглядом обвел станционные постройки...»

— Опять небось водки нализался.

— «Рядом с ним, тяжело покачиваясь, стоял пьяный Нилов и что-то напевал. Постояв минуту, Николай вошел обратно в вагон. Поезд тронулся. Попасть на него я не мог».

Закончив чтение, Трофим Иванович с минуту молча рассматривал листок; потом, возвращая его мужику, сказал:

— А ты знаешь, что тебе будет, если эту штуку найдут стражники? Не знаешь? За этот листочек тебя на каторгу сошлют.

— Ну-ну, Трофим Иванович, ты нас не запугивай. Я ведь не один. Гляди, сколько нас на станцию ездило. Все мы ответчики. А Мефодий вот посоветовал к тебе зайти, потому как ты грамотный.

— Я советовал к Македону идти, — отозвался Мефодий, — да нам хотелось поскорее прочесть. Но вы ничего не бойтесь. Царя нет, трон рухнул, стало быть, должно быть по-новому...

А на следующий день вся слобода уже знала о совершившемся перевороте. Особенно радовались солдатки. Ведь если нет царя, значит конец войне. Значит, фронтовики скоро вернутся домой.

Но проходили дни за днями, а солдаты не возвращались.

20

Служанка внесла в Софьину комнату букет сирени и поставила в вазу.

— Можно мне, Софья Ивановна, отлучиться на часок? — спросила она, отламывая лишние веточки и листья. — Приехал на побывку Яков Македон. Хочу у него узнать, не встречал ли он моего мужа.

Служанка заметила, что на щеках Софьи вспыхнул румянец.

Последние дни Софья часто вспоминала Якова. И вот он так неожиданно приехал в слободу. Но не зашел к ней повидаться, ни единым словом не заикнулся о своем приезде. И Софье приходится узнавать эту новость от служанки. Яков в слободе. Яков вернулся, и она не отпустит его от себя ни за что на свете. Уж теперь-то она осуществит свой давний план.

«Господи, что со мной?» — подумала Софья, мельком взглянув в зеркало. Ей стало неловко перед служанкой, видевшей ее волнение и радость.

Служанка стояла молча, ожидая ответа.

— Иди... только, знаешь, о чем я тебя попрошу... Скажи ему, что, мол, Софья Ивановна просит к себе в гости... Обязательно чтоб зашел сегодня в вечеру... Нет, подожди... Лучше передай ему записку.

Она написала Якову несколько слов, вложила записку в конверт, старательно заклеила его. Служанка ушла. Софья ничего не могла делать. Все мысли ее были только о Якове. К ней приходили люди, но она никого не принимала. Ни о каких делах не хотела сейчас говорить.

— Завтра. Приходите завтра. Сегодня мне нездоровится.

Выпроводив не во-время пришедших посетителей, Софья подошла к гардеробу. Она примеряла лучшие свои наряды, но, посмотрев на себя в зеркало, сбрасывала их, надевала другие.

Наконец вспомнила о темновишневом платье, о том, в котором ездила с Яковом к мамврийскому дубу. Остановилась на нем и была довольна своим выбором. Именно в этом платье хотелось ей встретить Якова.

Глядя в роскошное трюмо, она разговаривала сама с собой, зная, что ее никто не подслушает:

— Любишь? Любишь Якова, Софья? Ну, скажи — любишь?

Из зеркала на нее смотрели горящие счастьем глаза. Но вдруг в голове у Софьи пронеслась тревожная мысль: «А что, если он не придет? Отец расскажет ему о Пимене, и он не придет?»

Однако она отогнала эту тревожную мысль. Яков должен прийти, должен наконец узнать, как он нужен ей, как истосковалась она по нем, как ей страшно бывает оставаться вечерами одной в этом большом доме, наполненном всяким добром. Она будет просить... Да, будет просить, лишь бы Яков остался в слободе, встречался с ней, как раньше, а она уж сумеет разбудить в нем прежнюю любовь, заставит вытравить из своего сердца и навсегда забыть Нину Черкашину.

Софья с нетерпением ожидала возвращения служанки. Время текло медленно, как никогда. Уже несколько раз Софья подходила к окну, смотрела на улицу, где жили Македоны. Если б только Яков остался в слободе!

Она вспомнила небольшую комнатку поблизости от фронта, свою беседу с Яковом... Она была уверена, что стоило бы ей только захотеть — и она сразу вышла бы замуж. Не один интендант предлагал ей свою руку и сердце. Не один из них, опьянев, ползал перед ней на коленях, вымаливая разрешения поцеловать ручку. Она, правда, не ученая, но зато богатая, красивая, умная. Ей забавно было смотреть, как солидные подполковники и полковники клялись ей в любви, обезумев от страсти. В такие минуты Софья ловко подсовывала выгодные для нее договоры, выпрашивала рекомендательные письма к влиятельным лицам — словом, умела обделывать свои дела. А за это платила развратным гулякам напускной нежностью, неискренним поцелуем — и только.

Свою страсть и нежность она берегла для человека, которого давно любила, — Якова Македона. С ним она согласна в любую минуту связать свою судьбу. Но теперь на пути к ее счастью стоит Нина Черкашина. Если Яков женился на Нине, то она напрасно ждет его. Эта мысль обжигала Софью, вызывала в ней безумную ревность и злобу к сопернице.

«Если даже он женился, я заставлю его бросить ее. Он должен быть моим... Я знаю его с детства... Еще

тогда мы с ним дружили... Не отдам! Никому не отдам Якова!»

Хотелось, чтобы скорее вернулась служанка, но та почему-то задерживалась; это беспокоило и томило Софью. Она не могла усидеть на месте, ходила по комнате, терзаясь мучительной неизвестностью. Остановившись перед зеркалом и любуясь собой, опять вспомнила, как опьяневший полковник Бабенко брал ее руки в свои и, поочередно целуя их, говорил, страстно глядя на нее: «Софья Ивановна! Голубушка моя! Я не встречал еще женщины, в которой бы так гармонически соединились ум, грация, украинская красота. Я ведь помню... Я жил на Роси... Там имение у моей бабушки... Я видел тамошних красавиц, но вы краше их. Особенно ваши глаза... Они горят, как звезды. Смотреть в них — истинное наслаждение».

Софья и сама знает: глаза у нее красивые. Гляделась в зеркало, вспоминала офицерские комплименты, невольно сравнивая себя с Ниной.

«А все-таки я красивее ее».

Только Яков никогда ничего не говорил о ее глазах, но ей всегда были милы его простые речи, его искреннее чувство, его ласки. Сегодня он опять будет рядом с ней. Только бы поскорее пришел. Целый вечер, целую ночь проведут они вдвоем, обо всем договорятся. Как приятно будет слушать родной голос, смотреть на Якова, статного, красивого.

Она поставит на стол самые дорогие вина, самую изысканную закуску. И когда Яков опьянеет, Софья выберет подходящую минуту и добьется от него согласия. И тогда наконец начнется та жизнь, то счастье, о котором она давно мечтает. И, может быть, она родит сына или дочь. Это свяжет ее с Яковом навсегда.

Боже, как любила бы она своего ребенка! Вечерами они сидели бы с Яковом на диване — сытые, довольные, любуясь девочкой или мальчиком. Нет, лучше иметь двоих — мальчика и девочку, чтоб крепче была семья. Хорошо, если мальчик будет похож на Якова, а девочка на маму. Софья даже глаза зажмурила от удовольствия, представляя себе будущее семейное счастье. Тогда никто бы не посмел посягать на ее богатство; все знали бы, что растут наследники. И не страшен был бы Трофим, который, словно Каин, подстерегает ее всюду. Она выгнала его из своего дома, как собаку. А случайно встречаясь

с ним на улице, проходит мимо, не здороваясь. Однако всякий раз чувствует на себе его пристальный, злой, мстительный взгляд. Что он думает — Софья не знает, но боится его попрежнему.

Бывали случаи, когда, засидевшись за полночь, Софья подходила перед сном к окну подышать свежим воздухом и с ужасом замечала у дома одинокую фигуру Трофима. В такие минуты ей особенно хотелось, чтоб рядом с ней был смелый, мужественный человек. Мысли ее уносились к фронту, и как живой вставал перед глазами образ Якова Македона.

Наконец пришла служанка.

— Видела? — спросила Софья, испытующе глядя на нее.

— Да, передала ему вашу записку.

— Ну, а что он?

— Сказал: «Может, приду».

Софья залилась румянцем. Глаза вспыхнули холодным, острым блеском.

— Ступай.

Служанка вышла. Оставшись одна, Софья заметалась по комнате, как зверь, посаженный в клетку. Мысли ее путались, в груди кипела злость и обида. «Может, приду». Эти слова, как огонь, жгли ей сердце. Теперь ей еще сильнее хотелось увидеть Якова — сегодня же, во что бы то ни стало. Она будет ждать его до вечера, а если он не придет...

«Я сама пойду к нему и приведу его в свой дом».

Софья не могла успокоиться. Ведь Яков знал о ее любви. Он должен верить в ее искренность. А если верит, то почему же так жестоко мучит ее? Почему? Чем холоднее и равнодушнее относился он к ней, тем больше хотела Софья развеять эту холодность, разбудить в нем прежние чувства.

«Разве можно не любить меня?» — думала она, и от досады ей хотелось плакать. «Глупый! Ты сомневаешься в моей любви? А я люблю тебя... Одного тебя... Нет для меня милее человека на свете... Ты один живешь в моем сердце, в моей душе...»

Она подошла к окну.

«Что со мной? Я сама не своя».

Посмотрела на улицу. Мимо окна прошли две женщи-

ны, потом кузнец. Проехал с порожней бочкой волостной водовоз.

Чья-то коза с маленькими козлятами объедала в соседнем палисаднике цветы. Незаметно подкравшись, хозяин поймал козу за рога и начал безжалостно стегать хворостиной по морде. Он бил ее жестоко. Несчастное животное извивалось в его сильных руках, а козлята, отбежав немного в сторону, остановились, глуповато посматривая на мать. Софье хотелось раскрыть окно, прекратить это ужасное избиение, но сосед уже отпустил животное. Коза, как сумасшедшая, бросилась вдоль улицы, а следом за ней, игриво подпрыгивая, помчались козлята. Софье жаль было козу; она решила сказать соседу, что грешно так избивать животных.

Затем внимание Софьи привлекла девочка-подросток. Согнувшись под непосильной тяжестью, девочка несла на коромысле два больших ведра. «Кто это?» — подумала Софья.

Присмотревшись, она узнала ее. Это дочь Сукачихи. Мать больная, лежит, хозяйничать приходится девочке. Софью не интересовало, чем больна солдатка, но девочку она пожалела. Прошел пьяный, напевая веселую песенку. Через минуту появилась свинья и, похрюкивая, разлеглась в грязной луже.

Софья распахнула настежь окно. Мимо дома проходили женщины, дети, проезжали груженные чем-то подводы, прикрытые рогожами или брезентом; Софья провожала взглядом каждую подводу, пока та не скрывалась из виду.

Прошло стадо, поднимая едкую дорожную пыль. Вечерело. Софья попрежнему сидела у раскрытого окна, с надеждой глядя на мост, через который должен пройти Яков. Но Яков все не показывался.

Беспокойство Софьи росло. «Может, приду», — вспоминался его неуверенный ответ.

«Все равно я тебя увижу. Вот возьму и сама пойду к тебе. Сейчас пойду!» Софья решительно встала, но вдруг взгляд ее приковал какой-то солдат. Присмотревшись внимательнее, она узнала Якова Македона. Вот он ступил на мост, остановился, смотрит через перила в реку. Опять идет. Софья, не отрывая глаз, следит за каждым его движением. Предвкушая радость предстоящей встречи, она забыла о его недавнем обидном ответе, о своих

сомнениях и тревоге. Радость заполнила все ее существо. Софья уже не отходила от окна. Лаская Якова взглядом, обезумев от счастья, она говорила, словно он мог ее слышать:

— Ты идешь наконец... идешь ко мне... Любимый мой... Я так жду тебя...

Ей показалось, что он увидел ее. Невольно отошла от окна и, подойдя к зеркалу, начала поправлять свои черные волосы, заплетенные в две тяжелые косы.

Вот он подходит к ее воротам. Поднимается по ступенькам. Стучит в дверь. И стучит Софьино сердце, замирая в груди.

Вошла служанка.

— Яков пришел, хочет вас видеть. Можно впустить?

Не отвечая служанке, Софья побежала к нему навстречу.

— Яков!..

— Здравствуйте, Софья Ивановна! — козырнул он по-солдатски.

Она едва удержалась, чтобы не броситься к нему на шею. Глаза ее вдруг наполнились слезами, горло сдавила спазма. Протянула ему руку.

— Пойдем, Яков... Яков Андреевич, — сказала она, глядя на статного, бравого солдата. Ей почему-то вспомнилась встреча в прифронтовом селе. — Я ждала тебя. Разве можно забывать старых друзей? Я узнаю о твоем приезде только на второй день... Как тебе не стыдно?

Яков молчал. Она ввела его в комнату, украшенную картинами, коврами, шкурами медведей. Яков никогда не был у нее после замужества. Эта роскошь поразила его.

— Садись, Яков. Ты для меня самый дорогой гость.

Усадив его в мягкое кресло, Софья вышла на минутку из комнаты.

— Кто бы ни спрашивал — меня нет дома, — услышал Яков, как она за дверью приказывала служанке. — Никого не пускать.

Вернувшись в комнату, она села против Якова. Улыбаясь, смотрела на него. Еще никогда не была она так взволнована и красива, как сейчас.

— Вот ты приехал, Яков, а я еще даже не поздоровалась с тобою как следует. — Она хотела обнять его, но он холодно отстранился.

— Не нужно, Софья Ивановна, — сказал он, вставая с кресла.

Она подумала, что он собирается уходить.

— Куда ты? — в глазах ее появилась тревога. — Ну, посмотри сюда. Посмотри мне в лицо. Разве ты не видишь, как я рада тебе?

— Я пришел к вам, Софья Ивановна. . .

— Нет, нет, и слышать ничего не хочу. Садись. Я никуда тебя не пущу. Я так долго ждала тебя. Садись, мой гость дорогой, садись, — говорила Софья, обнимая Якова за плечи. — У нас с тобой будет серьезный разговор. Но хорошим друзьям при встрече надо выпить хоть немножко вина. Не правда ли?

Софья подошла к буфету, вынула приготовленные заранее вина. «Нарочно надела вишневое платье. . . — думал Яков, наблюдая за ней. — Знает, что оно мне нравилось. И косы заплела, как девушка».

— Я на тебя, Яков, очень сердита, очень. Вот выпьем вина, потом все тебе расскажу.

На дорогую скатерть поставила бутылку муската и графинчик с крепкой, но приятной старкой, которую особенно любил брат Лукьян.

— Выпьем за нашу встречу и за нашу любовь! — глядя Якову в глаза, неуверенно промолвила Софья.

Она надеялась, что он ответит ей теплым дружеским словом, но он даже не прикоснулся к рюмке.

— Яков, ты мне не веришь? — тихо спросила Софья. Рука ее дрогнула. Она поставила рюмку на стол.

— Софья Ивановна, меня удивляет. . .

— Ах, Яков, пусть тебя ничто сейчас не удивляет. Ты у меня в гостях.

Она посмотрела ему в глаза.

— Если б ты знал, как ты дорог мне! — проговорила тихо.

Она истосковалась по ласке и всей душой тянулась к нему, простому солдату. Словно в забытьи, губы ее жарко шептали слова, подсказанные сердцем. Убеждающие, правдивые слова.

— Я так боялась, что ты не придешь. Кажется, умерла бы от тоски и обиды. Ведь я люблю тебя, Яков, поверь. . . Люблю! . .

Уже спустились сумерки, но Софья не зажигала лампы. Ее глаза впились в лицо Якову, она ловила его

взгляд. Какое-то непонятное тревожное чувство омрачало радость этой встречи, рождало в душе Софьи смутное беспокойство.

— Яков! Яша! Ну, посмотри мне в глаза. — Взяла его теплую, сильную руку, прижала к своей упругой груди. — Поцелуй меня.

— Софья Ивановна, не надо... Ни к чему все это.

— Я знаю! — Софья резко отшатнулась, вспыхнув от стыда и обиды. Тяжелые косы, будто змеи, упали ей на спину. — Знаю. Ты сердишься на меня за Черкашина. Угадала? Но я же здесь ни при чем. Это дело политическое, а я ни в какую политику не вмешиваюсь. Скажу тебе откровенно: мне самой было его жаль. Яков, милый мой, не хочу я сейчас о прошлом вспоминать! Я вижу тебя, и больше мне ничего не надо. Ты теперь никуда не уедешь. Мы сыграем свадьбу, ты станешь моим мужем. Все мои деньги, все мое богатство будет нашим. Я думала... я все время думала о тебе. И еще, знаешь, о чем? — Забыв о недавней обиде, она снова обняла Якова за плечи, прижалась к нему молодым жадным телом. — Я хочу, чтобы у нас был сын... на тебя похожий, и дочь... Как бы я любила наших детишек! Ведь пора, Яков, пора нам обзаводиться семьей. Мы счастливо заживем. Правда? Скажи: хочешь сына? Он будет обнимать тебя маленькими ручонками, будет говорить «папа». Сам чернявый, и глаза твои... Выучишь его играть на гармонике... Ну, что же ты молчишь?

Загремело, раскрываясь, окно. Софья вздрогнула. За окном зашумел листвой старый тополь; словно далекие взрывы снарядов, донеслись раскаты грома. Приближалась весенняя гроза. Софья подошла к окну, закрепила рамы крючками.

По небу быстро неслись сизые тучи.

— Яков, ты любишь грозу?

— Люблю.

— И я тоже, особенно ночью.

На соседские сады, на старый тополь беспрерывно налетал ветер, гремел где-то оторванным листом кровельного железа. Свежие струи ветра врывались в комнату, и, точно живые, шевелились тюлевые занавеси.

— Маленькой я страшно боялась грома и молнии, а теперь, когда случается такая ночь, я встаю с кровати, подхожу к окну и любуюсь грозой.

Чья-то высокая тень остановилась против окна. Софья испуганно схватила Якова за руку.

— Стоит! Видишь? Это Трофим.

Она рассказала Якову о том, как Трофим Бессалый душил свою жену, как он всегда, будто ястреб, следит за ней, бродит под ее окнами.

— Вот так и появляется неожиданно. Я догадываюсь, зачем он здесь бродит. Он ждет моей смерти... Он даже сам готов меня убить. Рука бы у него не дрогнула, я знаю. Мне страшно оставаться в доме одной. Видишь его, видишь?

Трофим перешел через дорогу, остановился у забора, постоял там минуты три и так же внезапно исчез.

— Днем он торгует в бакалейной лавке, а как придет ночь, он под окнами так и бродит, пугает меня.

— А что случилось с Пименом? — неожиданно спросил Яков.

Его вопрос неприятно задел вдову. Она сразу подумала, что Яков, наверно, уже знает историю убийства. Софья молчала. Надо было отвечать, но сказать правду она не решалась.

— Я слышал, что Пимен невиновен и Поля тоже, — продолжал допытываться Яков. — За что же их посадили в тюрьму?

Взглянув на Якова, Софья поняла, что он догадывается, кто истинный убийца и, может быть, сейчас назовет имя ее брата.

— Не нужно, не спрашивай меня, такое несчастье случилось... в этой комнате.

— И судьба Пимена зависела от вас, Софья Ивановна?

Этот допрос начинал сердить вдову. А за окном крепчал ветер, чаще вспыхивали молнии, рокотал гром. Всматриваясь в темень ночи, Софья говорила:

— Я знаю всю правду, но скажу ее тебе когда-нибудь потом... А сейчас не спрашивай меня, Яков, не надо. Разве нам с тобой не о чем больше говорить?

— Я слышал, — продолжал он настойчиво, — что солдатку убил ваш брат Трофим. Это правда?

Словно сердце ей оголил и больно хлестнул по нему плетью. Яков назвал имя убийцы. Софья молча стояла у раскрытого окна, испуганно глядя на Якова. Стараясь

скрыть свое волнение, она хотела замять неприятный разговор.

— Яков, ты допытываешься, как следователь. Я не хочу сейчас об этом говорить. Я ждала тебя... и думала о другом... Обними меня.

Не обнял. Будто чужой человек, а не Яков стоял рядом. Радость, вспыхнувшая в ее душе при встрече, начала понемногу угасать.

Против ее воли рождалось чувство раздражения и досады на себя за то, что позволила говорить о вещах не только неприятных, но и грозивших ей нехорошими последствиями.

«Я же люблю его, люблю», — старалась уверить себя Софья, но охватившая ее страсть быстро таяла. Она так нетерпеливо ждала Якова, так радовалась, что он пришел, и вот он уже не трогает ее сердца. Холодное равнодушие надвигалось на нее с такой неудержимой силой, что она не могла ни противиться, ни побороть этого чувства. И, может быть, поэтому, делая последнюю попытку расположить Якова к себе, она порывисто обняла могучие солдатские плечи.

— Пропаду я без тебя... Голубчик ты мой... Яша! От тоски по тебе умру...

Но это были уже лживые слова. Она не просила его остаться, не говорила больше о роскоши и богатстве, в которых протекала бы их супружеская жизнь. Не упоминала о сыне и дочери, которых ей страстно хотелось иметь от него, Якова.

— Зачем ты говоришь все это? Я ведь не маленький, все вижу, все понимаю.

Короткие вспышки молний освещали его строгий профиль, Яков был спокоен и холоден. Порой удары грома были так сильны, что дребезжали стекла.

— Вы обязаны написать куда следует, раскрыть правду, чтоб освободили из тюрьмы Базалия и его жену.

— Я? Чтобы я написала? — Она засмеялась.

В этом смехе звучал уже сдерживаемый гнев. Взяв фуражку, Яков направился к двери, но Софья преградила ему дорогу.

— Куда же ты? Разговор еще не окончен. Посиди еще. Да и на дворе гроза. Останься, Яков.

Первые дождевые капли забарабанили по крышам со-

седних домов, застучали в стекла. С шумом приближался ливень.

Гроза длилась недолго. Утих ветер, свежее стал воздух. Черная полоса туч постепенно уплывала на восток, открывая усеянное звездами небо.

Яков молча стоял у окна, глядя на улицу. Журчала мутная вода, стекая в реку. Успокоился тополь, но еще было слышно, как падали с верхних веток на нижние дождевые капли, ударяясь о зеленые глянцевитые пластинки листьев.

Софья молча, порывисто обняла Якова, словно навсегда прощалась с ним.

— Может быть, ты разлюбил меня за то, что я буржуйка? — спросила она голосом, в котором чувствовалась обида. — Яков, пойми, я несчастная женщина. Ни днем, ни ночью нет у меня покоя. За мной, как за диким зверем, охотится родной брат, чтоб убить меня и завладеть моим богатством. Не проходит ни одной ночи, чтоб я не испытывала жуткий страх за свою жизнь.

— Если богатство доставляет столько хлопот и неприятностей, кто же мешает вам избавиться от него? Раздайте свое богатство бедным солдаткам, вдовам, сиротам...

— Раздать? — Она рассмеялась. — Солдаткам, вдовам... Ах, какой ты смешной, Яков! — Смех ее быстро оборвался. — Да разве можно человеку, испытавшему такую жизнь, как я, разве можно ему так просто потерять свое добро? Нет! Я буду приумножать его, стану еще богаче. И тогда, может быть, ты сам ко мне придешь.

— Нет, не приду.

— Останешься с ними?

Он понял ее намек и спокойно ответил:

— Останусь.

— Пойдешь против нас, богачей?

— Пойду.

— Сломаем... Все равно сломаем! Где богатство — там сила. Запомни. Большевиков горсточка. Они слабые. Их переловят и рассуют: кого в Сибирь, кого в тюрьму... Я бы не хотела видеть тебя за решеткой. Мне обидно, что ты спутался с ними. Зачем? Я дам тебе другую — сытую, богатую жизнь. И если б я только могла, — Софья наклонилась к нему и, сверкая глазами, почти шепотом докончила: — я бы тысячи дала на постройку новых тюрем.

Тогда бы и другие боялись, стали б покорными... Яков, родной мой, погубят они тебя. До Сибири доведут!

Он слушал ее, а в памяти его вставало прошлое, такое милое, чистое, незабываемое...

Как он любил ее когда-то, простую работящую девушку! С каким волнением ждал ее в вечерний час возле реки, на горе или в лесу! Если не видел Софью день-другой, не находил себе места. Тосковал по ней, ожидая ее возвращения из Харькова, куда она иногда уезжала вместе с братом Трофимом за товарами для бакалейной лавки.

И всякий раз, встречая ее, раскидывал сильные руки, как крылья, а она — быстрая, живая, любимая — летела к нему в объятия. И сладкими были их поцелуи, их ласка и нежность. Они были счастливы и не замечали, как пролетала ночь и новый день загорался на востоке розовым рассветом. Они любили и не могли наглядеться друг на друга. Но вскоре все оборвалось... Софья вышла замуж.

То юношеское, светлое и чистое, что наполняло их тогда, осталось лишь в воспоминаниях, как дивный сон.

Вот она стоит перед ним... Но это уже не прежняя Софья, — такая она чужая, далекая, враждебная. Ее белые руки, обнимавшие его, ее змеиный шепот жалили Якова, как крапива, вызывая в нем неприязнь.

А она все еще по-кошачьи ластилась к нему, стараясь вызвать сострадание, сочувствие к себе.

— Я с ума сойду. Мне даже подумать страшно, Яков, что ты разлюбил меня. Неужели в твоей душе ничего не осталось? Ничего старого? А ведь как ты любил меня! Яков, родной ты мой, ну обними, пожалей меня хоть немножко. Ведь я так истосковалась по тебе. Не мучь меня.

Он грубо разнял ее руки, оторвал их от себя. Решительно надел свой вылинявший под солнцем и дождями солдатский картуз.

— Уходишь?

— Ухожу.

— Невесело тебе, значит, со мной?

— Разные мы теперь люди. Я ведь пришел к вам просить за Пимена. Невинные люди сидят в тюрьме. Нехорошо... Ну что ж, если вы отказываетесь написать заявление, мы иные пути искать будем. Прощайте!

— А я не пущу тебя. Я знаю... я догадываюсь, кто будет твоими советчиками. Артем Черкашин, Нина? Она.

сердцем... завладела?.. Не отдам! Никому тебя не отдам!

Ее снова охватила дикая, неудержимая страсть. Она обвила руками его шею.

— Пожалей меня, не уходи!.. Прошу тебя... Ведь ты же, наверно, скоро уедешь... Правда, уедешь? Кто знает, когда мы еще увидимся с тобой? Может быть, вернешься с войны, а меня уж не будет в живых. И кто-нибудь расскажет тебе, как злые, безжалостные люди растащили мое добро. Ты не хочешь, чтобы меня убили?

— Пустите! Мне надо идти.

Но она будто не слышала его слов, не замечала его неприязни. Вся во власти нахлынувшей страсти, Софья сама не понимала, что говорила Якову.

— А может быть, я, вдова, бывшая богачка, буду доживать свой несчастный век где-нибудь в плюхонькой избушке... Но даже тогда я не забуду тебя, Яков...

Резким, сильным движением вырвавшись из ее рук, Яков, не оборачиваясь, вышел из комнаты.

От забора на другую сторону дороги перебежала высокая тощая фигура в черном пальто.

Невольно взглянув на окно, Яков увидел Софью. Она стояла неподвижно, прислонившись к холодному стеклу.

Якову почудилось, что она позвала его, но он, не взглянув больше в ее сторону, пошел пустынной улицей к мосту.

Солдатские сапоги скользили по грязи. На небе ярко горели звезды, а перед глазами Якова стоял образ Софьи, точно окаменевшей у окна, не вызывая в его душе ни жалости, ни сострадания.

В слободской церкви сторож отбивал двенадцать часов.

30

Софья больше не виделась с Яковом. Уехал ли он из слободы, гостит ли еще — она не знала.

Из окна ее комнаты видны были хатенка с тремя оконцами на улицу и дворик, огороженный забором, за которым росли кусты акаций и молодой вяз.

Порой кто-то выходил из хатенки, садился на лавочку возле забора. Тогда Софья брала бинокль, подаренный ей

[1] С 30-й главы и до конца перевод Н. Роговой.

покойным Изаровым, и сразу узнавала Македониху. Софья почти нигде не бывала. У нее накопилось много всяких дел, и она писала письма в интендантство с запросами, почему ей не высылают денег по договорам.

Продолжительное молчание интендантских офицеров уже серьезно беспокоило ее.

Да еще тревожил Яков Македон. Какая-то пустота образовалась в Софьиной душе после встречи с ним. А сегодня вот опять захотелось повидать его... Это желание преследовало ее почти весь день, и, подавив в себе чувство оскорбленной гордости, Софья решилась написать Якову записку.

— Сходи к Македонам, отдай этот конверт Якову, — приказала она служанке, — да только, смотри, в собственные руки.

— Якову? — с удивлением переспросила солдатка.— А его ведь нету в слободе. Уже три дня как уехал.

Новость поразила Софью.

— Как же так уехал?.. И не зашел проститься... — Сразу стало душно, словно вся кровь прилила к лицу.

Изорвав конверт на мелкие кусочки, она грубо крикнула:

— Ступай! Чего стоишь?

Солдатка покорно вышла из комнаты. Софья легла на диван. Ее охватила тоска. Именно теперь, когда уж нельзя было вернуть Якова, особенно сильно хотелось ей увидеть его, поговорить с ним.

— Не любит он меня больше... Не любит... — в волнении шептала вдова.

В коридоре послышался голос служанки:

— Нельзя. Софья Ивановна приказали не пускать вас в дом.

— Прочь, хамка! — раздался окрик Трофима. — Я тебя...

Софья вздрогнула, узнав голос брата.

Еще не зная, что случилось, но предчувствуя какую-то беду, прислушалась к его торопливым шагам. Вот он уже дошел до дверей, вот, не постучавшись, открыл их и остановился на пороге. В глазах его застыл страх и растерянность.

— Значит, застал тебя дома... Хорошо... Ты не прогоняй меня... Ты выслушай...

— Говори: зачем пришел? — сказала Софья, сурово нахмурив брови, готовая к любой неожиданности. — Опять что-нибудь с Олимпиадой?

— А? С Олимпиадой? — переспросил он, удивляясь тому, как могла прийти ей в голову такая мысль. — С женой, слава богу, все в порядке. А вот на твоей земле комитетчики хозяйничают.

Софья поднялась с дивана. Лицо ее побледнело, в глазах вспыхнул гнев.

— Не понимаю... Как это... хозяйничают?

— Яков Македон собирал бедняков, учил, что делать.

— Поедем!

— Поедем, Софочка. Я вижу — беспорядок. Твое добро хотят забрать. Как можно такое допустить? Если б ты чужой была... А то ведь родная сестра. У тебя берут — моя душа болит.

Софья приказала немедленно запрягать и через несколько минут вместе с братом мчалась к месту небывалого происшествия.

Трофим Иванович сидел молча, обеими руками держась за сиденье, чтоб не выпасть во время этой сумасшедшей езды.

Софья гнала лошадей, яростно подхлестывая их плетью. Уж она сумеет справиться с теми, кто осмелился посягнуть на ее добро!

Но вдруг у нее мелькнула новая мысль. А если брат нарочно придумал эту ловушку, чтобы вытащить ее из дому и наконец выполнить свой давний злодейский план? Возникнув раз, эта мысль уже не давала ей покоя. Сначала Софья незаметно поглядывала на сутулую фигуру брата. Его холодный взгляд не предвещал ничего доброго, и она все больше убеждалась в том, что вся эта поездка не что иное, как хитро задуманный, коварный план, который угрожает ей смертью.

Она резко остановила лошадей. Трофим с удивлением взглянул на сестру.

— Мы еще не доехали, Софочка.

— Слезай! — сурово и властно приказала она.

— Что ты, Софочка? Шутить вздумала? Не время теперь. Погоняй, сейчас каждая минута дорога.

— Слезай, тебе говорю! — закричала она, теряя самообладание.

Трофим, поняв, что с ним не шутят, покорно слез.

— Но почему, Софочка, почему ты меня гонишь? Чем я тебя обидел?

Не отвечая, она пустила лошадей вскачь, оставив среди дороги Трофима Ивановича, который, ничего не понимая, смотрел ей вслед.

Но вскоре Софья поняла — брат говорил правду. На лугу она увидела толпу слобожан. Мужчина в фартуке столяра деревянной саженью отмерял делянки. Время от времени он останавливался, и тогда дед Михей старательно вбивал в землю заранее приготовленный, хорошо обтесанный колышек. В новое, необычное дело включились и женщины. Оставив детей, позабыв о домашних заботах, они тоже вышли делить Софьину землю.

Иногда женщины начинали ссориться из-за делянок, но их быстро мирил мужчина в фартуке.

Софья издали наблюдала за всем, творившимся на ее земле. Она была потрясена, не верила своим глазам. Лютая злоба охватила ее, затуманила разум... Она уже знала: во всем виноват Яков Македон. Это он организовал бедноту, он научил их, и вот слобожане хозяйничают на ее земле.

Софья отпустила вожжи, и лошади понеслись к лугу. Толпа замерла. Старый Михей бросил колья на землю и заслонил их собой, чтоб не заметила богачка. Тройка остановилась. Легко соскочив с брички, стиснув в руке плеть, бледная, с горящими от гнева глазами Софья приближалась к скованной молчанием толпе, внимательно вглядывалась в настороженные лица слобожан.

— Что это вы тут делаете?

Никто не ответил. Софья с решительным видом подошла к столяру Македону.

— Давай сюда сажень!

— А не покаталась бы ты, Софья, на своих рысаках, пока мы закончим наше дело? — спокойно спросил ее Андрей Степанович.

В толпе засмеялись, и этот смех поразил богачку сильнее самой грубой брани.

Софья взмахнула было плетью, но столяр так взглянул ей в глаза, что рука ее опустилась.

— Прочь с моей земли! Прочь, хамы! Делить луг? Колья вбивать? Хозяйничать вздумали? Прочь! Чтобы и духу вашего здесь не было. Я вам покажу, как моим добром распоряжаться!

Стремительно, с гневным лицом подошла она к первому колышку, чтобы вытащить его из земли. Но неожиданно перед нею встала Сукачиха.

— Не тронь! Слышишь? Не тронь тут ничего! Это теперь моя земля. Народ мне ее дал, — сказала Марина, смело глядя в лицо богачки.

Давно не видала ее Софья. Солдатка очень исхудала. Бледная, измученная, она выглядела старше своих лет. Видно, немало нужды, горя натерпелась за это время Марина. Они-то и состарили ее раньше времени. Прежними остались только глаза, холодные, гневные, как у человека, решившегося на все. Никогда еще Софья не видела ее такой.

— Ты живешь — дай и нам жить! — сказала Марина, едва сдерживаясь. — А то плохо тебе будет. За войну мы злы стали, лучше не трогай нас.

К удивлению Софьи Марину поддержали все женщины.

— Примчалась на рысаках... Буржуйка!

— Земли жалко? Решила колышки повыдергивать? А твоя земля-то?

— А чья же? У меня на нее документы есть.

— Пускай эти документы у тебя и лежат, а землю мы разделили... Народ так постановил.

— Народ теперь всему хозяин.

— Хапуги проклятые! С жиру бесятся. На муках и слезах наших свое счастье строят. Лукьян скольких солдаток обидел? Сколько земли себе прирезал? Живет теперь, ровно помещик. А нам пропадать с голоду?

— Погоди! Мы и до него доберемся.

— Не слушай ее, Андрей Степаныч, знай свое дело, мерь дальше!

Удивительное дело! Еще совсем недавно все эти женщины кланялись Софье при встречах, а теперь их не узнать. Софья не ожидала такого дружного отпора. Глядя в Маринино лицо, почувствовала: не даст Сукачиха выдернуть колышек, отмечающий ее делянку.

— По-хорошему прошу вас, уходите отсюда, уходите с моего луга, — с угрозой проговорила Софья. — Не накликайте на себя беду.

Перед Софьей попрежнему стояла Марина, повязанная старым платком. Кофта на ней тоже старая, в заплатах, а юбку эту она носит и в будни и в праздники.

— Ты выгнала меня из мастерской, Софья, а у меня трое детей, муж на войне...

— Посидела бы в холодной хате с малыми детьми — не то бы запела, — поддержали Марину солдатки.

— Зачем ей в холодной хате сидеть? У нее камин. Она своего кота греет. Детей не способна рожать, так хоть кота покачает.

— Расскажи лучше, как на фронте с полковниками путалась!

— Это дело темное, бабы. О таких делах не рассказывают. У них в роду все распутные.

— Ишь ты, колышки ей глаза мозолят. У сирот последний кусок хлеба отнять хочет. Богачка, бессовестная...

— Так ведь богачи — они все бессовестные.

— Мой муж погиб на войне, детишки остались. Ты спросила меня хоть раз — как я живу, что ем, как дети мои одеты? А человек за вас, буржуев, голову сложил. Тысячи загребаешь, а нам даже картошки купить не на что. Дороговизна вон какая, денег нет, а нужда с каждым днем все тяжелее. Как нам жить?

— Слышишь, Софья, что говорят солдатки? Лучше тебе отсюда уехать, пока не поздно. Садись в свою бричку и катайся... Некогда нам. У нас своих дел много.

Марина открыто насмехалась над слободской богачкой. Не было в ней ни прежнего страха, ни покорности. Наоборот, смотрела гордо и смело. И это раздражало Софью, вызывая ненависть и странное для нее самой чувство страха. С каким наслаждением стегнула бы она плетью по изнуренному лицу солдатки!

Но нельзя. Толпа сразу сомнет ее. Софья тотчас поняла это и затаила в сердце злобу. Не говоря ни слова, быстро пошла к тройке. Слобожане видели, как богачка вымещала свою злость на лошадях, нещадно стегая их плетью. Лошади, как дикие, мчались к слободе, оставляя позади длинное облако густой дорожной пыли.

Страшно было смотреть на искаженное гневом лицо Софьи. Словно безумная, неслась она на тройке, разговаривая сама с собой.

— Что, боишься их, боишься? Все отберут... И землю твою и лес... и все богатство... Колышек вытащить не решилась! Марины испугалась? Проклятые!..

Она не заметила, как из придорожного куста орешни-

ка вышел на дорогу Трофим Иванович и, подняв руку, попытался остановить тройку, летевшую, как вихрь.

— Софочка, остановись! Остановись! — закричал он, отскакивая в сторону, чтобы не растоптали лошади.

Софья даже не взглянула на брата. Некоторое время он бежал за ней, надеясь, что она опомнится и подвезет его до слободы. Но, видя, как быстро удаляется тройка, остановился и погрозил ей вслед кулаком.

Софья не оглянулась. Дома ее ждали неприятные телеграммы из интендантства. В них сообщалось, что старые договоры аннулируются, а новых не будет. Прочитав телеграммы, она опустилась в кресло.

— Что же это начинается?

В большом зеркале отражалось ее растерянное лицо.

Стало душно. Она распахнула окно. По улице, возвращаясь с луга, шел Трофим Иванович, время от времени вытирая платком вспотевшее лицо; он, видимо, направлялся к ней.

Софья позвала служанку.

— Кто бы ни спрашивал меня, — сурово приказала она, — никого не впускать. Мне нездоровится.

На этот раз ей действительно было плохо.

31

Несколько дней не могла успокоиться Софья. Старый Македон, которого раньше она уважала, возглавил бедноту! Никогда не забыть ей того дня, когда, не обращая на нее внимания, он спокойно делил ее луг.

Была у Софьи земля — и нет ее. Отобрать назад делянки, нарезанные Македоном, ей сейчас не под силу: стражников теперь нет, и даже пристава женщины поймали на базаре, избили, забросали грязью, и он убежал от них едва живой. Больше его в слободе не видели.

Лютую злобу на всех, кто пользуется ее землей, затаила Софья в душе. Но пуще всего — на столяра Македона и Марину. Софья ждала только удобного случая, чтоб отомстить.

День и ночь у нее горит теперь лампада перед иконами. Софья сидит в кресле, разглядывает аннулированные договоры или, запершись в спальне, пересчитывает деньги, взятые в банке.

Не дают ей покоя эти деньги. А брат Трофим, как и прежде, бродит под окнами, и Софья еще больше стала бояться его черной тени.

Часто мимо ее дома проходят солдаты, вернувшиеся с фронта. С каждым днем их все больше становится в слободе. Однажды на базаре Софья слышала, как один из них, собрав вокруг себя слобожан, рассказывал им про войну, про буржуев, про Гришку Распутина. Так же неуважительно говорил он и о самой царице Александре Федоровне: будто она была шпионкой и передавала немецкому командованию секретные сведения о России и русской армии.

Слушала Софья и других солдат. Особенно поразил ее какой-то безрукий, с георгиевским крестом, который сказал, что эта война не нужна народу. Дескать, на фронте он видел большевистских агитаторов, которые говорили про другую войну — гражданскую, когда солдаты с оружием в руках, объединившись с рабочими и крестьянами, пойдут громить капиталистов, помещиков, буржуев. «Не будет тогда им, кровопийцам, никакой пощады от народа», — говорил он.

Слобожане жадно слушали такие речи, а в Софье они вызывали тревожное предчувствие неминуемой беды.

Каждый день на базаре можно было видеть кучки людей, разговаривавших о войне, земле, о свергнутом самодержавии. Люди точно переродились, и события мирового масштаба вытеснили в беседах обыденные дела. Говорили о судьбе России, о новых порядках, которые принесла с собой февральская революция.

Софью раздражали эти разговоры. Она уходила домой и часами сидела одна в своей комнате — никак не могла забыть того, что слышала от солдат.

Любой человек в шинели привлекал ее внимание, напоминая о Якове. Уволенные из Софьиной мастерской солдатки со дня на день ждали возвращения своих мужей. В слободе даже распространился слух, что на днях через станцию проедут эшелоны с солдатами, направляющимися в Петроград. Слобожане верили этим слухам и почти каждый день ходили за семь километров на станцию, надеясь встретить своих близких. И бывали случаи, что какая-нибудь солдатка невзначай встречала своего мужа. Такой счастливице сильно завидовали женщины; окружив земляка, они жадно расспрашивали у него про

своих мужей, но ничего хорошего не мог сказать им солдат: не видал он их мужей — был на другом фронте, а сейчас, бросив оружие, возвращался с опротивевшей ему войны домой.

Немало безоружных солдат проходило через слободу в соседние села, вызывая у жителей особенное любопытство и зависть. Не у одной молодицы, завидевшей солдат, замирало сердце в радостном волнении и надежде: «Уж не мой ли это Иван идет с войны?»

Но солдат подходил ближе, здоровался и шел дальше своей дорогой. А те, кто ждали мужа, отца или сына, завидовали семьям, встретившим наконец в родном доме самого дорогого человека.

Только Софьиного сердца не волновали солдаты. Ведь нет войны — нет прибыли. Вот отняли у нее луг, и теперь можно часто видеть, как толпы крестьян ходят по тем местам, где когда-то столяр Македон отмерял делянки.

Каждый день приносил Софье новые тревоги и беспокойство. Засев в своем доме и, как ей казалось, всецело отгородившись от внешнего мира, она искала забвения в молитвах. В такие минуты взгляд ее обращался к иконам, освещенным лампадой, и горячие, исполненные глубокой веры слова летели к богу, моля его о спасении от злых грабителей, так нагло посягнувших на ее добро.

В Софьиных ящиках, помимо золота, были спрятаны еще десятки тысяч рублей ассигнациями. Софья так боялась потерять их, что часто, прервав молитву, резко поднималась с колен и в страхе оглядывала комнату, где ей чудился подозрительный шорох. Все стояло на своих местах. Никого не было, но она долго не могла успокоиться, взволнованно, неслышными шагами ходила по комнате, напоминая загнанную в клетку волчицу. Никогда еще жадность и страх не владели ею так сильно, как в эти дни. По вечерам она не только не выходила из дому, но даже не решалась стоять у окна, помня, что с улицы постоянно следит за нею брат. Кто знает: может, он раздобыл оружие и убьет ее...

Иногда ей казалось, что золота уже нет, и она, проверив, заперты ли все двери, подходила к своим тайникам и вытаскивала ящики, доверху набитые золотыми червонцами. Трясущимися от волнения руками начинала для чего-то пересчитывать.

Зашуршит мышь за дверями или под комодом —

и Софья, вздрогнув, замрет, прислушиваясь к шороху: «Может, это слободская голытьба нагрянула, чтоб забрать золото? Землю отобрали, могут и деньги отобрать». Она быстро прятала ящики. Теперь ей часто думалось, что золото опасно прятать в комнате; надо бы подыскать для него надежное место где-нибудь в лесу, да там и закопать. Ведь все может случиться. Могут грабители забраться в дом. Может Трофим прийти. Ключ-то у него, наверно, есть. Да и эти рассвирепевшие оборванцы могут дом поджечь.

— Спрячу в лесу... Пойду на троицу и спрячу. Так надежнее будет.

Но мысль о том, что ее могут проследить и тогда все золото попадет в чужие руки, удерживала Софью от рискованного шага. Золото, как и раньше, хранилось в потайных ящиках под несколькими замками, и Софья почти ежедневно проверяла, цело ли оно.

Вот и сегодня она одна. Горит лампада. Светит в небе равнодушный месяц. Его отблески играют на Ворскле, будто живые огни. Хорошо видны над рекою покрытые цветами белые фруктовые сады. Поют соловьи. Софья прислушивается к их пенью, и оно немного успокаивает ее, вызывая приятные воспоминания о юности, которую нельзя забыть...

Кто-то постучал в дверь. Софья вздрогнула. Всякий резкий или неожиданный стук пугал ее теперь. Подошла к дверям и, не открывая, спросила:

— Кто?

— Я, Софочка, открой.

Словно кто облил Софью с головы до ног ледяной водой. Она вся замерла от страха.

— Не бойся, Софочка, это я, Трофим, — сказал брат и замолчал, ожидая, пока она откроет дверь.

— Не могу я тебя впустить — раздета. Спать ложусь.

— Тогда я завтра приду.

— И завтра не приходи. Никогда не приходи.

Несколько минут за дверью было тихо. Потом он ушел, и в коридоре слышны были его удалявшиеся шаги. «Что он хотел мне сказать?» — подумала Софья, когда шаги совсем стихли. В ней разгорелось любопытство, но страх был так велик, что она не решилась вернуть Трофима, только следила из окна за его сутулой фигурой, видневшейся в безлюдном переулке.

«Зачем он приходил? Может, хотел сообщить что-нибудь важное для меня?»

Но мысль о том, что это была лишь одна из его злодейских уловок, заглушила любопытство, породив в душе новые подозрения, тревогу и страх.

Нет, не пустит она его в комнату, не пустит ни за что на свете.

Зачем рисковать? Ведь ей известны его черные думы.

«Как он проник сюда? Неужели служанка впустила?»

Но служанки почему-то не было дома, и это очень рассердило Софью. «Как, — думала она, бегая по комнате, — оставлять дом, не спросив меня? Да что это такое? Кто разрешил? Куда это понадобилось ей уйти?»

Служанки долго не было, лишь поздним вечером пришла она с собрания, которое проводил старый Македон. Софья набросилась было на нее с руганью, но впервые на хозяйские оскорбления солдатка смело ответила:

— Не очень-то кричите! А то пойду к Македону пожалуюсь. Вам же хуже будет. Теперь есть кому за нас заступиться.

Софья притихла. Растерянный взгляд ее остановился на иконах, где мерцал синий огонек лампадки. Едва слышно она прошептала:

— Господи, что же со мной будет?

32

Длинный товарный поезд украшен зеленью и цветами.

На многих вагонах кумачовые полотнища, а там, где их нет, во всю длину размашисто большими буквами написаны мелом лозунги: «Долой войну!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!»

Много станций, полустанков осталось позади, и почти везде солдат встречали местные жители, разыскивавшие своих сыновей, отцов, братьев.

Если почему-либо эшелон задерживался, солдаты выходили на перрон. Иногда бывалый вояка, смело обняв какую-нибудь солдатку, тут же, на перроне, пускался в пляс под звуки гармоники.

Мелькали юбки, блузки, платки. Слышалось игривое щебетание девушек, веселые шутки и прибаутки молодиц.

И так до первого звонка. Случалось, далеко от стан-

ции отъедут солдаты, а разговоры все не прекращаются.

— Вот покончили с войной, приеду сюда жениться. Красивые тут девушки.

— А молодицы? Видел, какую я подцепил? Не бабочка — огонь. Даже в жар меня бросило. Вот бы с такой понежиться, а?

— Я так скажу, — отозвался кто-то из дальнего угла. — Есть на белом свете хорошие бабы, понятное дело, но красивее наших, слободских, не найти. Правду я говорю, земляк? — повернулся он к Метелику, который сидел на нарах, задумавшись.

— А? Чего тебе?

— Девушек, говорю, красивее наших, слободских, в целом мире не найдешь. Правда?

— Да, да, — рассеянно ответил Метелик, продолжая думать о чем-то своем, обжигающем душу. За всю дорогу он ни разу не вышел на перрон, только из вагона наблюдал, как танцевали и веселились другие, а сам оставался равнодушен.

Чем ближе подъезжали к родным местам, тем больше росли в нем беспокойство и тревога.

— Чего это ты, Метелик, загрустил? Все равно жены не вернешь. Ее небось в Сибирь загнали на каторгу. Сынок, верно, у какого-нибудь хуторского кулака коров пасет. На свою печаль-тоску плюнь, дунь — на душе повеселеет. Если нам за все да про все болеть — засохнешь, как сухарь, — говорил солдат, который был хорошим танцором и на фронте больше всего боялся ранения в ногу.

Яков подсел к Метелику, заглянул ему в глаза, понял его скорбь.

— Не тужи, друг, вернемся в слободу, начнем жить по-новому. Слыхал? Софьину землю беднота отобрала. И у Лукьяна тоже. А помню, когда я бывало собирал бедняков, толковал им, как надо действовать, они боялись, все допытывались, что им за это будет. Земля-то у Софьи, сам знаешь, чернозем! На такой земле всегда хороший хлеб родится.

Мимо станций и полустанков, мимо городов и сел проезжали солдаты, рассказывали друг другу о довоенной своей жизни, но больше всего было разговоров о земле; крестьяне начали отбирать землю у помещиков и богатеев, не дожидаясь декрета.

Из дальнего угла вагона раздался голос Кузьмы Сукачева:

— Выйдут ли нас встречать?

С нижних нар отозвался Глеб Калмыков:

— Мне можно спать: меня встречать некому. Правда, понравилась мне монашка одна. Возле гроба прапорщика Бессалого псалтырь читала. Молоденькая такая, красивая. Но она не придет. Монашкам устав запрещает видаться с мужчинами.

Кто-то шутя предложил:

— А ты, Глеб, без устава действуй. Они, монашки-то эти, удалых парней даже очень уважают. А коли случится какой грех, замолят. Они на это дело мастерицы — грехи замаливать.

— Воды бы напиться. У меня фляжка пустая, — сказал Метелик, ни к кому не обращаясь.

— Скоро станция. Говорят, десять минут или больше стоять будем, вот и наберешь. Вода тут хорошая. До войны я бывал в этих местах. На сахарном заводе работал в экономии. Завод известный. И садов здесь много. Раньше бывало на станцию яблок навезут — горы. . .

Вскоре показалась труба сахарного завода, большие поля свеклы, а за ними едва виднелось село, расцвеченное фруктовыми садами.

— Савелий, слышишь? Вставай яблоки есть, — тормошил Кузьма друга.

— Яблоки? — совсем проснувшись, спокойно переспросил Савелий. — Да я, правду сказать, не очень их люблю. Вот кабы парное молочко! Молочка бы я выпил.

— Здесь мы все достанем.

Поезд остановился. Из вагонов выскочили солдаты, побежали за одноэтажное здание станции, где стояли крестьянки с яблоками, грушами, молоком, хлебом, пирогами.

— Держи, держи его! — закричала какая-то женщина.

Метелик увидел мальчика, за которым гналось несколько человек. Поймав, они сразу начали его бить.

— Откуда он взялся, проклятый! — кричала молодица, сжимая в руках кусок поджаренной курицы, который она уже успела отобрать у мальчика. — В садах яблоки обрывают, тут прямо из корзины тащат! Убить их мало, подлецов!

— Такой не только в корзине шарит, чего доброго и кошелек из кармана вытащит.

— Проучить надо!

— Чтоб другим повадно не было!

— Бей его, негодника!

— Бей!

Мальчонку жестоко били, пока он, обессилев, не упал.

— Хоть бы издох, проклятый! Жить из-за них невозможно. Их бьют, а они живучи, как кошки. Всыпьте ему хорошенько! Еще, еще! — подзадоривала мужчин молодица, а увидев Метелика, ласково заговорила: — Может, солдатик, курятинки попробуешь? Недорого возьму. Жирненький кусочек.

— Не смейте бить мальчика! — закричал Метелик. — Не смейте!

Люди расступились. На земле лежал босоногий подросток, заслоняясь от ударов черными, давно не мытыми руками. Его уже никто не бил, но он, съежившись, все еще лежал в пыли. Метелик взял мальчика за руку, тот застонал:

— Не бейте, не бейте, дядечка! Я больше не буду. Не бу-у-ду...

Метелик поставил его на ноги, и все увидели, как в глазах солдата вдруг вспыхнули радость и изумление.

— Володя! Сынок!..

Лицо мальчика было обезображено пылью и кровью. Растерявшись, он несколько секунд стоял молча. Потом бросился к отцу, черными ручонками обхватил его шею.

Солдат обнимал сына, глядя полными слез глазами на людей, которые только что били мальчика. И люди отворачивались, пораженные удивительной встречей отца с сыном, уходили прочь, стыдясь расправы.

— Пойдем, сынок, достанем воды, я умою тебя... Вместе поедем... Теперь уж мы не расстанемся.

И Метелик повел Володю к крану с водой. Их провожали сочувствующими взглядами, и даже те, которые минуту тому назад желали мальчику смерти, сейчас говорили хоро[illegible] теплые слова.

— Ви[illegible] где отец-то? А мать небось померла. Так оно и выходи[illegible].. Мальчонке негде голову приклонить. Ни отца, значит, ни матери. Поневоле воровать начнешь, чтобы с голоду не пропасть. Зря избили мальчишку.

— Ничего, заживет, как на собаке... Радость-то какая — отца встретил! Родного отца!

В вагоне появился еще один пассажир. Суровый, молчаливый Савелий взглянул на Володьку, усмехнулся в бороду и ласково сказал:

— Ничего, сынок, поедешь с нами. Обижать тебя мы никому не позволим. — И, вынув из кармана большое румяное яблоко, протянул мальчику: — Ешь, малый, не унывай, я вот тоже подкрепился молоком, вкусное на этой станции молоко, дешевое.

Савелий опять лег, а Метелик, вынув из вещевого мешка ломоть хлеба и разыскав завалявшийся кусочек сахару, отдал их Володе. Мальчик с жадностью ел хлеб, глядя на отца подбитым, кроваво-фиолетовым глазом.

— Вы, папа, домой драпаете? — спросил он.

— Как ты сказал? — удивленно взглянул на сына Метелик. — Драпаете? Это кто же научил тебя таким словам?

— А шпана, — ответил Володя и, немного смутившись, объяснил: — Мальчишки такие, беспризорные.

Поев хлеба, Володя лег и быстро уснул. Задумчивый, сидел подле него Метелик.

— Сына вот встретил, — заговорил он, ни к кому не обращаясь. — А жена... может, в Сибири, может, померла в тюрьме — кто знает? Адреса нет, вестей тоже никаких. Где искать? У кого спросить?

— У Софьи Изаровой. Без нее тут дело не обошлось. Расспросишь ее хорошенько, скажет... Они, буржуи, стали теперь робки, солдат побаиваются... Все тебе скажет.

Поезд мчался по степи. Вдали кружилось воронье. По обочинам дороги мелькали телеграфные столбы, на них иногда чернели одинокие ястребы.

Солдаты толпились возле раскрытых дверей. Еще несколько перегонов — и подъедут к небольшой станции Новоборисовке, где, наверно, многим посчастливится повидать родных.

— А знают в слободе про наш эшелон? Выйдут ли нас встречать? — с тревогой проговорил Кузьма С[illegible]ачев, не отрывая глаз от тополей, скрывавших своей л[illegible]вой маленькую станцию.

Миновали будку железнодорожного обходчика. Блеснула Ворскла, извиваясь у берегов, поросших камышом, вербами, лозой. По реке на крошечной «душегубке» плыл

рыбак, закидывая сеть, на берегу женщина полоскала белье и била его деревянным вальком.

— Рыба в нашей речке хорошая. Как закончим войну и, даст бог, в живых останемся, приезжай ко мне, Савелий, погостить. Вкусной ухой тебя угощу.

— Приеду. Я молоко люблю и уху из окуней уважаю. А если к ухе еще рюмочка водки найдется...

— Найдем. Моя Марина достанет.

Через несколько минут поезд подошел к станции. Еще из вагона Кузьма Сукачев увидел много знакомых лиц, но среди них не было Марины.

— Что же это она?.. Не знала разве или еще что? Почти все солдатки пришли, а ее нет. Может, дома опять какая-нибудь беда приключилась?

Яков Македон, не дожидаясь, пока поезд остановится, соскочил на ходу; мать бросилась в его объятия. На перроне стоял и дед Михей, всматривался в солдат, надеясь увидеть Тереня.

— Дедусь, здравствуйте! — услышал он знакомый голос и очень удивился, когда перед ним словно из-под земли вырос молодой, стройный солдат, совсем не похожий на Тереня.

— Вы что же, дедусь, не узнали меня?

Дед Михей заморгал, губы у него задрожали, глаза наполнились слезами.

— Вот какой ты стал... Ну, здоро́во! — и, перекрестившись, обнял молодого друга. — А мне в слободе-то говорят: «Дед, слыхали, наши солдаты с войны возвращаются, мы на станцию идем». Пешком бы я не дошел. Подвезли добрые люди. Оказывается — правду говорили. Вот я тебя и встретил.

Михей вытирал пальцами слезы, глаз не сводил с Тереня, удивлялся, как быстро парень вырос, как возмужал за эти годы на войне.

— А я все хвораю... Сил нет. Ходить тяжело. Небось помру скоро.

Но в голосе деда не было страха, когда он говорил о смерти; он знал, что она неизбежна и ждал ее спокойно.

— Я тебе гостинец принес. — Терень только сейчас заметил в руках деда маленький узелок с яблоками. — Ты кушай, они вкусные.

Неподалеку от Тереня стоял Яков Македон с отцом и

матерью; к ним подошел взволнованный Кузьма Сукачев.

— Моей Марины не видели?

— Как же, она с детьми на подводе ехала, должна где-то здесь быть. — И дальнозоркая Македониха сразу разыскала свою соседку. — Возле палисадника твоя Марина. Вон, смотри, сидит на лавочке.

Кузьма побежал к ней.

Марина тяжело болела и после болезни была еще очень слаба. Младшие дети робко жались к ней. Как они обрадовались, когда старший братишка закричал: «Папа!» — и что есть духу помчался навстречу. Младший брат и сестренка побежали было за ним, но в нерешительности остановились, видимо не узнавая отца.

Расцеловав детей, Кузьма подошел к жене. Глаза ее светились радостью, на бледном, исхудалом лице появился румянец.

— Вернулся... — Губы Марины задрожали, горячие руки потянулись к нему, обняли... Но вдруг что-то подкатило к горлу, и Марина зарыдала.

— Вижу все... горькая жизнь у тебя, — промолвил Кузьма, обнимая ее, нежно гладя по голове, целуя мокрые от слез щеки.

— Слава богу, не калекой вернулся. Жить будем... детей растить... — И, вздохнув с облегченьем, прибавила: — Где же твои вещи? Собирайся... Много уж солдат вернулось с фронта, я все глаза проглядела, тебя ожидая, — все нет и нет.

Подошел Савелий, поздоровался с Мариной, положил на лавочку вещевой мешок Кузьмы.

— Ты что же это, свое добро мне на память хочешь оставить?

— Это Савелий, — обратился к жене Сукачев, — мой лучший друг. Я с ним...

Паровозный гудок заглушил голос Кузьмы.

— Простимся... — Савелий протянул боевому товарищу руку. — Спасибо тебе, Кузьма... За все спасибо!

— И тебе, Савелий... Вот обживемся немного, в гости приезжай, встретим тебя как родного брата.

— Ладно.

Обнялись фронтовые друзья. Поцеловались трижды.

— Может, еще свидимся когда.

Савелий неторопливо направился к поезду. Он уже не

догнал свой вагон, едва успел вскочить в последний. Стоя у открытых дверей, долго смотрел на маленькую станцию, медленно исчезавшую в густой зелени тополей. Поезд мчался дальше, на север.

33

Суетились возницы, отвязывая лошадей. На каждую подводу усаживалось по несколько человек.

Впереди ехал Яков Македон с родителями и Глебом Калмыковым. Никто не знал, какие думы беспокоили бывшего батрака. Кто даст ему приют? Неужели опять придется батрачить у Лукьяна Бессалого? Молчаливый, удрученный сидел Глеб на подводе.

— Как здоровье твое? Не ранили в боях-то? — спросила у него Македониха.

— Нет, обошлось.

— А сейчас к кому ты?

Глеб посмотрел ей в глаза, ничего не ответил, опустил голову. Добрая Македониха все поняла и тотчас же предложила:

— А ты у нас оставайся. Пока что с Яковом в горнице будешь жить, а там что-нибудь придумаем. Слышишь, Андрей, возьмем Глеба к себе в хату, а?

— Конечно, возьмем, — ответил старый Македон, а молодой спросил, обнимая старого друга:

— Чего задумался, Глеб? Понял? Жить будем вместе. Научим тебя столярному ремеслу.

— Верно, — подтвердил старик. — Был у меня ученик — Пимен Базалий. Мастерил столы, стулья, даже самостоятельные заказы принимал. И тебя научим. Была бы охота да меткий глаз — все пойдет как по маслу. Правду говорю.

— Да я бы хотел... столяром.

— Сделаем! — уверенно пообещал старый Македон.

— Не вернулся Пимен из тюрьмы? — спросил у отца Яков.

— Нет. Напрасно страдает человек, за чужой грех страдает.

Нависшая тучей густая пыль мешала солдатам разговаривать. Глеб Калмыков повеселел. Он был благодарен Македонам. Давно уж хотелось ему обучиться столяр-

ному ремеслу, и вот давнишняя мечта осуществится. Придет время: он станет настоящим мастером, заработает денег, построит хату и женится на хорошей девушке — счастливо заживет.

— Очень трудно это — столы мастерить? — спросил он.

— Да ведь всякое ремесло сперва трудным кажется, покуда не научишься как следует. Обучим, ничего. Будешь хорошим мастером.

На второй подводе ехали Марина с детьми и Кузьма. Марина молча смотрела на мужа; в глазах ее светилось безграничное счастье. Кузьма отвечал ей улыбкой. Но сердце у него сжималось от жалости к жене. Этой же дорогой провожала она его на войну. Тогда Марина была молодая, сильная, здоровая — и вот какой стала. Следа не осталось от прежнего здоровья.

Молча сидели на подводе дети, и всякий раз, когда взгляд Кузьмы останавливался на их бескровных, грустных личиках, душу его пронизывала жгучая боль.

«Родные мои... деточки...» Он старался не смотреть на них, чувствуя, что может заплакать; ему не хотелось, чтобы дети видели его слезы.

Отвернувшись от детей, Кузьма разглядывал родные места. Вот знакомые ветряки на краю слободы приветливо машут крыльями. Как и до войны, в солнечных лучах сверкают позолотой купола церквей в женском монастыре «Тихвинская пустынь». Почти до самой реки тянется изаровский лес. Вот уже показались первые слободские избы — они еще больше обветшали и кажутся беднее, чем до войны.

Неприятно поразили Кузьму расшитые кровли хлевов, сломанные плетни, полуразрушенные заборы. Нужда, беспросветное горе были постоянными спутниками большинства слобожан. Но особенно удивили Кузьму дети. Оборванные, голодные, выбегали они на дорогу. Вот какой-то малыш прицепился к подводе, на которой ехал Кузьма, и, протянув к нему грязную, видно давно не мытую ручонку, жалобно попросил:

— Дядечка, солдатик, дайте мне хотя бы вот такой маленький кусочек хлебца. Один раз укусить.

Кузьма вынул из вещевого мешка сухарь, дал мальчику, и тот, спрыгнув с подводы, начал жадно грызть его.

— Наши дети не просят, Марина?

— Пробовали было побираться, да не подают им теперь, много сирот под окнами ходит.

На последней подводе ехал Метелик с Володькой. Мальчику очень хотелось повидаться с товарищами, которых он оставил в слободе. То-то он им расскажет про свои путешествия за эти годы, про города, какие видел, и села, в которых промышлял со своей братвой. Но не будет вспоминать Володька холодные ночи, когда он, не имея крова над головой, спал на базарах, где-нибудь под рундуками или в мусорных ящиках; когда, измученный голодом, воровал у торговок то буханку хлеба, то кусок мяса, то круг колбасы. А если не успевал убежать, его догоняли и беспощадно били. Никогда не забыть Володьке тех дней, наполненных нуждой, горем и постоянным ощущением голода.

Володька смотрел на знакомые поля, где изредка попадались копны хлеба, вглядывался в бескрайний простор неба с белыми кучевыми облаками, напоминавшими величественные снежные горы.

Рядом сидел отец. Он поглядывал на переднюю подводу, на которой разместился Кузьма с женой и детьми, и завидовал ему. Если бы на станцию вместе с другими солдатками вышла и его жена, и они бы, так же как Кузьма, счастливые, вместе возвращались домой. Но ее угнали в Сибирь, и все сильнее сердцем Метелика овладевала тяжелая тоска.

Вот показались березы, где он последний раз прощался с женой, уходя на войну. Но, подъехав ближе, он увидел, что ошибся: зеленела только одна береза, другую кто-то срубил, и от пенька ее уже поднялась буйная поросль.

Не отрывая глаз, Метелик смотрел на березу. Воспоминания о прошлом растравляли ему душу. От Якова Македона он узнал обо всем, что произошло в доме Софьи. Жена его не могла поступить иначе — она защищала свою честь. Метелик сделает все возможное, чтобы разыскать ее, освободить из тюрьмы, вернуть домой.

Как тяжелые грозовые тучи застилают небесную лазурь, так невеселые думы заслонили в душе Метелика радость возвращения в родной дом — там его ждет только запустенье, а каждая вещь в доме постоянно будет напоминать любимую жену.

Тяжело... И чтобы хоть немного отвлечься от своих дум, Метелик обратился к Тереню:

— Не устал? Может, сядешь с нами?

— Ничего, я пешком пройдусь, здесь недалеко, — ответил Терень, не отставая. Его солдатские сапоги стали серыми от пыли.

Подводы заворачивали в улицы и переулки. Солдат встречали слобожане. Отовсюду неслись радостные крики, но слышались и рыдания вдов: их мужья не вернулись с войны, сложили свои головы на поле брани.

Несколько подвод направилось к базарной площади, чтобы, переехав через мост, попасть в Ковалевку, где жили Македоны, Сукачевы и дед Михей. Когда свернули на родную улицу, Македониха прежде всего заметила Таню, игравшую с детьми неподалеку от их двора.

Едва девочка завидела подводу, на которой ехала бабуся, как, бросив игру, помчалась навстречу, босоногая, быстрая, ловкая.

— Дядечка Яков! Дядечка Яков приехал! — закричала она, и глазенки ее заблестели, как звездочки. Сколько в них искрилось неудержимой радости, неподдельного восторга!

Яков протянул к ней руки, поднял, посадил на подводу. Девочке не терпелось рассказать про какую-то необычайную новость.

— Бабуся, а вот вы не угадаете, кто к нам приехал. Не угадаете, не угадаете! — И, лукаво прищурив глазенки, спросила: — Знаете, кто? Папа и мама вернулись! Вон — видите? — в палисаднике сидят, вас поджидают. Папа больше никуда не уедет... Их насовсем из тюрьмы выпустили... А мама мне баранок привезла и сладкий пряник дала, вкусный-вкусный.

Метелик слышал, что рассказывала Таня. Он соскочил с подводы и, обгоняя ее, побежал ко двору Македона.

Из палисадника навстречу вышел Пимен. Его трудно было узнать. Он как-то весь осунулся, виски и борода побелели. Рядом с ним стояла постаревшая, изможденная Поля.

— Пимен, ты не встречался?.. Где она? — спросил Метелик, поздоровавшись. — В какой тюрьме... жена?

Глянул Пимен в глаза Метелику, ничего не сказал, опустил голову.

— Ты что? Ты говори... говори все. Хочу правду знать. — И, заметно бледнея, Метелик произнес страшное слово: — Умерла?

— Умерла... — тихо ответил Пимен. — На тюремном кладбище похоронили.

Больше ни о чем не расспрашивал друга Метелик. Все потемнело у него в глазах. Не помнил, как очутился на улице, как дошел до своей хаты и, увидев на дверях заржавевший замок, остановился.

— А ключ я потерял... Ключа нет, — робко сказал Володька, держа в руках отцовскую шинель и вещевой солдатский мешок.

Метелик сорвал замок, переступил порог нежилой, осиротевшей хаты и тяжело опустился у стола, глядя в одну точку.

— Не вернется... Никогда не вернется твоя мама... — сказал он каким-то чужим, дрожащим голосом.

И вдруг, отвернувшись, горько, безутешно зарыдал. Володька смотрел на отца широко открытыми глазами, не понимая значения его слов, но чувствуя, что случилось какое-то страшное, непоправимое горе.

Солнце склонялось к горизонту. Где-то жужжала муха, запутавшись в густой паутине.

34

В тени желтой акации стоит Софья. Она смотрит на мост, по которому идет высокий, стройный мужчина. Черные шаровары заправлены в хромовые сапоги, голубая рубашка подпоясана витым, шелковым поясом с кистями. Только не вьется, как в былые годы, буйный чуб из-под новенького картуза.

С моста Яков поворачивает на дорогу, но кто знает — остановится он, увидев ее, или, холодно поздоровавшись, пройдет мимо, как чужой?

Софья не сводит с него глаз. Сердце бьется сильнее, вот-вот готово выскочить из груди; всем существом своим рвется она навстречу к нему, любимому, желанному.

— Господи, — шепчет Софья, — что ты делаешь со мною? Одно только горе, одни только муки мне от этого парня, а я все еще люблю его.

И невольно вспоминается ей, как три года назад этой же дорогой возвращался Яков после гулянья из лесу. Никогда не забыть ей и того вечера, когда она каталась с

ним на тройке, каждую секунду рискуя разбиться насмерть.

Но все это в прошлом, все — как сон.

Яков опять вернулся домой, и, кажется, надолго. Софья всю ночь провела в томительном ожидании, ни на минуту не сомкнула глаз. Ждала Якова вечером, ждала в полночь — он не пришел. И только когда на востоке занялась заря, утомленная, обиженная, Софья легла спать.

Яков не навестил ее ни на другой, ни на третий день. Напрасно писала она ему записки, приглашала к себе в гости. Он оставался равнодушным к ее просьбам. Это раздражало Софью.

«Неужели он разлюбил меня навсегда, разлюбил и чувствует ко мне только ненависть?.. Ненависть к буржуйке...» Но она гнала от себя такие мысли. Ей казалось, что Яков любит ее, как раньше, и стоит ей остаться с ним наедине — и он опять будет обнимать ее, ласкать, целовать... Ведь теперь она не так богата. Отобрали землю, отобрали лес.

Одно только воспоминание об этом вызывало в Софье безумную ярость против людей, завладевших ее богатствами, хотя она понимала: сами они никогда не отважились бы хозяйничать на ее земле, во всем виноват Яков. Он собирал бедняков, он учил их, как надо действовать, что предпринять.

Любовь боролась с ненавистью к Якову. Софья не могла ни забыть, ни простить такой обиды. И это новое чувство неожиданно преодолело в ней любовь.

Нет, не хочет она встречаться с ним, даже видеть его не желает. Софья отошла от резного заборчика, а Яков, миновав ее двор, пошел дальше, к базарной площади, на которой высилась церковь.

За церковью синело озеро; плавали выводки домашних гусей и уток; неуемно кричали лягушки; чиркая тонкими крыльями по воде, летали быстрые, неутомимые ласточки.

35

На широкой площади людно, словно в базарный день. Возле высокой трибуны, украшенной зелеными ветками, развевается красное знамя. Вокруг мелькают солдатские гимнастерки.

Яков немного опоздал на митинг; тихонько встал в сторонке, выбрав удобное место.

На трибуне — высокий лысый человек с лакированной тростью в руке. Он часто поправляет пенсне и выкрикивает тонким, бабьим голосом.

— Я — аптекарь. Я, видите ли, знаю свое ремеслю и вижу, что всегда плохо кончается, когда несведущие люди берутся за дело, которое им не под силу.

Да-с! К чему это может привести? К курьезу. Вчера вот привозят в аптеку женщину. У нее порезана рука, на лбу опухоль... «Что случилось?» — спрашиваю. А она слова не может сказать. Оказывается, как только наступает вечер, она ничего не видит. У нее куриная слепота, и, желая ее вылечить, соседки, видите ли, повели ее под руки по улице, а потом взяли и столкнули в глубокий ров, куда сбрасывают мусор. Что было бы, спрошу я вас, граждане, если б куриную слепоту мы лечили таким методом? Мы бы, видите ли, искалечили немало людей! Да-с!

Слобожане зашумели.

— Кто же эта такая?

— Бог его знает. Не сказал... Может, еще скажет.

— Наша Маруся тоже мучилась куриной слепотой, так ей давали печенку, и теперь все в порядке.

— Тише... Ничего не слышно.

— Я сделал перевязку, — продолжал аптекарь. — Я, видите ли, помог человеку. Но зачем я рассказал вам про этот случай? А затем, чтобы предупредить вас. Народ наш, видите ли, темный. Куриная слепота тяготеет над ним, как Каинова печать. Вся страна нынче заражена этой болезнью. И разве можем мы поручить темным, непросвещенным людям лечить нашу несчастную Россию?

Нет, не можем. Ее могут вылечить только такие влиятельные и осведомленные политические деятели, как Гучков, Родзянко. Только они, видите ли, призваны управлять страной и имеют право заседать в учредительных собраниях. Да-с!

В последний раз поправив на носу пенсне в золотой оправе и опираясь на трость, аптекарь сошел с трибуны.

— А ловко он приплел куриную слепоту.

— Видать, тоже хлюст хороший, — отозвался неказистый на вид солдат, одетый в выцветшую от солнца гимнастерку и такие же шаровары, заправленные в юфтовые сапоги. В маленьких зорких глазах его, следивших за

аптекарем, играли недружелюбные огоньки. — Видите ли... только они, ученые, могут... Слыхали мы таких на фронте. Как меньшевик говорит. Мы-то уже знаем, куда они гнут.

— Слово имеет священник Успенской церкви отец Виталий, — провозгласил председательствующий на митинге Кузьма Сукачев.

На трибуну протиснулся поп в черной шелковой рясе, которая вся так и лоснилась; под лучами солнца горел позолоченный крест на серебряной цепочке.

Взглянув на церковные купола, священник перекрестился и начал:

— Православные христиане! Я хочу напомнить вам евангельские заповеди: «Не убий, не укради». Христиане, три года льется кровь, три года наш народ терпит всяческие несчастья и муки. И если бы собрать всю кровь, пролитую на полях брани, если бы собрать воедино все слезы солдаток, матерей и детей, получились бы моря крови и реки слез. И горе постигнет тот народ, который захочет проливать братскую кровь. Мы все, люди, — братья. Но в нашей стране есть нехристи, евреи. Это они придумали такое... Отыскали какого-то Ленина и привезли его к нам в запломбированном вагоне из Германии, чтобы сеять в народе смуту, непокорство, разбой...

— Вранье! Ленин — вождь рабочего класса и всего трудового народа! — выкрикнул из толпы Яков.

Поп ничего не ответил, только покосился в его сторону и так же горячо продолжал:

— Этот Ленин хочет поссорить христиан: богатых с бедными. Он подстрекает бедных идти войной против богатых. Надвигается невиданная гроза, страшная гроза. Темный народ уговаривают взяться за оружие. Будь проклят тот, кто подымет руку на своего брата во Христе! Да поразит молния его дом! А коли есть у него жена и дети — пусть от страшной болезни попадут они в кромешный ад, а сам он, прокаженный, в язвах и струпьях, пусть валяется на дороге. Пусть изнемогает от жажды — никто не подаст ему воды, ибо проклят он будет богом и церковью. Возлюби своего ближнего и не подымай на него руку лишь потому, что он богат, а ты беден. Надо уважать чужое добро и воздавать богу божие, а кесарю кесарево.

— А бедный, батюшка, пускай, значит, сухую корку

гложет? — язвительно заметил какой-то солдат у трибуны.

Но поп продолжал свое:

— На страшные дела подбивают вас, солдат, немецкие шпионы. Они хотят поссорить между собой русских людей, посеять недоверие, смуту, внести в нашу семью разлад. Поэтому мы всем миром должны хорошенько подумать, каким путем идти нам дальше. И вот говорю вам: есть путь, единственно верный, чистый, ако слово божие: это — Учредительное собрание. Туда войдут и богатые и бедные на равных правах. Вместе будут творить счастье народное. Только в Учредительном собрании, в нем одном, наше спасение, наше благосостояние, покой наш. Но пока его не созвали, мы у себя должны выбрать такой совет, в который вошли бы и богатые и бедные, чтобы вместе, как братья во Христе, решать мирские дела. И да поможет им бог! Аминь.

Поп опять перекрестился, потом из глубокого кармана рясы вытащил носовой платок, вытер покрытое пóтом, раскрасневшееся лицо. Кто-то подал ему руку, и поповская ряса затерялась в толпе.

На трибуну поднялась женщина в серой кофточке, черной юбке, повязанная дешевым платком. Зашумел народ.

— Смотрите, баба... Неужто с мужиками будет говорить?

— Наверно, свет клином сошелся. Бабу выпускают.

— Ведь у них, у баб, известно: волос долог, а ум...

— Да что путного может она сказать?

— Ишь ты, государственные вопросы решать! Спятила, молодица.

— А вам бы хотелось, чтобы мы только возле печей возились да пеленки стирали? Нет уж, хватит! У женщин теперь одинаковые права с мужчинами — сравняли нас, слава тебе, господи!

— Кто ж это — смелая такая?

— Не узнал разве Марины Сукачевой?

Марина была первой женщиной в слободе, решившейся выступить на митинге. Люди притихли, многие женщины и мужчины, сидевшие на траве у озера, встали, подошли ближе, чтобы лучше слышать ее.

— Что сказать вам, солдаты и солдатки? Темная я, неграмотная. Тяжело мне с учеными людьми спорить. Но

хочу я рассказать, как жили мы, солдатки, без своих мужей и как помогал нам батюшка Виталий. — Передохнула Марина, подняла голову, глаза ее сверкнули решимостью. — Долго молчала я, а теперь скажу! Пусть все солдаты знают. Вот рядом с трибуной молодуха стоит, — Марина указала рукой на красивую, бедно одетую крестьянку. — Мужа ее убили на войне. К кому идти за советом? Пошла она к попу — отцу Виталию. Он ведь считался главным в той комиссии, которая должна была помогать солдатским семьям. Пришла, плачет, просит панихиду отслужить. А поп что ей предложил? Выйди, выйди на трибуну, молодуха, не стыдись, скажи сама. Пускай все люди послушают...

Но солдатка, сгорая от стыда, не знала, куда деваться.

— Не пойду я... Что ты, Марина... Боюсь я...

— Тогда я за тебя скажу, а вы послушайте. Вместо того чтобы успокоить женщину, помочь ей как-нибудь, батюшка стал приглашать ее к себе ночевать... «Зачем, говорит, панихидку служить? Денег у тебя нет, платить нечем, а убиенного из земли все равно не подымешь».

— Врет она! — закричал поп, багровый от злобы. — Не звал я ее к себе... Выдумала... Все выдумала!

Всколыхнулась, загудела площадь:

— Нешто можно так батюшку позорить? Греховодница, бога-то побойся, твоими устами дьявол говорит.

— Выпустили бабу... На всю жизнь себя осрамит...

— Пусть рассказывает!.. Пусть знает народ, какие они, эти пастыри божьи, распутники...

— Они могут... Они такие... что монахи, что попы, — с жиру бесятся. До баб они больно охочи.

Марина не растерялась, не сошла с трибуны.

— Не вру я. Все было, как говорю. Не пошла она к нему ночевать и не отслужила панихидки по убитому мужу. А что горя-то натерпелась с малыми детьми — не дай боже! Да разве она одна? Все мы, солдатки, знаем, какие богачи «добрые» к нам, беднякам. Больше не хотим мы, батюшка, так жить. Перед богом мы все равны — и богатые, и бедные. Пускай же и на земле равны будем. У богачей дети белые пироги едят — пускай и наши попробуют булочки. А то Софья Изарова собаку котлетами кормит, а мы своим детям шнурочком хлеб отмеряем. А сколько их померло за войну? С голоду детишки

пропадали. А кто нам помог? Никто. И не помогут нам богачи. Помогут Советы! Пусть там сидят неученые люди — ничего, выучатся потом. Управлять должны наши люди, бедняки, те, кто трудится. Они-то уж знают, что такое горе да нищета. Все вместе будем мы бороться за то, чтобы лучше жилось народу, чтоб не носили мы так часто маленькие гробики на кладбище.

Больше Марина не могла говорить. Голос ее задрожал. Кончиком платка она вытерла слезы, невольно набежавшие на глаза.

— Что ты, Марина? Крепись... Разве можно? — шепнул ей Кузьма.

Он гордился своей женой. Вон сколько солдаток собралось на площади, но ни одна не отважилась выступить перед народом. А Марина выступила, да как складно говорила-то.

Он проводил жену с трибуны ласковым, любовным взглядом и уж потом только заглянул в список. На очереди был Лукьян Бессалый. Не дожидаясь, пока Кузьма даст ему слово, он вышел на трибуну, снял картуз, широкой ладонью вытер вспотевшее лицо.

— Послушаешь таких солдаток, как Марина, — начал он, — так и думать нечего: бери мешки, иди в амбары, насыпай им крупчатки — они, мол, тоже хотят белые пироги есть. Вот теперь, говорят, свобода и равноправие. Народ, можно сказать, сбросил царя, забрал помещичьи и монастырские земли. Так-то оно так, — но кто дал право отбирать у человека нажитое его собственным трудом? Разве мы мешаем вам тоже стать богатыми? Сумели мы разбогатеть, богатейте и вы, коли сможете, конечно. Правильно я говорю, граждане? — повернулся Лукьян к своим сторонникам, но неожиданно наткнулся на яростный отпор слободской бедноты.

— Грабитель! Сколько солдатской земли захватил? Сколько солдаток обидел?

— Полон двор лошадей!

— Да нешто у него одни лошади? А коровы, а свиньи, а овцы? Помещиком стал.

— На слезах наших да на горе свое богатство нажил.

— Да кто ж вам-то мешает наживать? — огрызнулся Лукьян, злобно оглядывая бедноту. — Сумейте и вы!.. Попробуйте, а мы посмотрим, что у вас получится. Только я скажу — не под силу вам такое... Надорветесь... Эге!

Для большого дела сметка нужна да капитал... Правильно я говорю, граждане? — опять сверкнул глазами Лукьян в «своих», рассчитывая на их поддержку и сочувствие.

— Верно, Лукьян Иванович, верно! — послышались оттуда дружные голоса; это придало Лукьяну смелости и нахальства.

— А то что же получается? На дармовщинку хотите, чужим добром поживиться? Нет, ты своим горбом заработай капитал, тогда я тебя буду уважать. Шапку перед тобою сниму. Вот кричат тут разные: захватывал, мол, наделы солдатские. А спроси их, солдаток-то: не давал я им хлеба, или пшена, иль картошки? Давал... Всегда давал... Не отказывал никому.

— Как паук, затягивал их в свои сети. Мошенник ты! У меня-то, у меня-то землю захватил? Скажи — захватил?

— Я не мошенничал! И ты меня такими словами не смей называть. Я все делал по закону. Имею бумаги.

— То царский закон был, а теперь мы свои установим.

— Нет, граждане, ошибаетесь, такого права вам никто не давал.

— А мы у тебя и спрашивать не будем. Разве ты человек? Разве есть у тебя совесть?

— Волк, а не человек!

— Расскажи лучше, как распутничал в Софьином доме.

— И про сторожку... Ведь и там гулянки устраивал.

— Это к делу не относится. Баба, она баба и есть, — что с нее спросишь? А нам нужно решать государственные дела. Правильно я говорю, граждане?

— Знаем мы тебя! Довольно! Слезай с трибуны.

— Не мешайте ему! Нынче свобода слова. Говори, Лукьян Иваныч.

— А мы не хотим его слушать! Не желаем мы, женщины, видеть его поганой морды!

— Видали, каким «добрым» притворяется? «Всегда давал... Никому не отказывал...» А потом за этот несчастный пуд картошки работаешь так, что соленый пот прошибает.

— Живоглот!

— Кулак!

— Кровопийца!

Лукьян еще немного постоял на трибуне, слушая крики женщин, и, не выдержав, плюнул с досады:

— Сороки бесхвостые, слова не дадут сказать.

— Смотрите, бабы, он еще плюется!

— Слазь с трибуны, а то мы тебя сами стащим!

— Распутник!

— Живодер!

— Хватайте его, бабы!

На трибуне появился Метелик. Это было так неожиданно для Лукьяна, что он растерялся. Быстро надел свой картуз и заморгал рыжими ресницами, сразу онемев. В глазах вспыхнул страх, точно Лукьян ждал, что вот сейчас Метелик размахнется и изо всех сил ударит его кулаком по лицу. Все слышали, как Метелик, глядя Лукьяну прямо в глаза, спросил:

— Бумаги, говоришь, у тебя имеются? А какую ты мне бумагу покажешь? Какой дашь ответ? За что жену мою погубил?

— Она стреляла в меня... я месяц в больнице валялся... Помереть мог... — И Лукьян робко попятился к ступенькам.

Из толпы раздался чей-то грозный голос:

— Бей его в морду, бей!

Но Метелик сдержался, не ударил. Давнишняя драма, о которой почти забыли в слободе, сразу встала в памяти людей. Многие слобожане видели, как сразу же после суда стражники увели Метеличиху в уездный город. От души сочувствовали люди солдатке. Но шли дни за днями, и новые события заслонили в памяти слобожан Метеличиху и ее пропавшего без вести сына. А сегодня неожиданная встреча Метелика с Лукьяном воскресила прошлое, напомнила людям о большой обиде, нанесенной солдатке слободским богатеем. Затаив дыхание, люди ждали, что Метелик расскажет о своей жене. Но Метелик стоял на трибуне молча, с поникшей головой. Тысячи глаз следили за ним. Метелик не мог побороть волнения, и оно невольно передавалось людям. Все жалели солдата и сочувствовали ему.

Но вот Метелик тряхнул головой, словно сбросил с плеч тяжелый груз, влажными глазами обвел площадь, где было столько знакомых, добрых лиц.

— Есть правда на свете, но есть и кривда, — начал он. — Я целовал крест и евангелие, принимая присягу.

— Прошу слова, — сказал он, направляясь к трибуне.

Солдаты провожали его дружными советами:

— Тряхни буржуев хорошенько.

— Покажи им, что такое фронтовики.

— Не давай бедноту в обиду... Громи их, мы тебя поддержим.

Легко поднявшись по ступенькам, Яков остановился у самого края трибуны. Сильный голос его был слышен всем.

— Товарищи! Правильно говорил тут поп Виталий про моря крови и реки слез. Но я хотел бы спросить его: чья кровь лилась на полях битв? Наша кровь. Чьи слезы текли реками? Слезы наших матерей, жен и детей. Я хочу спросить: ради чего пролиты моря крови и реки слез? Ради чего погибли в боях лучшие сыны родины? Погибли они ради наживы кровавого палача — царя Николая Романова, который вместе с такими же капиталистами, как он сам, искал для себя новые рынки, новые земли, чтобы еще больше богатеть и наживаться. Вот как! А мы, солдаты, не знали их планов и намерений... За тугой их карман погибали солдаты, проливали свою кровь. Бывало дождь, вьюга, мороз, а ты в окопе в рваной шинелишке защищаешь православную Русь... А на самом деле защищали мы царя, да богачей, да всяких паразитов, которые сидят на шее трудового народа. В тылу наживалась буржуазия. Лукьян Бессалый грабил солдаток — отбирал у них землю, а его сестра Софья богатела на поставках для фронта. Солдатки, работавшие в ее мастерских, получали за свою работу копейки, а она загребала тысячи...

— Правду говорит Яков. Здорово наживалась Софья. Это правда.

— Во как ее перчит. Молодец! Значит, не приворожила она его ни зельем наговорным, ни иными чарами.

— А смолоду он к ней льнул...

— Чего смолоду не бывает. Да она тогда и не была богачкой...

— Тише, бабы. Давайте уж потом шуметь, а теперь помолчите, Якова не слыхать, — прикрикнул на женщин солдат.

— Но нашелся такой человек, который знает про горе

народа, про слезы матерей, вдов и сирот. Зовут этого человека Владимир Ильич Ленин, — продолжал Яков. — Это он встал на защиту всех обездоленных, Ленин создал партию большевиков. И партия большевиков повела за собой рабочий класс и крестьянство на битву с капиталистами и помещиками.

Трудовому народу дорог Ленин, дорога большевистская партия. Только большевики хотят лучшей жизни для трудящегося человека.

Вот за это Ленина и ненавидят богачи, клевещут на него. А Ленин — наш вождь и учитель.

— А ты его видел, учителя-то своего? — послышался насмешливый голос.

Яков взглянул в сторону слободских богачей.

— Видел ли я Ленина? — спросил он. — Нет, не видел, но мне много рассказывал о нем на фронте один петроградский рабочий, Черкашин! Сын Бессалого хотел расстрелять Черкашина, да не вышло. Убежал Артем. Не знаю, где он сейчас, жив ли. Мы, солдаты, помним все, что он рассказывал нам про Ленина. Царь Николай несколько раз высылал Владимира Ильича в Сибирь, но партия большевиков, которую он создал, жила, живет и будет жить! Пусть не думают слободские богатеи, что мы пойдем к ним с поклоном: помогите, дескать, управлять народом, вы люди ученые, а мы — голытьба, непросвещенная, темная. Хоть мы и темные, а кое-что знаем. Мы, солдаты, знаем, что от Гучкова, Родзянко и других буржуев добра нам не ждать. Почему? Да потому, что господин Гучков — крупный московский промышленник, домовладелец и будет защищать не трудовой народ, а капиталистов и буржуев. А кто такой Родзянко? — спросил Яков, оглядывая площадь, переполненную людьми, жадно слушавшими каждое его слово. — Родзянко — хозяин огромных поместий в Екатеринославской губернии, помещик. Верный царский слуга!

Куда же, вы думаете, он будет гнуть — к бедным или к богатым? Ясно, что к богатым лежит его душа. Вот как мы понимаем это дело. И хотя мы пока еще не ученые, это правда, но думаем учиться. Нам поможет советская власть. А к вам, господа буржуи, кланяться не пойдем. Не дождетесь! Мы сами вас согнем в дугу. Будете мешать нам — уничтожим, как бешеных собак!

— Правильно, Яков! Так их, дьяволов, бей! — резко выкрикнул безногий солдат, не спускавший с него взгляда.

Но Яков его не слышал... Глаза его горели такой ненавистью, что даже богачи притихли, невольно прислушиваясь к его словам, в которых звучала твердая уверенность, непоколебимая воля.

— Кого же нам выбрать депутатом в местный Совет? Может, Лукьяна, или его брата Трофима, или ученого аптекаря Лякина, чтобы он одолжил нам немного своего ума?

— Так его, бей! — снова крикнул тот же солдат, и над площадью прокатился веселый смех тысяч людей.

— Зачем обижать человека? Займи у него маленько разума, а он того и гляди будет в лекарствах ошибаться.

— В точку попал.

— Нашему Андреичу пальца в рот не клади — откусит. Бывалый солдат.

— Наловчился Яков. Его не собьешь.

— Да, этот богачам спуску не даст.

— Какая наглость! — возмущенно кричал в своем кругу обиженный аптекарь. — Я, видите ли, не касаюсь личностей. Зачем же он... Это возмутительно! Грубиян! Простой солдат, видите ли, смеет оскорблять личность...

— Я думаю, — продолжал Яков, — что мы как-нибудь обойдемся и без аптекарского ума. Нельзя выбирать в депутаты богатых. Богач будет гнуть сторону богача... Выбирать надо бедных, да толковых. Я целиком присоединяюсь к словам Марины Сукачевой: только бедняков! Пусть не пугает нас поп Виталий. Мы видели на войне такие ужасы, какие ему и во сне не приснятся. И слушать его мы не будем.

— Стой! — крикнул отец Виталий, багровея от душившей его злобы.

При всеобщем молчании он снял с себя позолоченный крест и, высоко подняв его над головой, направился к трибуне. Люди, расступаясь, давали ему дорогу.

Возле самой трибуны поп остановился. Маленькие колючие глазки его встретились со спокойным взглядом Якова.

— Ты... ты встаешь против бога? Отвечай!

Замерла площадь.

— Я, отец Виталий, насчет бога сомневаюсь, но

к попам всякое доверие потерял. Да еще к таким распутникам, прелюбодеям, как вы.

— Что, выкусил? — крикнул безрукий солдат.

Опустив руку с крестом, поп пошел назад, красный, как вареный рак. А Яков, глядя ему вслед, говорил:

— Вы ведь священник, пастырь божий, служитель церкви. Почему же, выступая здесь с трибуны, вы не предложили богачам поделиться с бедняками? А знаете, что случилось недавно в селе Покровке? Помещик выгнал в поле свое стадо, и скот начал топтать созревший хлеб. Милиционер приказал прекратить потраву, а помещик ему в ответ: «Пока не созвано Учредительное собрание, я хозяин на своей земле; что захочу, то и сделаю со своим урожаем».

— Сволочь! — послышался из толпы чей-то возмущенный голос.

— Гнать его в шею, а хлеб — народу.

— Да разве он один такой? И другие помещики не лучше. Запрещают крестьянам косить траву, поджигают скирды необмолоченного хлеба, режут скот, надеются задушить революцию голодом. Дурачье! Того не понимают, что ее задушить невозможно: слишком много народной крови за нее пролито. А по вашим, батюшка Виталий, заповедям получается, что не смей трогать богатого, не то молния сожжет твой дом и страшная болезнь поразит твою семью.

Но что бы ни говорил поп Виталий, стараясь запугать нас, мы будем действовать так, как подсказывает нам революционная совесть. Софьину землю отобрали, заберем монастырские и церковные, отнимем захваченные Лукьяном солдатские наделы. Будем бороться за лучшую жизнь для всего трудового народа. Рабочий класс расправил могучие плечи, протянул руку нам, трудящемуся крестьянству. Мы объединились с ним навеки. И в этом наша сила. Мы сметем со своего пути все преграды, потому что тот, кто узнал свободу, никогда не захочет потерять ее. Разве можно запугать народ, разбивший вековые цепи рабства и уничтоживший монархию? Да никогда в жизни! Вы чувствуете: надвигается гроза, небывалая гроза! Она сметет на своем пути всех господ. Бойтесь этой грозы, богатеи! Мы новые заповеди установим да такие, каких вам не найти ни в библии, ни в евангелиях.

Их подсказывает нам сама жизнь. Вся власть Советам! Да здравствует социалистическая революция! Да здравствует вождь трудящихся Владимир Ленин! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Яков сошел с трибуны. Больше никто не хотел выступать. Речь Якова вызвала оживленные споры. Вся площадь гудела, как потревоженный улей. Беднота, почувствовав поддержку революционных солдат, почувствовав их силу, смело наступала на слободских богатеев, высказывая все, что накипело на сердце, что давнишней обидой давило на душу.

Особенно разгорелись страсти, когда началось выдвижение кандидатов. Но беднота и тут одержала верх. Слобожане избрали свой Совет солдатских и крестьянских депутатов. В него вошли Яков Македон, Кузьма Сукачев, Константин Метелик и еще несколько человек из слободской бедноты.

Было около полуночи, когда слобожане расходились по домам. Шли группами. На всех улицах, во всех переулках слышались разговоры, вспыхивали горячие споры. А в здании волости до утра светились окна, там проходило первое заседание избранного трудящимися Совета.

36

— Звони во все колокола, как на пасху, — приказал отец Виталий звонарю, исполнявшему еще и обязанности церковного сторожа.

— Да ведь будний день, батюшка... Зачем же? — удивленно спросил звонарь, хорошо знавший все церковные порядки.

Но его вопрос только рассердил попа.

— Не твое собачье дело. Выполняй! — грубо крикнул он, нахмурив брови.

Обиженный звонарь поднялся по узенькой лестнице на колокольню, и через минуту над слободой поплыли пасхальные перезвоны.

Люди останавливались, смотрели на церковь, крестились, спрашивали друг друга:

— Что это? Будний день, а звонят?

— Может, архиерей приезжает?

— Когда он приезжает, звонят во всех слободских церквах. А теперь только в одной.

Закрывались лавки. Празднично одетые торговцы шли в церковь. У них была какая-то тайна, и они тщательно скрывали ее от слободской бедноты.

С каждой минутой все больше собиралось народу. В новой суконной поддевке, в начищенных сапогах пришел Лукьян с сыном. На подносе, застланном вышитым полотенцем с яркой надписью «Добро пожаловать», лежал румяный каравай и стояла солонка, доверху наполненная белой, как снег, солью. Лукьян весь сиял от удовольствия. Любезно приветствовал богачей и громко высказывал сокровенное, не боясь, что его услышит беднота.

— Наконец-то дождались; говорят, вчера немецкое войско захватило Богодухов. Далековато нам придется идти, да ничего. Все лучше, чем терпеть большевистских комиссаров.

— А они удрали. Ни одного в слободе не осталось.

— Это еще неизвестно. Может, кто и остался...

— Найдем! — уверенно, с угрозой сказал Лукьян. — Все равно найдем. От нас никуда не спрячутся.

— Идем мы немцев встречать, а кто знает, может, при них еще хуже будет, — отозвался мелкий лавочник-лоточник.

Лукьян, окинув его презрительным взглядом, рассмеялся:

— Хуже?! Да ведь немцы-то — господа! А Яков Македон кто? Мужик. А Кузьма? А Метелик в... Все они прощелыги и мошенники. Рады бы горло нам перегрызть. Слава богу, не вышло по-ихнему. Теперь есть кому нас защищать. Хуже не будет. Нет, не будет.

Появился поп.

— Батюшка, наши все в сборе. Можно идти? — спросил Лукьян.

— Можно. Благословляю!

Богачи вынесли из церкви хоругви, иконы, кресты.

— А ты, Трофим Иваныч, почему ничего не берешь — ни хоругви, ни иконы? — спросил у Бессалого какой-то лавочник.

Трофим Иванович, схватившись за грудь, охая и приседая, ответил:

— Слаб я сердцем. И ноги тоже слабы. Брат Лукьян идет, а я уж дома посижу.

— Боишься? Думаешь, вернутся они, большевики-то?

— Чего же мне бояться? Я им ничего плохого не сделал. А ждать мне их... зачем? От них одно беспокойство. Живешь, как на вулкане...

Трофим Иванович замолчал, боязливо оглянулся на подошедшего калеку-солдата. С любопытством глядя на хоругви и иконы, солдат спросил:

— Куда это они собираются?

— Немцев встречать.

— Немцев? — удивился солдат и, пробормотав ругательство, пошел дальше, опираясь на деревяшку.

Немного погодя Трофим Иванович пошел за ним. «Попробуй угадай — что у него на уме? Ходит, ко всему присматривается, прислушивается, а коли вернутся Советы — он тут как тут, все им выложит. Нет, лучше помолчать. Время ненадежное. Еще неизвестно, чья возьмет. Нынче жизнь — как игра в карты. Либо выиграл, либо проиграл. Уж лучше буду тише воды, ниже травы, так спокойнее. Надо ко всему хорошенько присмотреться».

На углу, недалеко от церкви, стояла Олимпиада с лесником Мефодием.

— Слышал я, к вечеру в слободу войдут немцы. Правда или врут? — спросил Мефодий. — Я ведь, как бирюк, в лесу живу: ничего не вижу, ничего не знаю.

— Может, и правда! — ответила Олимпиада. — Только чувствую я — добра от них нечего ждать.

— А эти, значит, встречать идут?

— Ну да.

— Та-ак. Что же, пусть встречают. Не пришлось бы потом расплачиваться за эту встречу, — сказал Мефодий, удивляясь торжественно-радостным лицам богачей.

Ждали отца Виталия. Наконец он вышел из алтаря в пасхальной ризе.

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — перекрестился поп, и в воздухе замелькали руки богачей, размашисто осенявших себя крестом.

Молебна не было. Нельзя терять дорогое время зря. Отправились в далекий путь. Держа на блюде каравай, Лукьян отдавал последние распоряжения сыну Терешке.

— Смотри за хозяйством. Не надейся на батраков, сам следи за порядком.

— Ладно! — Перекрестившись и поцеловав икону, Терешка отошел в сторону.

Ни на минуту не умолкали колокола, и перезвон их придавал процессии еще более торжественный вид.

Глядя на иконы и хоругви, набожно крестились женщины. Кое-кто из мужчин присоединялся к процессии, но, узнав, куда идут богачи, сначала отставал, а потом останавливался у какого-нибудь двора и долго стоял с непокрытой головой, глядя, как покачиваются над толпой хоругви, как в солнечных лучах сверкает искусно выполненная вышивка золотом и серебром.

Трофим куда-то исчез. Олимпиада возвращалась домой одна. Ее догнал лесник Мефодий и пошел рядом. Она ждала, что он заговорит с ней о немцах, а Мефодий вдруг завел разговор про молодые годы.

— Помню я тебя девушкой, Олимпиада. Красивая ты была, здоровая. Да не в добрые руки попала. Суровый у тебя муж.

— Муж... — грустно усмехнулась Олимпиада. — Поверишь ли, Мефодий, сколько лет я с ним прожила, а счастья вот столечко не видала. Всю жизнь батрачкой у него живу. Как прошла молодость — не заметила. А сколько раз он попрекал меня родителями. «Нищие они, говорит, ты должна мне ноги целовать за то, что я на тебе, беднячке, женился». И, думаешь, не заставлял меня ноги себе целовать? Бывало напьется где-нибудь, придет домой, я раздену его, уложу в постель, а он мне ногу тычет: «Целуй!» Ох, и настрадалась я с ним. А как он меня бил... Скотину так не бьют. И во двор на снег выгонял босую. И душил меня... А я молчала. Кому сказать? Кто поможет? Немного легче стало, когда мы, помнишь, депутатов выбрали. Я тогда голосовала за солдат. Вернулась домой, Трофим набросился на меня: «Ты мне жена или батрачка?» А я на него гляжу, не понимаю, чего он хочет. «Убью!» — кричит. Да как схватил за волосы, как начал бить кулаками в спину, в грудь... Избитая, измученная проплакала я всю ночь... Живого места на мне не было. Прикоснуться нельзя — все болит. А наутро все-таки пошла к Якову Македону, рассказала ему всю правду. Советы помогли мне. Яков вызвал его к себе в волость. Были там еще Кузьма Сукачев да Пимен Базалий...

О чем они говорили с Трофимом — не знаю, но только он меня больше не трогал. Ругаться — ругается, а ударить не смеет. Если немцы придут, он снова начнет меня бить.

— Глянь-ка, Олимпиада, что это за верховые там?

Из глухой улицы выехала группа красноармейцев. Один из них, отделившись от товарищей, крикнул им вслед:

— Поезжайте, я вас догоню, — и повернул коня к Олимпиаде.

Это был паренек лет восемнадцати. Голубые глаза его постепенно тускнели. Чувствовалось, что у него кружится голова, но, преодолевая боль и слабость, он крепко вцепился рукою в луку седла, чтобы не упасть. Из-под околыша старенького картуза виднелось крестьянское полотенце, насквозь пропитанное кровью.

— Скажите — в слободе... аптека... есть?

— А вон, через два дома, третий — аптека. Там вывеска.

Затуманившимися глазами боец посмотрел вдоль улицы и, видимо не заметив никакой вывески, тронул за повод коня и поехал дальше.

— Проводить бы его. Раненый ведь... — сказал Мефодий, жалея парня, как родного сына.

— Молоденький, совсем еще мальчик. Давай поможем ему. Сам-то, наверно, не слезет с коня. Ослаб... Видишь, в лице ни кровинки.

Они увидели, что боец, не доехав до аптеки, пошатнулся в седле и, не удержавшись, свалился на землю. Одна нога его застряла в стремени. Умный конь сразу остановился. Мефодий и Олимпиада подбежали. Красноармеец был без сознания. Лесник быстро освободил его ногу из стремени и расстегнул ворот гимнастерки.

— Я гляжу — бледный он, как смерть, — говорила испуганная Олимпиада, не зная, что делать. — Наверно, много крови потерял... Господи, неужели умрет?

— Помоги мне, — сказал деловито Мефодий. — Мы его поднимем.

Красноармеец застонал, открыл глаза.

— Что же ты, парень... сказал бы: помогите, мол, плохо мне... Разве мы чужие, не понимаем?.. Ну, опирайся на мое плечо, держись... Сейчас аптекарь сделает тебе перевязку.

Олимпиада торопливо открыла дверь. Боец с беспокойством оглянулся на коня.

— Привяжу, не бойся. Никуда твой конь не денется. Себя спасай.

Пахло лекарствами. Мефодий посадил бойца на диван, но тот, казалось, плохо понимал, где он и что с ним собираются делать. Глаза его попрежнему тускнели, а лицо становилось все бледнее.

— Плохо ему... Помогите...

— Я, видите ли, не врач, я аптекарь. Мое дело приготовить лекарства. Но я постараюсь сделать все возможное.

Не торопясь Лякин достал из шкафа йод, марлю, вату.

— Только вы осторожнее. Ведь больно...

Олимпиада не могла смотреть на тонкие и длинные пальцы аптекаря, сновавшие у раны.

Лякин быстро и грубо сорвал с головы раненого окровавленное полотенце. Боец, застонав, снова потерял сознание и повалился на плечо Мефодия.

Аптекарь смазал свежую рану йодом, забинтовал голову, дал понюхать нашатырного спирта. Раненый пришел в себя.

— Вот и хорошо. Теперь ему станет легче. Ну как, уже полегчало? — спросила Олимпиада, ласково глядя на юношу.

— Спасибо вам... — прошептал боец, жадно вдыхая воздух. — Воды...

Мефодий взял с подоконника картуз и осторожно надел его на забинтованную голову. Лякин только теперь заметил пятиконечную звездочку; эмаль на ней уже потрескалась, а кое-где слезла. Несколько секунд Лякин стоял как вкопанный.

— Красноармеец... — Глаза его сразу сузились в две пылающие злые щелочки, но этого не заметили ни Олимпиада с Мефодием, ни тем более раненый.

— Как же ты попал в слободу? — спросил Лякин. — Откуда ты? Кто такой?

— Разведчик я... Воды...

— Одну минуточку.

Аптекарь вышел в другую комнату и быстро вернулся со склянкой, которую тотчас же передал бойцу. У разведчика дрожала рука, но он ничего не разлил, с жадностью выпил все до последней капли.

Лякин, поправляя на носу пенсне, следил за ним с загадочной улыбкой.

— Пойду... — сказал разведчик, вставая. — Спасибо вам за перевязку.

Мефодий хотел было поддержать раненого, но тот отвел его руку.

— Ничего, папаша, я сам... — Улыбнулся, еще раз поблагодарил аптекаря и вышел на улицу.

— Прощайте, мамаша! — махнул он рукой, сев на коня. — Прощай, отец! Если придется опять побывать в слободе, может, встретимся. Вы как родные... Никогда не забуду...

Теплая волна сочувствия поднялась в душе Олимпиады к этому незнакомому разведчику, у которого, наверно, где-то осталась мать. Она ждет сына, и может быть, горячо молится за его здоровье, как молится и сама Олимпиада за здоровье своего Сашеньки.

— Прощай, парень, — сказал Мефодий. — Может, и правда случится побывать в нашей слободе, тогда заходи в лесную сторожку, дорогим гостем будешь.

Конь, почувствовав в седле всадника, рванулся с места в галоп и быстро исчез за углом улицы.

— Помог аптекарь... Спасибо ему. Сделал перевязку — и, смотри, сразу ожил парень.

Не видела Олимпиада, но видел Мефодий, возвращаясь в лесную сторожку, как, выехав из слободы, верховой разорвал на себе одежду. Яд, который дал ему выпить аптекарь, начал действовать. Боец звал на помощь товарищей, но не было их поблизости. Упал парень на землю...

А возле него стоял верный конь и спокойно щипал придорожную траву. Кругом раскинулось поле, местами еще покрытое снегом... а далеко впереди, на дороге, виднелась процессия богачей, вышедших встречать хлебом и солью немецких оккупантов. Бойца в бессознательном состоянии отвез в слободскую больницу лесник.

37

На следующий день Мефодий Дробот решил проведать своего друга Македона. Андрей Степанович мастерил кому-то стол и не слышал, как скрипнула калитка

и во двор вошел лесник. Возле верстака валялись свежие стружки, опилки.

— Трудишься?

— Ой! Да откуда ты взялся?

Отложив рубанок, столяр вынул кисет и стал угощать друга крепким самосадом.

— Видел, какая процессия направилась в Богодухов?

— Сам не видал, но жена рассказывала. Ничего, пусть встречают. Ненадолго им этой радости хватит.

Подошла Македониха со свертком и подала его Мефодию.

— Я тут белье и пироги положила, дашь Якову. Как он там, не скучает? Передай ему: пусть сегодня наведается домой, один хороший человек хочет с ним поговорить.

Мефодий переводил взгляд с жены на мужа, не зная, что им ответить.

— Ты что же, Мефодий, молчишь? Может, что недоброе случилось? Говори...

— Ничего не случилось... я только хотел спросить: разве Якова нет дома?

— Нет, — ответила Македониха, бледнея.

— Как же так? Он сам мне сказал... Позавчера это было. Да, позавчера... Вернулся я с обхода в сторожку, смотрю — Яков уже одет. «Куда собрался?» — спрашиваю. «Домой, говорит, наведаюсь». И пошел. Я, правда, заметил, что он бледный и словно вялый какой. Спрашиваю его: «Что с тобой, Яша? Может, захворал ты?» А он мне и отвечает: «Ничего, голова только немного кружится». Так и пошел...

— Где же он может быть? — растерянно спросила Македониха, глядя на мужа.

— Да разве у него мало дел? Может, решил проведать друзей на соседнем хуторе. Там почти все слободские депутаты прячутся. Возьми сверток, Мефодий, передашь Якову, когда он вернется. Ты уж прости нас за беспокойство, пускай наш сын переживет у тебя это время. Ведь, сам знаешь, его для связи оставили.

— Знаю. Вы не волнуйтесь. Все в порядке будет. Я слышал, что немцы не пойдут дальше нашей слободы. Там уже русская земля, а они хотят захватить только Украину. Но я так скажу: ничего у них не выйдет. Разве можно такой великий народ, как наш, поработить?

Землю крестьянин получил, теперь отберут ее. А вернуть землю помещику — это все равно, что живое сердце вынуть из груди у хлебороба. Может, и нам, старикам, придется взяться за оружие. Как ты думаешь?

— Понадобится, так возьмемся. Всему свое время. Только, я думаю, не оставят нас в беде русские братья, — уверенно сказал Македон, насыпая самосаду в клочок от газеты.

Вскоре Мефодий ушел.

Хотя с полуночи дул сильный ветер и лужицы на дорогах покрылись ледяной коркой, но из лесу и с полей, неуемно журча, сбегали в Ворсклу талые воды. Река вышла из берегов, залила низины, сенокосы, прибрежные сады. В заводях плавали гуси и утки. Возле кузни небольшая группа зевак жадно следила за боем двух гусаков. Тут же ходил рыбак с сетью-«пауком»: он закидывал ее в мутную воду, вылавливая мелкую рыбешку. На мосту дети и подростки следили за большими льдинами, которые подплывали к деревянным «сторожам», поднимались на железные, хорошо выкованные хребты и, с треском разламываясь, уходили под мост.

Дети бросали с моста бумажные кораблики и радостно наблюдали, как уносило их быстрое течение. Мефодию тоже захотелось взглянуть на половодье.

— Быстрина. Отсюда, наверно, не выплыть человеку, — сказал он, окидывая взглядом широкую от разлива реку.

Кто-то из слобожан вспомнил прошлогодний случай с дочкой кузнеца:

— Как-то раз в такое же время, ранней весной, пошла она на гулянье. Уж полночь на дворе, а ее все нет. Не спит мать, не спит отец, волнуются — где замешкалась дочка? Пошли к подругам. Подруги говорят: «Мы ее видели вечером, вместе песни пели, плясали, а потом она домой ушла». — «Как домой? Дома ее нет». Везде ее искали. Отец ездил к тетке, в соседнее село, к брату ездил — нигде дочери нет. Прошла неделя. Какой-то человек ловил рыбу возле верб, — вон и сейчас там кто-то ловит, — закинул сеть, смотрит, а из-под лозняка выглядывают туфли. Позвал людей, вытащили из воды труп, смотрят, а это кузнецова дочка. То ли сама она с жизнью покончила или, может, кто насильно толкнул ее в реку — так и не узнали. А гулял с ней сын Лукьяна — Терешка.

Гулял, а потом бросил и начал с другой встречаться. Ну, она с горя, видно, и решилась на такую страшную смерть. Видишь, как кружит между сваями. Попадешь туда — с белым светом прощайся.

Мефодий еще немного постоял на мосту и пошел к себе в лесную сторожку. Открыв калитку, он сразу увидел на двери замочек, — значит, Якова не было.

А Яков в это время блуждал по лесу.

Вернувшись из соседнего села, куда он ходил проведать товарищей, Яков почувствовал сильную слабость. Крепился изо всех сил, но болезнь брала свое. Его знобило. Идти было тяжело, оттаявшая земля прилипала к сапогам и их каждый раз приходилось очищать палкой. В лесу еще встречались ложбинки с нерастаявшим снегом, рядом насквозь пронизывая снег, через побуревшие прошлогодние листья тянулись к свету и теплу первые подснежники. Сильнее пригреет солнце — и голая земля покроется сплошным зеленым ковром.

Но не до весенних цветов было Якову. Ему хотелось поскорее добраться до лесной сторожки, лечь и уснуть.

«Уснуть. . .»

Напрягая силы, Яков шел знакомой дорогой; с каждой минутой увеличивалась слабость, туман застилал глаза, все сильнее кружилась отяжелевшая голова.

«Отдохнуть. . . Надо отдохнуть немножко». Он заметил срубленный дуб. Вокруг валялись свежие щепки, а от пенька рос еще один дубок, на который можно было опереться спиной.

«Посижу немножко, минут десять, и дальше пойду», — подумал он, направляясь к пеньку. Сидеть было удобно. Яков закрыл глаза. Над головой голыми ветвями шумели деревья, и этот знакомый с детства шум был для него привычным и приятным. Пахло прелыми листьями.

«Заболеть в такое время. . . А что, если это тиф? Где же я буду лежать? В сторожке? А вдруг кто-нибудь проследит? Тогда и сам я погибну, и Мефодия поставлю под удар. Нет, пересплю ночь в сторожке, а на рассвете пойду к товарищам. Они спрячут меня в надежном месте, позаботятся обо мне».

Яков чувствует, что головная боль постепенно проходит. Где-то поблизости поет синица. Он слышит ее пенье,

но ему не хочется открывать глаза. Он отдохнет еще минут пять... или десять и пойдет дальше.

«Может, лучше не в сторожку, а домой?» — вдруг приходит ему в голову. «Стемнеет, и пойду домой», — решает он.

Перед глазами встает образ матери, ласковой, доброй, беззаветно любящей.

«Она присмотрит за мной, пока я выздоровею. А отец сумеет тайно вызвать врача. Никто не узнает. Конечно, лучше дома лежать. — Но тут же Яков вспоминает о немцах. — Найдутся злые люди, выдадут врагам, и тогда не жди пощады. Нет, дома скрываться нельзя».

Но мысль о матери не покидает его, так и манит домой...

— Она спрячет, — словно в забытьи говорит Яков. — Она умная... Никого чужого ко мне не пустит. Я знаю... Дома лучше... Домой пойду.

Какая-то птичка пролетела над головой. Он почувствовал легкий шелест ее крыльев, но не открыл глаз. Неожиданно перед ним вырос холмик, усеянный цветами. А на холмике появилась девушка в простеньком платье, с длинными косами, перевязанными красной лентой. Она идет к Якову с большим букетом лесных цветов.

Он всматривается в нее, узнает, бежит навстречу с радостным криком: «Нина! Нина... Как ты сюда попала?»

Это был сон.

Вскоре поднялась метель. Северный ветер могучими порывами налетал на голые кроны деревьев, раскачивал их, и в лесу стоял глухой шум.

Яков проснулся в полночь и с изумлением опять увидел зиму. Все побелело вокруг. Ветер гнал снеговые тучи на юг. Вскоре прояснилось, и в небе засияли далекие холодные звезды.

«Как же это я... уснул?.. Заснул днем, а теперь ночь».

Яков вышел на дорогу. Сон не ободрил его. Наоборот, Яков чувствовал еще большую усталость. Одно желание владело им: как можно скорее дойти до жилья. Но не о Мефодиевой сторожке думал он сейчас, ему страстно хотелось быть у себя дома.

Жар обжигал Якову щеки, и, наверно, от жара так

блестели у него глаза и шумело в голове. Вдруг почти у самой дороги он увидел человека и остановился.

«Кто бы это мог быть? Кого он ищет? Неужели меня?» Яков подошел ближе, вынул из кобуры револьвер.

— Кто это? Кто, я спрашиваю? — крикнул он. — Я буду стрелять!

Но человек не шевелился. Шапка и пальто его были густо засыпаны снегом.

— Застрелю! — опять пригрозил Яков и стал целиться. — С дороги, говорю тебе, прочь с дороги!

Прогремел выстрел, и эхо повторило его в лесных чащах. Человек стоял так же недвижно.

«Неужели промахнулся?» — с удивлением подумал Яков. И ужаснулся, разглядев, что это обыкновенный куст терновника, а оттопыренная, покрытая снегом ветка напоминает голову человека.

«Что со мной?» Он ускорил шаги. Потом побежал. Его гнал вперед какой-то неосознанный страх, Яков не выпускал из рук револьвера.

Впереди опять показался человек. Это заставило Якова остановиться. Ведь можно немного передохнуть, можно поговорить с этим неизвестным путником, блуждающим по лесу в такое время. Отогнув ветку орехового дерева, Яков сел, а в нескольких шагах от него остановился путник. Он попросил закурить, и Яков по голосу узнал Глеба Калмыкова.

— Хорошо, что я тебя встретил. Ты меня проводишь домой. А то, знаешь, я себя плохо чувствую. Голова болит, наверно, у меня жар... Что бы это могло быть? Как ты думаешь, неужели тиф? А ты, Глеб, куда идешь? К товарищам? Я уже проведал их... Ничего, ребята не унывают. А как немцы? Еще нету? Ну, будут... Думаю, что будут, и мы еще с ними повоюем. Ты был у моей матери? Говоришь, беспокоится? Приду... Я решил... Вот покурим и пойдем вместе. Ладно? А как Терень? Дома, с дедом Михеем? Нет? Ушел?.. Куда ушел? Хочет бить немецких оккупантов? Молодец!

Глеб потянулся к нему за газетной бумагой. Яков спросил:

— А зачем ты ночью пошел в лес? Меня искать? Что я, маленький?.. Говоришь, немцы в слободе и ты хотел меня предупредить? Я так и знал, что они придут... Но

я все-таки пойду домой. Ты, Глеб, не стесняйся, бери... табак у меня хороший... Это меня в Стригунах угостили товарищи.

Яков протянул руку и почувствовал боль. Острые колючие шипы впились в пальцы, и это вывело его из забытья. Глеб пропал. Вместо него Яков увидел покрытый снегом куст. Вокруг никого, тишина...

Яков быстро поднялся на ноги, спрятал оружие, побежал вперед и остановился передохнуть, только когда опушка леса уже осталась далеко позади. Перед ним расстилалась белая пустыня, а за ней маячили редкие огоньки — там слобода. Он шагал теперь легко, не думая о том, что его могут задержать немецкие патрули. Одно желание, одна мысль не оставляли его: скорее бы очутиться в родной хате, лечь в чистую, теплую постель и уснуть.

Весь запорошенный снегом, вошел Яков в слободу.

Улицы были безлюдны. Только перебежала через дорогу собака и, даже не залаяв, скрылась в подворотне. Вот Софьин дом. Торопливо шмыгнула чья-то высокая фигура и, как привидение, исчезла за калиткой. Вспомнив Софьин рассказ, Яков догадался, что это блуждает поздней порой Трофим Иванович. В Софьиных окнах темно. Наверно, она уже спит. Яков ускорил шаг. Чем ближе подходил он к мосту, тем громче становился шум бурлящей воды. Время от времени тишину ночи прорезал треск льдин, ломавшихся о железные хребты предмостных «сторожей».

Яков ступил на мост. Отсюда хорошо видна родная хата. Тускло светится крайнее оконце, освещенное лампадой.

Еще несколько минут, и он постучит в раму. Чуткая мать сразу поднимется с постели, откроет ему дверь.

Но что это впереди? Какие-то люди стоят у перил, видимо ждут, пока он подойдет ближе. Недоброе предчувствие охватило Якова. Он остановился в нерешительности.

«Повернуть назад или идти дальше?» Он колебался недолго. Смело пошел вперед, готовый ко всякой неожиданности. Неизвестные тоже пошли ему навстречу. Под сапогами у них хлюпал мокрый снег.

Бурлила, пенилась весенняя вода, неудержимо увлекая за собой льдины; когда они ударялись о столбы, весь мост содрогался. Невольно вспоминался случай с дочерью кузнеца. Но сейчас все внимание Якова приковали эти неизвестные люди. Они зашагали быстрее.

Заметив у них за плечами винтовки, Яков понял, что это гайдамаки или немцы. Выхватив из кобуры револьвер, крикнул:

— Стой! Кто идет?

Вдруг яркий сноп света от электрического фонарика ударил Якову в глаза, сразу ослепив его. Он хотел выстрелить, но получилась осечка. В ту же секунду кто-то нанес ему страшный удар в голову...

38

Яков очнулся в пустой хате с решетчатым оконцем. Долго всматривался в оконце, не понимая, где он. Сон это или явь? По углам тянулась густая паутина. На соломе валялись грязные лохмотья. Наконец Яков вспомнил, что это «холодная» при волостном дворе, где он когда-то видел сумасшедшую. До сих пор не забыл Яков, как еще первоклассником вместе с другими мальчишками смотрел он в это решетчатое окно. На всю жизнь запечатлелся образ молодой обезумевшей женщины. Пытаясь вырваться на волю, несчастная царапала ногтями стены, подбегала к окну и, дико вращая глазами, грозила мальчикам окровавленными кулаками.

С той поры Яков не мог спокойно пройти мимо «холодной». Даже когда стал взрослым, всякий раз, проходя мимо домика с вогнутой, ржавой крышей и запыленными стеклами, он невольно вспоминал безумную женщину, и ему становилось как-то не по себе.

А вот теперь сам попал в этот дом. Холод пронизывал его до костей. Вспомнилась вчерашняя ночь, неизвестные люди, их внезапное нападение на него.

Кто они, Яков не знал. Может быть, немцы? Если немцы, то они обязательно расстреляют его, члена Совета рабоче-крестьянских и солдатских депутатов. «Что ж, буду защищаться до последнего вздоха».

39

Время шло, а к Якову никто не приходил. Он встал, начал стучать в дверь. Через несколько минут послышались шаги. В «холодную» вошел вооруженный гайдамак в жупане и шапке с желто-голубым верхом.

— Ну, иди! — приказал он сурово, толкнув Якова в спину стволом винтовки.

— Куда идти?

— На допрос, в волость.

Вход в зал охраняли двое часовых. В этом зале раньше проходили заседания первого в слободе Совета солдатских и крестьянских депутатов. Тут намечались планы работы для волостного комитета.

— Прямо! — приказал гайдамак.

Яков открыл дверь. За непокрытым столом сидел немецкий офицер, сбоку от него стоял Александр Бессалый. Бессалый держался так, словно видел Якова впервые. А ведь в детстве они дружили, вместе купались в Ворскле, вместе ходили в сельскую школу. Яков окончил школу с «похвальным листом», но Александр украл лист, когда в хате Македонов никого не было, запачкал чернилами и через несколько дней подбросил в палисадник. Эта история почему-то вспомнилась сейчас Якову.

— Ваше благородие, — обратился он к немецкому офицеру, — я считаю свой арест незаконным. Прошу меня немедленно освободить, иначе я буду жаловаться высшему начальству.

— Ваша фамилия Македон? — спросил офицер, впившись холодными глазами в лицо арестованного.

— Да.

— Скажите: ви работаль большевистски Совет?

— Работал.

— Кем ви работаль? Кто есть?

— Депутат волостного комитета. Меня избрал народ.

— У вас нашли револьвер. Для чего вам нужно оружие? Бороться с немецки армий?

— По долгу службы мне приходилось выезжать в далекие села, а там иногда действовали бандитские шайки. Оружие мне было необходимо для самозащиты.

— Ви ездиль для большевистски пропаганда? Ви большевик?

— Я беспартийный.

— Говорят, ви имель пулемет, винтовка, бомби... Это есть правда?

— Ложь! Никакого оружия, кроме револьвера, у меня нет и не было.

— Я вас могу освободиль домой, но есть одно условие... — Немецкий офицер, усмехаясь, смотрел на Александра Бессалого. — Одно есть условие: если за вас будет поручиться священник Виталий, аптекарь Лякин и... — офицер запнулся, забыв третьего поручителя.

— Лукьян Иванович Бессалый, — подсказал Александр.

— О! Лукьян Иван Бессали.

— Расскажи о своих друзьях, с которыми ты работал в Совете, — приказал Александр, закуривая папиросу.

Яков не ответил.

— Ви не хотите рассказаль нам о свои союзники и друзья? Мы имеем полни список, но ми хотель, чтоби ви рассказаль нам, где есть сейчас... — немец вынул записную книжечку и, заглянув в нее, продолжал: — где есть Кусьма Сукачоф, Костатин Метелик...

— У меня нет никаких сведений.

— Ви знаете, конечно, где есть ваши друзья, но ви их жалель, ви не хотите нам сказаль. Правда?

— Мы заставим тебя дать нам необходимые сведения, — вновь отозвался Александр, возмущенный тем, что Яков не хочет с ним разговаривать. — Ты все про них знаешь и обо всем нам сообщишь!

— Сволочь! — тихо, твердо сказал Яков, глядя в прищуренные, острые, как жало, глаза Бессалого.

Александр побагровел. Он готов был тут же броситься на Якова, но, заметив недовольный взгляд немца, сдержался и закурил новую папиросу.

— Ваше благородие, я три года был на войне, у меня простужены ноги, мне тяжело стоять.

Немец, взглянув на Якова, сказал:

— Садитесь.

— Я чувствую себя больным, — не садясь, продолжал Яков. — Я хочу, чтобы ко мне вызвали врача, осмотрели и отпустили домой.

— Ви чувствоваль себя больной! Гут! Ми позовем к вам врача, а ви подумаль хорошо. Гут подумаль. Ми

должны знать, где есть ваши союзник, ваш друзья, и тогда я гарантирую вам свобода.

Якова снова отвели в «холодную». Там он, голодный, пролежал до вечера. Даже воды не дали ему. Его мучила нестерпимая жажда. Врача не было, да его и не собирались вызывать.

Неизвестно, кто сказал Македонихе про арест сына. Не чуя под собой ног, прибежала она в волость. Умоляла Александра разрешить свидание с Яковом, но Бессалый категорически отказал. Хотела обратиться к немецкому офицеру — не допустили вооруженные часовые.

«Куда идти? С кем говорить? У кого просить помощи и защиты?» Только вечером, вспомнив про Олимпиаду, Македониха побежала к ней. Она застала Олимпиаду дома, рассказала ей о своем горе:

— Мой Яков сидит под арестом. Просила хоть одним глазком взглянуть на него, хоть одним словечком обмолвиться. Не позволили, не пустили...

— Не кручинься, не горюй, Варвара! Попрошу сына, он освободит Якова. Сашенька мой недавно вернулся домой. Я скажу ему. Ведь они с Яковом товарищи. Я попрошу... Обязательно освободит. Как же так? Хорошего человека под арестом держать? Ты посиди, а я с ним поговорю. Не плачь, все будет хорошо.

Олимпиада робко вошла в комнату сына. Кто знает, с каких пор она стала стесняться, даже немного побаиваться своего Сашеньки. Когда сын вчера вечером рассказывал, как вместе с немцами вешал коммунистов, расстреливал их семьи, Олимпиада с ужасом смотрела на него, ей становилось страшно.

«Неужели это мой Сашенька? — думала она. — Вешать людей... расстреливать беззащитных женщин, детей, стариков. Нет, нет... Мой сын не мог этого делать, не мог...» Душу ее сковывал холод. В ней против ее воли рождалось чувство отчужденности к родному сыну, ставшему таким жестоким. Она боялась этого нового чувства, старалась заглушить его, вытеснить другими, светлыми воспоминаниями о детстве Александра, которые она берегла в сердце, как самый дорогой и самый милый ей клад. Но это не удавалось Олимпиаде. Александр, видимо, не понимал страданий матери. Он с удовольствием рассказывал о тех многочисленных случаях, когда он

лично арестовывал коммунистов и передавал их потом немцам для допроса и пыток.

Слушая все это, Олимпиада смотрела на сына так, словно видела его впервые. Сашенька, за здоровье которого она горячо молилась утром и вечером, ради которого она решилась даже на кражу денег из мужниного ящика, которого она с таким нетерпением ждала домой, он, ее любимец Сашенька, людей отдает врагам на пытку.

Бывали минуты, когда ей хотелось подойти к сыну, обнять его, сказать: «Сашенька, послушай мать, уходи от этих немцев прочь, пока не поздно. Кому служишь? За кем идешь? Против кого? Опомнись».

Но Олимпиада чувствовала, что ее слова будут напрасны. Не послушает сын. Какая-то стена выросла между ними. Никак не могла она понять, откуда взялась у ее сына такая ненависть к большевикам. Что плохого они ему сделали?

Не забыть матери и одного недавнего случая. Роясь в сундуке, сын нашел красную ленточку, подаренную ей на митинге Македонихой. Эта ленточка вызвала в нем бешеную злобу. Он изорвал ее на мелкие кусочки, глубоко обидев мать, но она промолчала, сдержалась, чтобы не ссориться с ним, покорно снесла его грубость, стерпела горькую обиду.

«Нельзя! Понимаете, мамаша? Нельзя держать в доме красные тряпки. Ко мне могут зайти немецкие офицеры... Я не хочу из-за вас иметь по службе неприятности. Ясно? Прошу выполнять мои приказы, мамаша, а иначе будет плохо!»

Его угрозы обожгли материнское сердце.

Разъяренный Александр ушел из дому, а она, подобрав с пола кусочки шелковой ленточки, тщательно спрятала их.

Но куда спрятать боль и обиду? Олимпиада чувствовала, как тускнеет в ее душе светлый образ сына. Когда-то он был ласковый и нежный, жалел мать и всегда вставал на ее защиту, если пьяный отец начинал ее бить. Не раз видел мальчик ее слезы и, обнимая мать теплыми ручонками, говорил: «Вот я вырасту, никому не дам вас обижать. Никому!»

Но вырос он, пошел на войну, стал офицером — и вот каким вернулся в родную семью.

Мать не раз пыталась с ним поговорить, но он отве-

чал ей скупо, неохотно, часто грубил, незаслуженно обижал, но зато целыми часами просиживал с отцом. О чем они разговаривали, Олимпиада не знала. Только однажды случайно она слышала, как муж возбужденно говорил о Пимене Базалии: «Как бельмо на глазу для меня этот Пимен. Кто знает, что случится, если он, живой свидетель. . .»

Голос его неожиданно смолк. Плотнее прикрылись двери. Не разобрала Олимпиада, о каких делах беседовали отец с сыном, но одно поняла она: что-то недоброе затевает Трофим против Пимена. А что именно — Олимпиаде узнать не удалось. Теперь она следила и за сыном и за отцом, пытаясь проникнуть в их планы.

Чужой, ненужной становилась она в своей семье. Не уважал ее муж, не уважал и сын. А как ждала она его возвращения! С какой радостью бросилась к нему на грудь, когда, переступив порог отцовского дома, он — живой и здоровый — остановился перед ней.

Да разве есть на свете большее счастье для матери, чем встреча с родным сыном, пришедшим с фронта? Олимпиада уже не помнит той первой минуты, когда беспредельная радость затуманила ей разум. Она видела перед собой только его лицо, жадно целовала щеки, обнимала сына, а он смущенно отстранял ее, словно совсем не рад был долгожданной встрече: «Ну, матушка, довольно, довольно. . .» — и, разняв ее дрожащие руки, сбросил шинель.

Она была ослеплена радостью и тогда не обратила внимания на его холодность. Только спустя некоторое время, присматриваясь к Сашеньке, слушая его страшные рассказы, она начала понимать, что сын стал совсем другим. Каждый день приносил матери все больше разочарования, горечи, обид.

Молчаливая, тихая, встав рано утром, Олимпиада привычно выполняла свои хозяйственные обязанности: готовила пищу, пряла полотно, убирала комнаты, но никто в доме, казалось, не замечал ее. Гнетущая тоска разрывала ей сердце. Оставшись одна, Олимпиада все свое горе, всю невысказанную боль изливала в слезах.

Олимпиада рада бы помочь Македонихе, но то, что она сейчас услышала про Сашеньку, смущает ее. Ей жаль Якова. Только одного она не понимает: как это он,

такой умный солдат, мог попасться к ним в руки? Ведь они будут его мучить... А может, и расстреляют.

«Неужели его расстреляют?» Олимпиада пришла в ужас при одной мысли об этом. Нет, этого не будет. Она попросит Сашеньку, он должен выслушать родную мать, он обязан все сделать, чтобы освободили такого хорошего, доброго человека, как Македон.

Олимпиада хорошо помнила тот день, когда Яков с товарищами защитили ее от глумившегося над ней мужа.

Как же не выручить Якова, не отплатить ему за добро добром именно теперь, когда он попал в такую беду?

Отец с сыном сидели в комнате. Сорвав пожелтелый листок фикуса, Александр мял его тонкими, нервными пальцами. Отец рассказывал ему, как Олимпиада вместе с лесником Мефодием помогала красному разведчику, как немного спустя узнали об этом слободские богачи — и Трофиму Ивановичу было стыдно за свою жену. Сын выслушал все молча и, глядя отцу в глаза, спросил:

— Почему вы не выгнали ее из дому?

— Выгнать? — Даже Трофим Иванович удивился такой жестокости: словно разговор шел не о родной матери Александра, а о какой-то совсем посторонней женщине. — Куда же ее выгонишь?

— Пусть идет... куда хочет. Не пускать ее в дом! Пусть пропадет здесь под забором, как нищенка, как последняя собака!

— Что ты? Разве можно так говорить о матери? — испугался отец.

Молодое лицо Александра сделалось злым, глаза прищурились, стали холодными, колючими.

— Мне стыдно, что у меня такая мать, — произнес Александр, разрывая листок фикуса на мелкие кусочки.

В эту минуту вошла Олимпиада. Оба — муж и сын — умолкли.

— Сашенька, я к тебе, родной... Хочу попросить...

— Ну, что там еще? — с раздражением спросил Александр, недовольный появлением матери, и сорвал еще один листок фикуса, совсем зеленый.

— Спокойнее, Александр... Это фикус... Зачем его портить? Он денег стоит, — остановил его отец.

Александр, вскипев, обрушил всю злобу на мать.

— Что вам от меня нужно? Ну, что? Оставьте меня в покое! Слышите?

— Сынок, почему же ты кричишь на меня?

— Я не кричу. Я очень устал, — мягче сказал Александр.

Ему стало немного стыдно. Он заметил, как мать побледнела и ее протянутая к нему рука опустилась, будто неживая. Страх и растерянность светились в ее глазах. Что-то старое, нежное вдруг отозвалось в его душе. Надо было сказать матери ласковое слово, но минутная слабость прошла, и он опять стал суров и недоступен для нее.

Но Олимпиада должна была с ним поговорить. Она не может себе представить, чтобы Якова, единственного сына Македонов, расстреляли немцы. Ведь это был бы самый тяжкий удар для родителей. Да разве только родителям он дорог? Яков сделал много хорошего для слободской бедноты, люди никогда не простили бы его смерти не только немцам, но и тем, кто помогал им в этом убийстве.

Она смотрела на Сашеньку, не зная, какими словами убедить его, чтоб он помог освободить Якова.

— Саша, — начала она, робея перед сыном, — Сашенька, ты когда-то жалел меня и... ты не откажешь матери.

— Разве вы мне мать?

Олимпиада опять увидела злые, прищуренные глаза, от взгляда которых на нее веяло холодом и отчужденностью.

— А кто же я? Я вынянчила тебя, вырастила. Я за твое здоровье богу молюсь.

— Чего ты хочешь, Олимпиада? — вмешался в разговор Трофим Иванович, до сих пор молча наблюдавший за сыном. — Говори сразу, зачем пришла, и ступай. У нас секретные разговоры.

Муж и сын — чужие люди. Сейчас она чувствовала это особенно остро. Словно заговорщики, прячутся они от людей, о чем-то шепчутся между собой, а она — жена и мать — не знает и, наверно, никогда не узнает про их тайные планы. Ну что ж, она скажет, что ей нужно, и уйдет; она не будет им мешать.

— Арестовали Якова Македона. Я прошу тебя, Сашенька, помоги его освободить. Ты сделаешь хорошее дело.

Не ожидавший такой просьбы, сын несколько секунд смотрел на нее, моргая ресницами, а потом громко рассмеялся. И этот непристойный, злобный смех обидел мать.

— Вы, матушка, наивная женщина... Простота! Да понимаете ли вы, что значит выпустить такую птицу? Кто вас научил? Кто послал вас ко мне с такой просьбой?

— Сама я... И ты не смейся... Нехорошо смеяться, сынок, над чужим горем. У него тоже есть мать. Она тут... за дверью... ждет ответа.

— Невелика барыня, подождет и отправится туда, откуда пришла. Передайте ей, мама: пусть убирается отсюда, пока не поздно.

— Сашенька, для меня сделай, для матери твоей... Я прошу... молю тебя.

— Отстаньте!.. Что вы ко мне пристали? Хотите, чтоб я сейчас же ушел из дому? Не могу я и... не желаю. Понимаете? Не же-ла-ю!

Олимпиада больше не просила. Молча вышла она за дверь, где ждала ее Македониха.

Та, наверно, слышала весь разговор, потому что сказала безнадежно:

— Не знаю, куда мне теперь идти, у кого защиты искать.

Олимпиада ничем не могла ее успокоить.

На следующий день Якова посадили на подводу. Охраняли его верховые, а два гайдамака сели по бокам арестованного.

Двинулись в путь. Был базарный день. Люди боязливо расступались, давая дорогу подводе, на которой везли куда-то под усиленной охраной Якова Македона.

— Что за человек? — спрашивали хуторяне.

— Хороший человек, наш, слободской... Депутатом был. Наверно, не вернуться уж Македону в слободу. За бедноту он стоял горой. За бедноту и голову свою сложит.

— Куда же его отправляют?

— Известно куда... К Яру... Там и прикончат.

— Спасти бы его, — сказал кто-то нерешительно.

— Если б оружие было... а как с голыми руками спасать...

— Такой человек пропадет! Ох, Яков, Яков... Почему ты не уберегся?

В нескольких шагах от верховых за подводой шла Македониха с корзиночкой, в которой она принесла Якову еду. Часовые не приняли передачи и даже не позволили матери попрощаться с сыном. Глаза Македонихи были сухими, когда она глядела на охранников, в них светились холодная злоба и презрение, но всякий раз, как только взгляд ее останавливался на сыне, глаза ее сразу светлели, излучая теплоту, безмерную материнскую любовь.

Люди давали ей дорогу, сочувствуя ее беде, горюя о том, что случилось. А когда подвода миновала базар, возница стегнул лошадей, и они помчались быстрой рысью. Македониха не могла бежать за подводой. Она остановилась, тяжело дыша, и люди увидели ее гордо поднятую голову, услышали ее мужественный голос:

— Яков, сын мой, не сдавайся им!

Он, наверно, услышал ее наказ, потому что приветливо махнул рукой, прощаясь с матерью.

Подвода скоро исчезла за углом, а посреди дороги все еще стояла Македониха с корзиночкой в руках. Ее окружили слобожане и жители соседних сел и хуторов, съехавшиеся сюда на базар. Кто-то неосторожно сказал:

— А повезли его на верную смерть.

И сразу же послышался другой, укоризненный голос:

— Молчи... Разве не видишь — мать стоит.

Ее пытались успокоить, но она, казалось, ничего не видела перед собой, не понимала, о чем говорили вокруг нее люди. Ей хотелось скорее домой. Может быть, вместе с мужем они что-нибудь придумают, чтобы спасти сына. Македониха почувствовала страшную усталость. У нее подкашивались ноги. Кто-то заботливо взял ее под руку. Участие простых людей, их искренние слова тронули сердце Македонихи, разжалобили ее до слез.

— Наш Яков за бедных... Богачи его не любят, хотят со свету сжить.

40

Тяжелые времена наступили для слободской бедноты. По дворам ходили немцы, грабили население. То тут, то там раздавались крики молодицы, у которой забирали последнее добро, рыдания матери и плач детей, смотрев-

ших, как со двора у них выводят единственную корову, слышался визг поросят...

Тех, кто давал отпор грабителям, немцы беспощадно били.

Как только на улице появлялись зеленовато-серые мундиры или гайдамацкие шапки, дети и взрослые запирали ворота и калитки, а сами прятались.

Немцы рыскали по слободе, и горе было той девушке или молодой женщине, которая случайно встречалась им на пути. Иногда такие встречи кончались трагично. Вчера, например, за молодой чернобровой девушкой погнались четверо пьяных бандитов. Девушка не успела от них скрыться, помчалась к реке. Немцы — за ней. Дальше бежать было некуда. Отдаться им в руки, стать жертвой насилия — или прыгнуть с крутого берега в холодный водоворот полноводной, глубокой во время разлива Ворсклы? Девушка выбрала второе. Сбросив жакет и теплый платок, она бросилась вниз. Полетели брызги. Сильное течение подхватило ее, понесло от берега. Но догнали девушку немецкие пули, оборвали молодую жизнь.

Весть об этом событии быстро облетела всю слободу. Молодые женщины, девушки убегали из дома, прятались в лесах, оврагах, в плавнях.

А через месяц слобожан поразила страшная весть о Якове Македоне.

Рассказывали, будто гайдамаки не захотели везти его в волостную тюрьму, а остановили лошадей у околицы и приказали слезть с подводы. Отвели его к кладбищенской часовне и там расстреляли, строго приказав сторожу молчать об этом злодейском убийстве.

Македоны в тот же день пошли на кладбище. Могилы, кресты утопали в молодой зелени деревьев, среди которых цвели вишневые и яблоневые деревца, кусты бузины и калины. Македоны разыскали дряхлого старика сторожа, и он подтвердил им страшный слух. Да, здесь расстреляли молодого парня, но не Якова. Дед видел как-то на митинге Якова Македона и хорошо запомнил его лицо. Нет, не Якова убили возле часовни, кого-то другого.

Старый Македон спрашивал: кто же был тот парень, откуда он, о чем говорил перед смертью? Но старик ничего не знал: гайдамаки прогнали его, а когда он вернулся назад, парень был уже мертв. При нем не оказалось никаких документов, и не удалось установить, кто он, откуда

родом. Дед нашел в часовне старые рогожи, выкопал могилу, похоронил юношу, — да будет ему земля пухом!

Македоны пошли на эту могилу, и, глядя на свежий холмик земли, Варвара заплакала.

— Может, так же вот где-то Яков наш...

Македон недовольно кашлянул и сказал, чтобы прекратить неприятный разговор.

— Цветы посадить бы. Петушков, барвинок... ландыша... Наверно, наш был этот человек, коли гайдамаки его убили.

А через несколько дней в слободе было расклеено объявление о том, что из грайворонской тюрьмы бежал Яков Македон, житель слободы Борисовки, и всякий, кто поймает беглеца или сообщит о месте его пребывания, получит от немецких властей большую награду.

Читал это объявление старый Македон и глазам своим не верил. Яков бежал из тюрьмы. Яков еще поборется с врагами. Македон не знал, где сейчас сын, но мысль, что он на воле, что он вырвался из рук палачей, наполнила его огромной радостью, и старик поспешил домой, чтобы сообщить жене эту счастливую новость. Подходя к своему дому, Андрей Степанович увидел у забора целую стайку ребятишек, с жадным любопытством заглядывавших во двор.

Тревога охватила Македона.

«Что случилось? — подумал он, ускоряя шаги. — С Варварой неладно? Так ведь она была совсем здорова, когда я час тому назад уходил из дому... А может, ищут Якова?» — вдруг пришло ему в голову, хотя он был уверен, что не так уж прост его сын, чтобы, бежав из тюрьмы, сразу вернуться домой. Яков сумеет передать родителям весточку о себе. В этом старый Македон не сомневался. Желание поскорее узнать, что творится у него в хате, подгоняло его.

— У вас, дедушка Андрей, гайдамаки и немцы кого-то ищут,— сообщили дети, — рыскают, как собаки.

— Я сам пять штук насчитал, — заявил соседский мальчик, удобно примостившись на заборе.

Андрей Степанович понял, что появиться сейчас дома для него небезопасно, и повернул назад.

Гайдамаки искали Якова, спрашивали у Македонихи. Но Македониха ничего не могла им сказать, кроме того,

что Якова забрали и увезли из слободы, а куда именно, она и по сю пору не знает.

— Вам лучше знать, где он. Вы его арестовали... вы отправляли его в город.

— Он бежал из тюрьмы, — сказал гайдамак и тут же пригрозил: — Но мы его, гада, все равно поймаем!

Они зашли в хлев, осмотрели погреб, заглянули во все уголки в саду, но Якова так и не нашли. Потом гурьбой опять ввалились в хату.

— Открывай сундук, бабка!

— А что вам в сундуке смотреть?

— Открывай! — грозно подступил к ней гайдамак.

Македониха поняла: если не дать им ключа, они сломают замок и все равно возьмут все.

Пришлось открыть сундук. Македониху грубо оттолкнули в сторону.

— Садись, бабка, у стола и сиди спокойно, не то плохо тебе будет.

Но разве могла Македониха усидеть спокойно, глядя, как забирают хромовые сапоги, гармонь, голубую рубашку, которую Яков так любил надевать в праздники? Взяли даже его пояс с кисточками. Так же быстро расхватали из сундука полотенца, платки, полотно и увязали все в скатерть, купленную на ярмарке лет двадцать тому назад.

Напрасно пыталась Македониха отобрать у них свое добро. Немецкий холуй поднес к ее лицу большой волосатый кулак:

— Стукну тебя разок — кровью умоешься.

И не стала она больше просить.

Как коршуны, налетели они на добычу, рвали друг у друга из рук, ругались.

Немцы заорали на них, отобрали для себя лучшие вещи и пошли со двора, оставив гайдамаков продолжать ссору.

«Бандиты! Грабители! — думала Македониха, глядя на врагов. — Не просить вас надо, а убивать, как бешеных собак. Но мы дождемся. Придет наше время! Придет...»

Когда Македон вошел в хату, Варвара сидела в глубокой задумчивости у окна, склонив на руки седую голову. У стены стоял раскрытый сундук, а возле него валялось разное тряпье и замок. Македониха не заметила мужа. Скорбный взгляд ее глубоко поразил и испугал его.

— Ты что, Варвара?.. Что с тобой?

— Пришел?.. Посмотри, как нас обчистили...— и она молча показала рукой на сундук.— Все забрали: и скатерти, и полотенца, и хромовые сапоги... И гармонь взяли...

— А не били тебя? — Македон подошел к жене, обнял ее.— Не горюй, старая, не надрывай сердце. Наживем опять. Было бы здоровье.

— Долго придется наживать. Все до ниточки забрали, окаянные!

— Не жалей, Варвара! У нас радость больше, чем потеря. Слышала? Яков убежал из тюрьмы.

— Правда? — и глаза ее засияли от счастья.— Мне гайдамак сказал, а я думала — врет. Нарочно, думала, говорит, чтоб удобнее было грабить. Как же ты узнал про Якова?

— По всей слободе объявления расклеены. Обещают награду тому, кто сообщит немецкой власти, где он скрывается. Нельзя теперь Якову появляться в слободе.

— На воле! Господи!..— И, поглядев в угол, на иконы, мать перекрестилась.

Эта новость обрадовала слободскую бедноту и взбесила богачей.

— Как? — бушевали богатеи.— Убежал из тюрьмы? Где же часовые были? Куда смотрели? Надо было его сразу прикончить, а они следствие затеяли, в тюрьму посадили... Вот вам и тюрьма... Такой разбойник еще себя покажет. Нужно его выследить и повесить.

Нашлись люди, которые уверяли, что этой ночью Якова Македона поймали, отвели к немецкому коменданту, а на рассвете расстреляли у мельницы.

Слобожане толпами ходили к мельнице, и там действительно видели какого-то расстрелянного человека. Но это был не Яков. А о Якове Македоне в слободе уже складывались легенды. Говорили, будто он без товарищей, но хорошо вооруженный ночью является к богачам, отбирает у них деньги, хлеб, одежду и увозит все на подводах в неизвестном направлении.

А богачи, мол, вынуждены молчать, потому что Яков предупредил каждого: «Скажешь кому-нибудь — убью!»

По утрам только и было разговоров, что про Якова Македона и Софью Изарову. Кто придумал эту небылицу — неизвестно. Но ей верили, особенно женщины,

и охотно передавали друг другу сплетню с такими подробностями, словно каждая из них была свидетельницей этой необыкновенной встречи.

— А пришел он к ней в полночь. Маленький камешек в оконце бросил, разбудил и так ласково ее зовет: «Софьюшка, любовь моя сердечная, открой». Как увидела она Якова, задрожала вся — не от страха, а от радости. Впустила его в дом, думала, что пришел он к ней по любовным делам. А у Якова на уме совсем другое. И повел он с ней такой разговор: «В швейной, говорит, мастерской у тебя солдатки работали?» — «Работали». — «А барыши, говорит, ты от этого имела?»— «Имела. А тебе для чего это знать?» — «Отдай, говорит, им все, потому что это их труд». Забрал золото, мешок бумажных денег и все роздал вдовам, солдаткам и сиротам. Вот как он ее, буржуйку, обработал!

Кто-то уверял, что Яков действительно живет в слободе, только переодевается. Сегодня он — старик, завтра — цыган, послезавтра — настоящий барин. Ночует не дома, а у бедняков. Бедняки его охраняют, ходят в разведку. Целым отрядом ищут Якова немцы и гайдамаки, но найти никак не могут.

А один дед бил себя в грудь, истово крестился, уверяя слобожан, что его внучка собственными глазами видела Якова, когда он выходил из немецкой комендатуры, одетый в гайдамацкую форму. Так что продался Яков немцам. Они его помиловали и приняли к себе на службу. Но деду не поверили, а кто-то из слушателей даже пригрозил ему:

— Ты, дед, знай... врать ври, да не завирайся. А то вот придет к тебе сам Яков ночью и спросит: «Это ты, дед, на меня недостойные поклепы возводишь?» Что ты ему ответишь?

Дед, растерявшись, заморгал красными веками, начал оправдываться:

— Ей-богу, видела моя внучка. Она мыла полы в комендатуре. Да, может, померещилось глупой девчонке...

Слухи про Якова росли с каждым днем, и испуганные богачи не только ночью, но даже днем выставляли у своих домов вооруженную стражу.

Общее сочувствие бедноты вызывала Олимпиада, ставшая теперь нищенкой. Все знали, что сын выгнал ее из родного дома. За эти несколько недель она исхудала,

потемнела лицом, сгорбилась; собирая милостыню, Олимпиада не заходила в богатые дворы. Бедные люди жалели ее, приглашали к себе ночевать. Сердобольные хозяева сажали нищенку за стол, угощали борщом, пшенной кашей или картошкой. Среди бедняков у нее были настоящие друзья.

Но бывали вечера, когда мучительная скорбь охватывала сердце Олимпиады. Хотелось вернуться домой, поговорить с сыном. Может быть, он послушает ее, старую мать, оставит службу, будет жить дома, помогать отцу, как до войны. Ведь народ все видит, от него никуда не спрячешься. Перед народом придется отвечать за свои поступки.

В такие минуты она готова была все простить сыну — лишь бы только он внял ее материнским советам. Иногда это желание становилось нестерпимым, и Олимпиада, попрощавшись с добрыми людьми, приютившими ее, уходила домой.

Но ворота родного дома всегда были на запоре. Олимпиада часами бродила под окнами, и чувство всепрощения сменялось обидой.

Она уходила прочь и остаток ночи проводила на базаре, устроившись где-нибудь под рундуком.

Изредка она случайно встречалась на улице с Александром, но всякий раз он с холодным, неприступным видом проходил мимо нее, не здороваясь, словно это была не мать его, а чужая, незнакомая женщина.

В такие минуты Олимпиада смотрела сыну вслед, и недобрые мысли туманили ей голову. Целый день она не могла забыть встречи, причинившей ей новые страдания и боль.

Дни шли за днями. По слободским огородам так же шатались немцы, срывая лук, редиску, молодые огурцы. А когда поспевали вишни, яблоки, немцы и в садах становились полновластными хозяевами.

Слобожане видели, как в начале осени к станции потянулись длинные обозы с награбленным имуществом, продуктами, мукой. В слободе оставались только гайдамаки. Они, как и прежде, бесчинствовали, устраивали попойки, драки, грабили народ. Кололи свиней, резали баранов, телят, коров; зарезали даже единственного в слободе племенного быка. Пьяные слонялись по слободским

улицам, приставали к девушкам и молодицам или, поссорившись, вдруг поднимали стрельбу.

Во время одного из таких дебошей была убита шальной пулей девочка лет восьми.

В народе росло недовольство, лютая ненависть к гайдамакам.

— Чем они лучше немцев? Так же грабят. Так же насилуют, убивают людей. Когда же на них, проклятых, придет погибель?

Все чаще говорили между собой слобожане о многочисленных полках Красной Армии, которые уже выступили на помощь многострадальной Украине, о том, что эти полки не сегодня-завтра пройдут через слободу. Верили люди, что на подступах к Харькову Красная Армия нанесет решительный удар немецким полчищам и, разгромив их, изгонит с Украины проклятых врагов вместе с гайдамаками.

Только скорее бы приходили эти красные полки! Много новых воинов вольется в их ряды, пойдут люди защищать молодую республику Советов.

И тогда народ отплатит гайдамакам и немецким оккупантам за все их злодеяния, за слезы матерей, девушек, молодых женщин, за пролитую кровь, за насилие. Но дни шли за днями, а Красная Армия не появлялась. Народ заговорил о партизанах.

Были люди, уверявшие, что они не только встречали в лесу партизан, а даже проходили вблизи их лагеря. Правда, партизан пока маловато. Им не хватает пушек, боеприпасов, но как только они достанут еще хоть немного винтовок и два-три пулемета — гайдамакам придет конец!

— А как же они, партизаны, живут? В куренях или землянках? Где берут продукты? Как их разыскать-то? Может, покажешь дорогу? — допытывались слобожане.

Смущенный «очевидец» не знал, что ответить.

— Дорогу, значит, показать? Да видишь ты, какое дело: поблизости-то я был, это точно, а вот поручиться, там ли их лагерь, в другом ли каком месте, не могу. Но есть такой человек — лесник Мефодий. Ему все известно. Он у них связной.

И к Мефодию началось настоящее паломничество. Приходили юноши, мужчины. Приходили бойкие девушки. Расспрашивали о партизанах.

Навещали лесника и бывшие солдаты. Они не сразу

начинали беседу о партизанах, но Мефодий отгадывал их мысли и первый заводил нужный разговор. Он прямо заявлял, что ему ничего не известно о партизанском отряде, и этим глубоко разочаровывал гостей.

— Как же так? — удивлялся какой-нибудь солдат, обескураженный ответом лесника. — Говорят, ты связным у них. Не бойся, не выдам... Я тебе тоже откроюсь. Ведь я фронтовую винтовку спрятал... Может, пригодится теперь. Я бы пошел к ним, партизанам. Помоги. И надежных солдат привел бы. Есть такие, хорошие ребята. Уважь, Мефодий, спроси командира, расскажи ему: так, мол, и так, есть подходящие люди, в отряд просятся, обстрелянные... в боях бывали, пулей их не испугаешь, за советскую власть хотят воевать.

— Да я и сам ничего о партизанах не знаю. Охотно помог бы тебе.

— Не веришь, значит? Ну что ж, подумаем сами... Может, что и придумаем. — И обиженный солдат уходил домой.

Мефодий рассказывал об этих посещениях Македону, советовался, как быть.

— Много людей в моей сторожке перебывало, и все подходящий, надежный народ... Ищут партизанский отряд, а отряда-то нет. Может, надо его создать, как думаешь?

— Если народ хочет — значит отряд будет. Только вот кто возьмется за это дело?

— А хотя бы и ты, Андрей Степаныч. Бери на себя командование, а я уж пойду к тебе в помощники.

— Все шутки шутишь... Какой из меня командир? Столярное мастерство я знаю доподлинно, а военному делу не обучен. Ты, Мефодий, пока что запоминай этих людей. Они еще понадобятся. Сегодня отряда нет, завтра будет. Народ долго терпеть не будет.

Затянувшуюся дождливую осень сменила суровая зима. У власти все еще были гайдамаки. Беднота ненавидела их и боялась. Перед рождественскими праздниками Македона неожиданно вызвали к отцу Виталию. Поп ласково поздоровался с Андреем Степановичем, пригласил его к столу выпить чашку чаю с вишневым вареньем.

— Мы решили поручить тебе одно дело, — начал поп, попивая небольшими глотками горячий чай из фарфоро-

вого блюдечка. — Хотим, чтоб ты соорудил нам к Христову крещенью иордань.

— Не смогу я, батюшка, здоровье...

— И не думай отказываться, — строго предупредил поп, — не то будешь иметь большие неприятности. Мы знаем, что ты лучший мастер в слободе, кроме тебя, никто не может справиться с таким делом. Мы даже решили заплатить тебе за твой труд сколько надо. Ты должен спасибо сказать за то, что власть тебя не притесняет. Ведь все знают, кто твой Яков, а не трогают тебя. Думал ты об этом? И потому не трогают, что я тебя защитил. Ты для церкви нужен. Ты мастер. Надеюсь, понял теперь, почему тебе нельзя отказываться?

— Понял.

— Сын может быть большевиком, а отец добрый христианин. Вот и начинай работу сегодня же, чтобы поспеть ко времени. Гайдамаки собираются вместе с нами праздновать крещенье.

Андрей Степанович вынужден был согласиться.

По дороге домой он зашел на базар, купил дешевых конфет, пряников, медового коня, искусно раскрашенного красной краской и золотом. Гостинцы он вручил жене. Спрятав их в сундук, Варвара принесла из хлева охапку пахучего сена, устроила перед иконами своеобразное «гнездо» и поставила в него два чугунка, пометив на них мелом крестики. Один чугунок был со взваром, другой — с пшеничной кутьей.

Зимний день короток. Не успело еще стемнеть, а уж на слободских улицах начали появляться дети с узелками, в которых была аккуратно увязана «вечеря».

Старшие вели за собой младших братишек и сестренок. Совсем маленьких несли на руках или везли на санках, укутав их так старательно и заботливо, что у малышей виднелись только глазенки, искрящиеся любопытством и радостью.

Крестные матери и отцы пробовали сладкую кутью, а потом наделяли своих крестниц и крестников конфетами, пряниками, деньгами.

Македоны сидели одни в хате. Варвара зажгла лампаду и перекрестилась, взглянув на иконы, освещенные мерцающим огоньком. Вспомнив, что нет праздничной скатерти, она вынула из сундука старенькую, но чистую плахту, покрыла ею стол, поставила бумажные цветы, куп-

ленные у монашек «Тихвинской пустыни». Подошла к окну.

— Сколько детишек-то! И пешком, и на саночках. Посмотри, Андрей, какая малютка! Чья же это?

— Если нам никто не принесет, я выйду на дорогу, встречу такую крошку и отыму у нее «вечерю», — пошутил Македон. Он очень любил детей. Никогда ни в чем им не отказывал. Летом многим из них мастерил бумажных змеев, делал разные колесики для тележек, обручи. А однажды почти два дня провозился над крыльями маленькой мельницы.

— Глянь-ка, Андрей, не к нам ли идут.

На улице показалась гурьба мальчиков с пятиконечной звездой из красной бумаги, в середине освещенной свечкой. На звездочке выделялись блестящие серп и молот. Это была смелая затея, мальчикам угрожала опасность.

— Кажется, к нам...

— Пусть заходят, встретим храбрецов как полагается. Молодцы, мальчуганы! — похвалил столяр, глядя, как приближается к его хате красная звездочка.

Нес звезду Володя Метелик. Он теперь жил один, без отца. По вечерам в Володину хату собирались его сверстники и разучивали революционные песни по книжке, купленной где-то отцом. Сегодня впервые они поют по хатам не молитвы, не псалмы, а новые песни. Мальчуганы хорошо знали, в какой двор можно заходить, а какой надо далеко обойти, чтоб не накликать беды.

Но беда пришла раньше, чем они предполагали. Неожиданно их встретил на дороге Лукьян Бессалый и остановился, пораженный. Может, он и не обратил бы внимания на звезду — пятиконечная она или шестиконечная, — если б на красной светящейся бумаге не выделялись серп и молот.

Это изумило Лукьяна.

— А ну, поди сюда, мальчик, дай-ка я посмотрю, что тут разрисовано.

Почувствовав опасность, Володька отошел подальше. Лукьян рассердился.

— Ты что ж это, не слушаться старших? Да я тебя, сукина сына... — И, подняв палку, он шагнул к Володьке.

Но в эту минуту на Лукьяна со всех сторон полетели снежки. Несколько удачно брошенных комков попали ему в лицо. Напрасно Лукьян закрывался рукой, грозил

палкой, злобно ругался — в конце концов он вынужден был отступить.

Довольные своей победой мальчики, оживленно и громко разговаривая, двинулись дальше.

— Поворачивай к Македону.

— А дома ли он?

— Где ж ему быть? Пошли.

— Только помните, ребята: здесь мы споем все, что разучили. И будем петь во весь голос, — предупреждал товарищей несший звезду Володька, на котором были отцовский пиджак и солдатские сапоги. Из-под шапки светились весельем озорные глаза. — Начнем с «Варшавянки», потом «Вы жертвою пали», а потом «Байкал» и «Дубинушку».

— А «Смело, товарищи, в ногу»? — отозвался самый маленький, но бойкий мальчуган.

— Эту тоже споем. Все, что разучили. Ясно?

Они уже повернули было на расчищенную дорожку, ведшую ко двору Македона, как вдруг неожиданно раздался окрик:

— Стойте!

Обернувшись, они увидели Александра Бессалого. От страха ребята оцепенели. Откуда он здесь взялся? Как они не заметили его раньше? Александр — не Лукьян. Мальчуганы поняли это и, вероятно поэтому, тесным кольцом окружили звездоносца, заслоняя его собой.

— Это кто сделал? Почему ходите по улице с такой звездой? Ну-ка, подойди ко мне.

Володя не двигался.

— Я кому сказал? — в голосе Александра послышалось раздражение. — Подойди сюда.

— Дяденька Александр, чего вы хотите? Мы Христа славим. Ей-богу, Христа славим, — попытался обмануть Бессалого какой-то мальчик. Но Александр, не обращая на него внимания, решительно направился к Володе Метелику.

— Разойдись! — скомандовал он, будто перед ним были не дети, а послушные гайдамаки.

Ребята теснее сгрудились вокруг Володи.

Это взбесило Александра. Разъяренный, схватил он первого попавшегося подростка, легко поднял его на воздух и бросил в снежный сугроб.

— Давай звезду! Давай сюда, чертенок!

— Не дам! — смело сказал Володя. — Не дам! Пусть лучше сгорит, чем вам достанется!

И звезда, которую он мастерил с таким старанием и любовью, вспыхнула от восковой свечки ярким пламенем. Мальчики, как по команде, метнулись к сугробам, и целый град снежков полетел в лицо офицера.

А пострадавший мальчуган, выбравшись наконец из глубокого снега, подбежал к звездоносцу, выхватил из его рук древко и с яростью дикого звереныша бросился на обидчика.

— Вот тебе! — крикнул он и со всего размаху ударил офицера по спине.

Александр оторопел от удивленья и неожиданности. Овладев собою, он выхватил из кобуры наган и, наверно, застрелил бы смельчака, если б тот не юркнул в соседний двор, как мышонок.

На снегу темнел пепел от сожженной пятиконечной звезды.

Через несколько минут мальчики собрались опять, возбужденные, но гордые тем, что вступили в бой с самим гайдамацким хорунжим. Они оживленно спорили между собой о том, стрелял бы в них Александр или нет.

— Ясно, что стрелял бы, — уверенно сказал Володя Метелик. — Васе первому всадил бы пулю... Как это ты отважился трахнуть его?

— Не знаю... очень разозлился.

— Смотрите, что я нашел! — закричал резвый малыш, подняв со снега обгорелый кусок серпа.

Про Александра Бессалого скоро забыли. Ребят беспокоил вопрос: «Как теперь быть? Зайти к Македону без звезды или расходиться по домам?»

Их сомнения рассеял сам столяр.

— Что ж вы, ребята, остановились? Почему не заходите?

— Не с чем заходить... Такая звезда была... и сгорела...

— Я все видел, — сказал Македон. — Ничего, ребята, не огорчайтесь, что-нибудь придумаем.

— Гайдамацкая морда! Я ему это припомню! — Володя Метелик погрозил кулачком. — А все-таки я не отдал ему звезды. Он приказывает «Давай!» А я думаю: «Нет, руки коротки! Сами мастерили, не позволим, чтоб твои

поганые руки прикасались к нашей звезде». Спалил ее, а ему — во! — и Володя показал кукиш.

— Как же мы теперь... без звезды?

— Ходили бы вечерами сегодня и завтра по хатам, а теперь не с чем...

— Не горюйте, ребята, я вам помогу, — успокоил ребят Македон.

Ребята обрадовались и, окружив старого столяра, стали допытываться:

— А как же вы нам поможете, дедусь?

— Неужели новую?..

— Сделаю... Утром будет готова.

Мальчики не знали, как и благодарить деда.

— А красная бумага у вас найдется? Может, принести? У меня есть два листочка. Я живо слетаю.

— Двух листов мало. Больше надо.

— А у меня дома тесто есть. Мама вчера хлеб пекла, так немного осталось. Тестом хорошо будет бумагу наклеивать.

— А я выстрогаю новое кленовое древко.

— А я гвоздиков принесу. У меня есть маленькие гвоздики.

— Вот видите, — усмехнулся Македон, слушая ребят. — Сообща и смастерим звезду. Только не бумажную, а из настоящего кумача. У моей старухи найдется кусок, я попрошу ее. Для такого важного дела даст.

Детской радости не было конца. Условились, что завтра к вечеру звезда будет готова и ребята соберутся все как один; а в будущем они обещали быть осторожными. Больше не будут ходить целой гурьбой, как сегодня. Выставят на улице дозоры, вооружатся палками, чтобы в случае нападения отбивать атаку.

— Ну как, ребята, договорились? — еще раз спросил Македон, провожая мальчуганов.

— Мы завтра к вам придем, дедусь, — обещал Володька. — Все песни пропоем. Мы много песен разучили.

— Не простые песни, а революционные.

— Ладно, мы со старухой послушаем вас, — улыбнулся старый столяр.

Дети разбежались. Македон хотел войти в хату, но заметил на улице какую-то девочку с белым узелком. В узелке, наверно, была увязана кутья. Македон вышел пригласить девочку к себе.

Приглядевшись, он узнал Таню.

Теплое чувство охватило столяра, словно он встретил родную внучку.

Взяв Таню за руку, Андрей Степанович стал расспрашивать: не замерзла ли она, не упала ли по дороге в сугроб, не вылилась ли у нее кутья?

— Нет... я крепко ее держу.

— Ну, тогда идем. Бабуся обрадуется.

Македон открыл дверь, пропуская девочку вперед.

— Смотри, Варвара, какая гостья к нам...

Македониха не сразу узнала Таню: большой платок закрывал почти все лицо девочки, видны были только глазенки.

— Моя мама послала вам, бабуся, и вам, дедусь, вечерю, — промолвила Таня, остановившись у порога, и, подойдя к столу, поставила свой узелок на чистую плахту.

— Вот родненькая! Вот умница! — обнимала девочку Македониха, целуя холодные от мороза щечки. — Давай, я платок с тебя сниму. Вот так. Посиди, а мы с дедусем попробуем твоей вечери.

Македониха развязала узелок, взяла с тарелки ржаной пирожок, а туда положила свой, пшеничный. Потом отведала кутьи с медом. Попробовал кутью и Македон.

— Ах, какая вкусная! — расхваливали оба, а девочка смотрела на них и радостно улыбалась.

— Мама полную ложку меду туда положила.

— А ты, Танюша, почему к нам не приходишь? — спросил Македон, садясь возле девочки. — Забываешь деда с бабуней. Нехорошо!

— Я приходила бы, да мне не в чем. Мама вот свои сапоги дала.

Только теперь заметили Македоны, что Таня была обута в большие сапоги, которые сползли с ее ног, как только она уселась на лавку.

— Надо ей ботиночки купить. Она ведь сиротка, — сказала Македониха.

— Завтра мне обещали заплатить за работу. Получу деньги, куплю тебе, Танюша, ботиночки или сапожки. Что ты хочешь?

— Сапожки.

— Ладно. Тогда будешь к нам приходить?

— Буду.

Македон, обняв ее, нежно погладил русую головку.

— Давай же, Варвара, гостинцы.

— Сейчас.

Македониха вынула из сундука несколько конфет, пряников, раскрашенного золотом коня, дала медяков. Македоны заметили, как радостно засверкали глазки ребенка. Особенно понравился Тане конь.

— Скажи маме, чтоб она завтра вместе с тобой приходила к нам в гости. Мы будем вас ждать. — Македониха положила в миску своей кутьи, налила туда же сладкого взвара, покрыла тарелочкой и опять аккуратно увязала все в серенький чистый платок.

— Пойдем, Таня, я провожу тебя домой, — сказал Македон и вышел.

Македониха села возле печки, в которой тлели последние угольки, покрываясь серым пеплом.

Тишина. Как и раньше, перед образами мерцает огонек лампадки. Сложив руки на коленях, Македониха думает о Якове, и грусть наполняет ее измученную душу. Где-то он теперь? Кто приютил его? Не голодает ли он? Здоров ли? Когда же он хоть весточку о себе подаст?

Стукнула дверь. Македониха вздрогнула. «Как быстро вернулся Андрей, — мелькнула мысль. — Разве он не пошел провожать Таню? Или, может, еще кто-нибудь вечерю несет?»

Македониха поднялась со скамейки и остановилась в ожидании. В хату вошел бородатый человек в полушубке и солдатской шапке, повязанный башлыком.

— Вы, наверно, к Андрею Степанычу? — спросила Македониха, присматриваясь к гостю; ей показалось, что она видит этого человека впервые. — Садитесь, он скоро придет.

— Мама! Не узнали? . . Ну что ж, здравствуйте!

— Яков. . . Сынок! — вскрикнула Македониха, бросившись к нему. Она целовала сына и смотрела на него, словно во сне. А он был тоже взволнован, обнимал мать, гладил ее поседевшую голову, плечи.

— Ну вот. . . проведать решил, как вы тут. . .

— Смотрю на тебя и глазам своим не верю. Если б встретила на улице, не узнала бы. . . А уж по голосу. . . Садись, Яков, садись ближе к печурке. Я сейчас воды нагрею, вымоешься, чистое белье наденешь.

Мать пошла в соседнюю комнатку, где стоял столяр-

ный верстак, принесла стружек, сухих сосновых щепок и развела в печурке огонь.

— Как вы живете? Я слышал, вас тут били кнутами...

— Били... А Пимену Базалию на глазах у всех... пулю... там и помер.

Но ей не хотелось вспоминать тот страшный день, чтоб не омрачать светлое, радостное чувство, переполнявшее ее сейчас.

Яков понял настроение матери и замолчал.

Скрипнула калитка. Боязливо взглянув на окна, мать сказала:

— Ступай в комнату. Я закрою двери. Может, кто чужой.

Вошел Македон. Заметив на лице жены какое-то особенное, радостное выражение, он спросил:

— Ты что, Варвара? Что случилось?

— Вернулся...

— Ну, вернулся... Проводил Таню и вернулся. Чего же тут радоваться?

В этот момент открылась дверь и вошел бородатый мужчина.

— Яков, — тихо произнес отец и почему-то побледнел. — Ты? .. Дома...

Они бросились друг другу в объятья.

— А я не понял... не понял сначала, кто вернулся. Что, старая, а? Не говорил я тебе: «Наш Яков и в воде не утонет, и в огне не сгорит, а весточку о себе подаст». А он, вишь ты, даже сам прибыл... Молодец! Горжусь тобой... Да, горжусь! — И старик смахнул с глаз слезу. — Что же ты, старая, возишься? Подавай на стол студень, ставь самогон, все подавай, гулять будем на радостях.

— Погоди... Гулять успеем, а ты сходи запри калитку, чтоб не явился вдруг какой-нибудь злой человек.

Расположившись возле печурки, сын рассказал о своем побеге из тюрьмы, который организовала подпольная группа большевиков. Были сразу освобождены несколько политических заключенных. За эти месяцы Яков побывал в Москве и в Петрограде.

Отец поинтересовался рабочими: как живут, сколько часов в день работают, есть ли заводские комитеты и как они защищают интересы рабочего класса? А мать расспрашивала о магазинах, о рыночных ценах на пшено, сало, подсолнечное и конопляное масло. Спрашивала,

много ли в магазинах мануфактуры, сколько стоит аршин ситцу в Москве и почем такой же ситец в Петрограде.

Ответы Якова удивили и разочаровали мать.

— Полфунта хлеба на день выдают рабочим. Голодают дети. Но, несмотря на страшный голод и нужду, люди сильны духом. Я видел их, разговаривал с ними. Они верят в лучшие времена, ведь теперь рабочему человеку везде открыта дорога. Если ты бедный, а хочешь стать инженером или врачом — пожалуйста. Советская власть поможет тебе учиться; стране нужны грамотные, знающие люди.

— Ну, а нам помогут они, русские братья, немцев и гайдамаков громить, освобождать Украину? — спросил отец, внимательно выслушав все, что рассказывал сын.

— Помогут, отец. Мы начнем, а они нам помогут.

— И еще скажи мне, сынок, вот что. Ленина ты видел?

— Видел. Я с товарищами был у него в Смольном на приеме. Украина, отец, будет свободной! И это время уже не за горами.

Незаметно подкралась полночь, но о многом еще было не расспрошено, про многое не рассказано.

— Пора спать, — напомнила Варвара. — Яков с дороги устал, ему надо отдохнуть.

Македон не рассказал сыну о тех слухах и легендах, которые создали о нем, Якове, слобожане. Не рассказал ему и о том, как в лесную сторожку приходили парни, бывшие солдаты, как расспрашивали они у Мефодия про партизан. Яков вернулся. Он сумеет организовать людей. Оружие есть. Нужно только кликнуть клич. Но об этом они поговорят завтра.

Яков лег в горнице. Отец вошел в комнату, где стоял столярный верстак, и взял в руки рубанок.

— Ты что, Андрей, работать собираешься? — спросила Македониха. — Ведь завтра большой праздник.

— Ничего, бог простит, — сказал весело муж. — Нужно звезду ребятам смастерить. Где-то я видел у тебя кусок кумача. Найди-ка его.

Понимая, что возражать бесполезно, Македониха молча вынула из сундука кумач и положила его на верстак.

— И охота тебе заниматься пустяками!

— Охота, старушка моя, охота. Я обещал ребятам.

Завтра всей гурьбой явятся к нам песни петь. Да не какие-нибудь, а революционные. Понимаешь! Революционные! Вон что придумали! Как же им, таким соколятам, отказать? Не могу я... Звезда должна быть. Я уж для них постараюсь.

Из-под рубанка на пол упала первая стружка.

41

В первый день рождества к Македонам пришла Олимпиада. На ней было плохонькое пальто и дырявые валенки, голова обмотана черной шалью. Олимпиада опиралась на палку и всем своим видом напоминала нищенку.

— С праздником вас! — сказала гостья, обметая веником снег с валенок. — Такие морозы стоят — дух захватывает. Птицы падают с деревьев замертво.

— Садись, Олимпиада, обедать с нами.

Она сняла пальто и, дрожа всем телом, подошла к столу.

— Э-э-э, да тебе надо согреться, — сказал Македон, наливая три рюмки настоявшейся, ароматной водки.

— Многовато мне, опьянею, а у меня ведь больное сердце...

— Выпей, сколько сможешь, и закуси хорошенько, — посоветовала Македониха, ставя перед гостьей полную тарелку горячей лапши.

— За что же мы выпьем? — спросил Македон.

— Выпьем, Андрей Степаныч, за то, чтоб скорее пришла на гайдамаков погибель! — ответила ему Олимпиада. В потемневших глазах ее вспыхнули гневные огоньки.

Закусывали студнем, колбасой, помидорами. Олимпиада, быстро опьянев, стала плакать, жаловаться на мужа и сына, выгнавших ее из дому. Вчера, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта, Олимпиада прошла в дом. Никто этого не заметил. Меньших детей в комнате не было, а Трофим с Александром о чем-то разговаривали в горнице. Олимпиада ясно слышала, что они часто упоминали имя молодого Македона.

— Вот я и зашла предупредить. Коли ваш Яков придет домой, скажите ему, чтоб был осторожен. Кто-то видел его в слободе, узнал... Теперь гайдамаки будут искать. А попадется к ним в руки опять — убьют... Нельзя этого допустить, чтобы они схватили его... Таким сыном

можно гордиться, это не то что у меня... Все ненавидят Александра, все желают ему смерти... А когда-то я мечтала: вырастет Сашенька, опорой будет мне на старости лет, уважать меня будет... Эх, что там говорить! Якова-то предупредите, пусть побережется, врагов у него много.

— Ну, а муж видел тебя? — полюбопытствовала Македониха.

— Видел. Отворил дверь из горницы, а я стою в осеннем пальтишке, смотрю на него, слова не могу вымолвить... Трофим дал мне кусок хлеба, позволил переночевать, только не в хате, а в хлеву, чтоб сын не видел. Сын... Если б хватило у меня сил, я бы, кажется, собственными руками... Устала так жить. И мысли разные лезут в голову... Может, и лучше бы покончить с собой, чтоб не мучиться... Сил больше нет...

— Что ты, Олимпиада? Бог с тобой... такое говоришь. Придут когда-нибудь наши. Дождемся их, родных, дождемся...

Олимпиада скоро ушла. Македоны были ей благодарны за то, что она предупредила об опасности, угрожавшей их сыну. Эта весть вызвала в них тревогу. А что, если гайдамаки уже поймали Якова?

Македон с нетерпением ждал вечера, чтобы наведаться в сторожку, но в полдень к нему пришел сам лесник.

— Какой случай-то, послушай, — начал он свой рассказ, хитровато прищурившись. — Выхожу это я из куреня, смотрю, а передо мною лисица. Да какая лисица! Хвост пушистый, сама гладкая. Я — к ней, она — от меня. Смотрю на след, и, понимаете, тянется этот след прямехонько к вашим воротам. Лисицу искал, а к своему другу попал. Здравствуйте, дорогие хозяева, с праздником вас, будьте здоровы!

Веселый Мефодий сразу рассеял тревогу Македонов.

— Не умею я про лисицу врать. Вот сваты — те могут. Все у них выходит складно, ладно, с шутками да с прибаутками.

— Хорошо, что пришел, видать, никакой мороз тебе сегодня не страшен.

— Миляга ты, душа моя Андрей Степаныч, друг ты мой верный, да как же можно на рождество рюмку водки

не выпить? А выпил я, знаешь, с кем? Вот и не отгадаешь! Никогда не отгадаешь.

— Скажи...

— А вот и не скажу... С Яковом выпивал! С твоим сыном Яковом Андреичем. Кланяется он вам обоим низехонько и просит еще сказать, чтобы иордань воздвигалась по всем правилам! Чтоб народу к ней сошлось видимо-невидимо. А уж обо всем прочем он сам позаботится.

— Слава тебе, господи, значит, Яков у тебя гостил, — сказала Македониха, глядя на мужа, который почему-то задумался.

— Рискованное это дело. Можно выиграть, а можно и проиграть, — проговорил Македон.

— Что ты, Андрей Степаныч? Как это можно проиграть? Обязательно выиграем. Ежели такое дело сорвется, знаешь, сколько народа пропадет? Они даже детей тогда не пощадят. У нас ребята надежные. Правда, маловато их, но зато будут драться, как львы... не на жизнь, а на смерть. Мы, старики, тоже поможем. Обязательно поможем!

— Тебя послушаешь — так вроде и вправду можно голыми руками жар загребать. У гайдамаков оружие, пулеметы. А у нас что? Руки? Одних рук мало для такого дела. В руках нужно тоже кое-что иметь.

— А это «кое-что» уже есть! Охотничьи ружья, несколько винтовок, сабли, две бомбы, пятнадцать коней. Для начала хватит. Да коли хочешь знать, мы их криком возьмем. Увидишь! Перво-наперво — захватить их штаб. Там много винтовок, гранат, два станковых пулемета. Отобьем штаб — оружием овладеем. Но придется мне, Андрей, пожаловаться на Якова.

— Обидел чем?

— Не позволяет, понимаешь, мне, охотнику... Да я стреляю-то метко... От меня ни заяц, ни волк, ни лисица не убежит. А он заладил нет и нет. «Подготовительную работу, говорит, организуй, а выступать против гайдамаков не разрешаю». А? Как это тебе нравится?

— Может, у него свой план есть?

— В том-то и дело, что есть. Им, видишь ли, сторожка понадобится, коли сорвется наступление. Вот оно как. «Никто не должен знать, говорит, что с нами связь имеешь». А у меня, Андрей Степаныч, у самого руки

чешутся... Я бы из своей берданки промаху не сделал! Уж поверь!

— Присаживайся к столу, выпьем по маленькой.

— Что ты, не могу. У меня еще дел много. В другой раз зайду, а сейчас никак невозможно, даже пригубить нельзя. Ведь я связной. Понимаешь? Имею задание. Вот как... Пойду выполнять боевой приказ.

— Ну, давай ради праздника хоть по одной хлебнем.

— Ни-ни, и капельки в рот не возьму. А иордань ты воздвигай. Мы ее по-своему освятим.

Как ни упрашивал его Македон, Мефодий так и не сел к столу.

— До свиданья! Может, вечером забегу.

— Ну, как говорят, «ни пуха, ни пера». А Якова предупреди: пусть поосторожнее там. Бессаловский сын знает, что Яков в слободе. Они его ищут, да, видно, пока не догадываются, где он прячется.

— И не догадаются! Я каждый день хожу к Софье. Хитра, как бес, умна. Пока что выжидает, не вмешивается ни в какую политику. Расспрашивала меня про Якова: не знаю ли я, мол, его адреса. Но я так ей ответил: «Небось, говорю, и косточки-то его истлели в земле».

— Что ты, Мефодий, такое говоришь? — всплеснула руками Македониха.

— Так это ж я нарочно вру Софье, чтоб следы замести. Да она не верит. «Яков, говорит, жив. Он где-то скрывается. Если бы ты разыскал его, я дала бы тебе денег, много денег, больше, чем обещали за него немцы. Я, говорит, хочу с ним встретиться». Я-то догадываюсь, зачем она хочет с ним встретиться. Прощайте... Пойду я.

Македон вышел проводить друга за ворота и увидел веселую ватагу подростков, направляющихся к его двору.

— Что это вы, ребята, колядовать собрались? — спросил Мефодий. — Ведь рано.

— Мы не колядовать идем. Мы к дедушке Македону.

— Я звезду им обещал, — сказал Македон.

— И, наверно, не сделали? — с тревогой спросил Володя Метелик.

— Как это так не сделал? Если я обещаю...

Дети с радостными криками ворвались в хату.

— Скорей закрывайте двери. Холоду напустите, — улыбаясь, говорила Македониха.

— Ничего, бабуся. Мы надышим, и будет тепло.

— Мы вам песни споем.
— Вы не сердитесь на нас.
— Да я не сержусь. Как же на таких голубков сердиться?
Последним вошел Македон. Когда он вынес из горницы звезду, дети ахнули. Такой красивой они еще никогда не видели. Начались споры, кому быть звездоносцем.
— Ты носил? Скажи — носил вчера? А я еще нет.
— И я нет.
— Я хоть немножечко в комнате ее подержу.
Детские руки тянулись к древку, щупали кумач.
Восторгам и радости не было конца, но споры не прекращались, и Македону пришлось самому вмешаться в это дело.
— Погодите, ребята, не спорьте. Звезда моя, правда? Вот я и хочу, чтобы вы все носили ее по очереди.
— Как это все? Разве можно всем?
— Можно. Сейчас возьмет Ваня — он парень хороший, пусть несет первый, — потом Вася, потом ты, Володя.
— Нет! Коля сначала, а потом Володя, а за ним уж Сергей.
Дети сами распределили между собой очередь. Нашелся у них и огарок вчерашней свечки. Ее зажгли, поставили внутрь звезды.
— А какой серп! Даже зазубринки видны, будто он настоящий.
— И молоток тоже.
— Это бабушка Варвара... Это она помогала мне.
— Спасибо!
— Мы вам за это споем, — сказал Володя, принимая деловито-серьезный вид. — Начнем с «Варшавянки».
Македониха сидела у печурки. Никогда она не думала, что дети могут так хорошо петь. Крылатые слова песни в устах малышей становились особенно волнующими. В кругу детей стоял Андрей Степанович и подпевал им. Когда он фальшивил, Володька Метелик укоризненно смотрел в его сторону, но не отваживался сделать замечание. Володька дирижировал рукой, в которой была зажата отцовская шапка.
Ребята пропели все разученные песни. Варвара

достала из сундука конфеты, пряники, оделила ребят, и они ушли.

— Какие у нас дети бедовые. А жизни у них нет, — сказала Македониха, когда муж, проводив ребят, возвратился в хату. — Как поют! Словно настоящий хор. Молодцы!

— Видишь, сколько радости мы им доставили. Пускай теперь ходят со звездой. Пусть слушают их люди.

В хате еще не высохла вода от растаявшего снега, который занесли дети на сапогах и валенках. Быстро вечерело, и хотя Мефодий успокаивал Македона, говоря, что Якову не угрожает никакая опасность, отец все-таки решил сам наведаться в сторожку и предупредить сына о тайных замыслах и угрозах врагов.

42

На следующий день рано утром церковный староста вместе с попом Виталием выбрали на речке место для предстоящей иордани.

В этот же день столяр Македон приступил к работе.

Несколько человек расчищали снег, рубили лед. Возле ледоколов собралось много детей. Все знали, что Андрей Степанович соорудит ледяную церковь, и любопытство их было так велико, что они не обращали внимания на лютый, пронизывающий мороз — только бы все видеть своими глазами.

Из-под острых топоров брызгами разлетались ледяные кусочки, искрясь на солнце. Канавки становились все глубже. А когда до воды остался лишь тонкий слой льда, ледорубы, сняв кожухи, заработали топорами так быстро, что вода не успела еще наполнить прорубленные канавки, как все было кончено. Тогда оба ледоруба опять надели кожухи, прыгнули на льдину и тяжелыми ломами начали раскалывать ее на части. Потом, зацепив каждую такую часть крюком, вытаскивали ее из воды с помощью двух лошадей; голубоватый, сверкающий под солнцем лед был так красив, что его невольно хотелось потрогать рукой.

Македону помогали два слободских плотника. Они втроем работали с утра до вечера. Сначала поставили ледяные подмостки, потом соорудили колонны и соединили их красивыми арками, увенчанными небольшими крестами. В середине алтаря Македон устроил «престол».

Днем, когда светило солнце, лед играл в его лучах мириадами слепящих искр. Проходя мимо, люди останавливались, изумленно осматривали искусное творение мастера.

— Золотые руки. Какую церковь соорудил! — сказал кто-то.

— Придет время — он палаты будет строить, — подхватил другой. — Только бы народ захватил власть в свои руки да стал хозяйничать по-настоящему. Вот тогда и пригодятся такие мастера, как наш Македон. — И, помолчав минуту, спросил: — Никаких новостей не слышал?

— А что?

— Говорят, будто в лесу появились партизаны.

— Да ну-у?

— И будто командует ими Яков, сын Македона.

— Спросить бы у отца. Он, наверно, знает.

— Не скажет. Про такое не говорят. Поживем — увидим.

За несколько дней иордань была закончена. Перед иорданью поставили ледяную глыбу в человеческий рост, наклеили на нее цветную отпечатанную картину, изображавшую Иоанна Крестителя.

Около ледяной глыбы вырубили крест с широкими просветами, чтобы завтра, проломив в нем тонкую ледяную корку, можно было набрать освященной воды. Около иордани и у креста укрепили зеленые сосны.

Перед водосвятием ринулся сюда народ, но часовой никого близко не подпускал. Ледяные ступеньки и место возле «престола» были посыпаны красножелтым песком, чтобы поп, не дай бог, не поскользнулся.

Ночь перед крещением была самой тревожной в жизни Македона. Вечером его вызвал к себе отец Виталий, поблагодарил за работу, заплатил даже деньги, а потом стал расспрашивать о соседях, которые вот уже несколько дней как исчезли из слободы неизвестно куда. Столяра поразила эта осведомленность попа, и он постарался уклониться от ответа.

— Батюшка, да откуда же мне знать, кто дома, а кого нет? Я человек занятой. Некогда мне к соседям ходить, узнавать, где они бывают, да что делают.

Македон встревожился, решив, что поп Виталий и гайдамаки знают про готовящуюся атаку партизан. Иначе поп не расспрашивал бы, куда исчезают слободские парни

и бывшие солдаты. Македон хотел было пойти в лесную сторожку, но Варвара его не пустила.

— Коли уж поп узнал о соседях, значит, у него есть шпионы. Смотри, выследят они тебя, и сам пропадешь, и Якова погубишь. Сиди лучше дома.

Македон послушался жены, но его попрежнему беспокоила мысль о завтрашнем дне. Ему не сиделось в хате, и, надев кожух, он вышел за ворота.

Улица была еще пустынна. На речке сверкала своими арками и крестами иордань, словно сделанная из чистого хрусталя. Синеватый иней уже покрыл сосновые иголки, а на снегу виднелись резко очерченные, неподвижные тени. Возле иордани прохаживался часовой в теплой одежде, вооруженный винтовкой с трехгранным штыком, покрывшимся густой изморозью.

Македону не хотелось спать. Может быть, завтра вот тут, на этом снегу, возле иордани, прольется кровь партизан? И кто знает, может, первым в этой битве замертво упадет Яков? Да разве один Яков? В случае провала враги не пощадят ни женщин, ни детей, ни стариков.

— Добрый вечер, Андрей!

Македон обернулся и узнал деда Михея. Тот шел с пустым ведром к колодцу.

— Что, дед, сам по воду ходишь? Ты бы Тереня послал.

— Тереня? — переспросил дед и, оглянувшись, тихонько сказал: — Так его дома-то нет, в лес ушел, к Якову. Может, скоро выбьют гайдамаков из слободы. Я вчера молился за всех наших. Пусть Терень идет с ними. А воды я и сам могу принести, дровец нарублю, сварю что-нибудь — и сыт. А его дело молодое. Ему надо за советскую власть воевать.

Дед Михей взглянул на речку.

— И впрямь дело мастера боится! Ишь, какую церковь соорудил.

— Не сооружал бы я этой церкви, дед, если б она не понадобилась нашим сыновьям. Какой-то план у них есть, да, кто знает, удастся ли его выполнить. Все хожу вот, думаю о них... Не спится.

— Я тоже не сплю. О Терене беспокоюсь. Молод еще он, горяч.

Македон пошел с дедом к колодцу, вытащил ведро воды, донес до самого Михеева двора.

— Спасибо тебе, Андрей. Вода будет в хате. Ведь без нее ни чаю согреть, ни кулеша сварить... Спасибо... Теперь уж я и сам донесу.

Его сгорбленная фигура исчезла за калиткой. Пошел домой и Македон. Не поужинав, лег на топчан. Пробил час ночи, второй, третий, а он все еще никак не мог уснуть. Только смежит веки — сразу же начинают мерещиться кошмары. Один из них особенно поразил Македона.

Он увидел всадников, мчавшихся из леса, и понял — это партизаны. Его внимание привлек какой-то опытный наездник, беспощадно погонявший резвого и сильного коня. Приглядевшись, Македон узнал Якова. Яков был почему-то без шапки. Черный чуб его развевался на ветру. Словно буря, мчался Яков, хотя вокруг никого не было видно. Только впереди на белой равнине маячила иордань, украшенная соснами. Но кто это вдруг появился там? Кто прячется за молодой сосной?

Вглядевшись пристально, столяр узнает Александра Бессалого.

«Остановись, сын!.. Остановись!» — кричит Македон, угадав намерения гайдамацкого хорунжего. Он напрягает все силы, хочет бежать, но чувствует, что у него подкашиваются ноги. «Не успею предупредить, не успею». Вот Яков уже приближается к раскидистой сосенке, не замечая направленного на него револьвера.

«Остановись, Яшенька! Остановись!»

В эту минуту раздается выстрел, и Яков падает в снег, обагряя его своей кровью.

— Яков! Сынок! — взволнованно кричит Македон и просыпается.

В комнате тихо. Перед иконами мерцают лампадки. Македон встал, закурил.

— И тебе не спится? — услышал он голос Варвары.

Он хорошо понимал ее состояние, чувствовал ее тревогу и не стал рассказывать свой страшный сон. Зачем лишний раз волновать жену?

Македон молча курил. До рассвета было далеко.

— Что-то будет? Ох, что же будет с ними, родными соколятами? — вздохнула Македониха.

— Ты, старушка, вот что... Ты спи... не думай об этом.

— Я — мать... Разве я могу не думать о Якове?

Думаю, с самого вечера думаю, и думы все нехорошие. Боюсь...

В комнате опять воцарилась тишина. В окне отражался месяц, и оно блестело, разукрашенное морозом. Мурлыкал кот, разлегшись на теплой лежанке.

У Македона тлела папироса. Кинув окурок на пол, он старательно растер его пяткой и опять лег. Но Македониха слышала — Андрей Степанович не спал.

— Либо завтра, либо уж долго придется ждать, — проговорил он, отвечая на какие-то свои мысли.

— Это ты о чем, Андрей? — спросила с тревогой Македониха.

Но муж ничего не ответил, молча лежал с закрытыми глазами.

«Наверно, во сне что-нибудь померещилось», — подумала она и, отвернувшись к стене, заснула.

Пробило пять часов. Месяц светил попрежнему ярко. Откуда-то выскользнула мышь, схватила хлебную корку, но не успела шмыгнуть под сундук, как ее уже догнал кот.

43

Ни Македон, ни Македониха не пошли в церковь. Варвара, по старинному обычаю, достала мел, пометила крестиками всю мебель, окна, двери и даже иконы. Такие же крестики появились на воротах и на калитке.

Македон сидел возле печурки, подкладывал дрова, грел руки. Он встал сегодня рано и курил так много, что от табачного дыма воздух в комнате стал сизым.

Зазвонили к обедне. Сегодня ото всех пяти церквей люди «крестным ходом» пойдут к иордани.

Македон уж несколько раз выходил за ворота. Народу все прибывало. Шли слобожане, подходили крестьяне из соседних сел и хуторов иногда целыми семьями.

Стоял крещенский мороз, и, чтоб хоть немного согреться, люди раскладывали костры прямо на снегу. Маленьких детей приводили в ближние хаты, а там их встречали гостеприимные хозяева. Македониха тоже взяла к себе двух мальчуганов в стареньких пальтишках и поношенных валенках. Мороз больно щипал кончики пальцев, ребятишки едва сдерживали слезы.

Македониха усадила их возле печурки; следя за

ними, она пыталась отвлечься от не дававших покоя черных дум. Но тревога росла с каждым часом. Иногда ей начинало казаться, что слишком долго не возвращается Македон, и, оставив малышей, она уходила искать его.

— Ну чего ты так боишься за меня? Никуда я не денусь. Все будет хорошо, — успокаивал ее муж. — Ты бы лучше еще эту девочку взяла в хату погреться. Видишь, как замерзла. Чья ты, девчурка?

— Стригуновская.

— А где же твой папка?

— У меня нет папки. На войне германцы убили, я с мамой сюда приехала... А мама вон туда пошла, — показала девочка в сторону речки.

Зазвонили сразу во всех пяти церквах. Еще не видно было крестного хода, но в морозном воздухе уже ясно слышалось пение хора.

— Идут... Идут...

Гремели чайники, ведра, бутылки. Все смотрели на противоположную сторону реки. Оттуда должна была появиться процессия. Родители поднимали детей.

— Идут! Смотрите, идут...

На берегу стоял Македон, глядя, как тысячи людей, заполнив небольшую уличку, засаженную вербами, выходили на речной простор. Над головами прихожан покачивались праздничные хоругви, кресты с наброшенными поверх них вышитыми полотенцами. Многие верующие, шедшие следом за священниками и лохматыми дьяконами, несли иконы. Живой поток, все больше разливаясь в ширину, плотным кольцом охватывал иордань. Пел сводный хор. Меж ледяных колонн алтаря мелькали ризы. С кадил струился дымок ладана. Возле сосенок стеной стоял народ, а к иордани все еще съезжались крестьяне с ближних хуторов и сел. Македон внимательным взглядом провожал каждые сани, и всякий раз, когда он видел человека в солдатской форме, у него почему-то замирало сердце.

«Еще один... Этот не слободской... но по всему видно — воин».

Так прошел час, быть может, и больше. Сюда не доносились слова богослужения, но по тому, как бросилась толпа к ледяному кресту, Македон понял, что воду уже освятили.

Над иорданью появились голуби с цветными лентами. Прогремел первый выстрел из охотничьего ружья, и сразу же ему ответили десятки гайдамацких винтовок.

Возле креста началась давка. Гремели ведра и чайники, лопались бутылки. Люди невольно расплескивали воду, и она сразу же замерзала на их одежде. Кто-то из хуторян стал сапогом на освященное место, и густой деготь разошелся по ледяной поверхности радужными кругами, но на это не обратили внимания. Каждый старался поскорее зачерпнуть хоть такой воды. Забыв про святость, люди кричали, ругались, обламывали сосенки, и на деревцах уцелели только те ветки, которые нельзя было достать рукой.

В морозном воздухе над иорданью кружил голубь с красными лентами. Может быть, нарочно кто-то прицелился в него, а может, случайная пуля ударила ему в крыло, только перед глазами тысячи людей упал голубь, обагряя снег кровью.

На речной простор вдруг вырвался испуганный конь с пустыми санками. Его пробовали остановить, но он, дико блестя глазами, мчался по заснеженной реке. Но не это привлекло внимание Македона. До него долетела злобная ругань. Оглянувшись, он увидел у переулка всадника, тащившего за собой деда Михея. На Михее полотняная сорочка и черные заплатанные штаны. Один валенок на ноге, а другой он, видно, потерял. Руки связаны веревкой, конец которой прикреплен к луке седла. Не поспевая за верховым, дед просил:

— Да не спеши же ты, ради Христа... Сил нет... Сжалься над моей старостью. Не гони... Не гони так...

Гайдамак, красный от выпитого самогона и мороза, нарочно пришпорил коня, и дед Михей, споткнувшись, упал. Гайдамак, придержав повод, закричал:

— Вставай, не то я тебя нагайкой подыму!

Михей лежал посреди дороги. Лицо его и одежда были в снегу и в крови.

Едва сдерживая гнев, Македон подошел к всаднику, а тот, пьяный, даже не взглянув на него, спросил:

— Где живет столяр Македон?

— А зачем он тебе?

— Велено и его забрать. Показывай, где его хата!

Михей застонал. Македон подбежал к старику, под-

нял его, но у деда не было сил держаться на ногах, так он ослабел.

— Убей!.. Не мучь... Убей сразу! — кричал старик, плохо понимая, кто стоит перед ним.

Гайдамак слез с коня, подошел к Михею и, не говоря ни слова, со всего размаху ударил его нагайкой по лицу. В ту же секунду сильным ударом столяр Македон сбил гайдамака с ног, отнял саблю, винтовку, патронташ. Все произошло так быстро, что наблюдавшие все это люди словно онемели от неожиданности.

— Ну, пропал теперь Македон, — сказал кто-то.

— Не пропаду.

Гайдамак с искаженным от злобы лицом бросился на столяра, но Македон точным и сильным ударом сабли свалил его. Гайдамак замертво упал в снег. Подбежала Македониха. Взглянув на окровавленную саблю, она так испугалась, что не могла вымолвить ни слова.

— Забери Михея в хату! — крикнул ей на прощанье Андрей Степанович, а сам, вскочив на гайдамацкого коня, помчался навстречу партизанам, уже появившимся в переулке.

Первым летел на гнедом коне Яков, размахивая саблей. Старому Македону невольно вспомнился сон, и как будто что-то оборвалось в груди. Но он отогнал прочь страшные мысли, крепче стиснул рукоятку сабли, готовый сейчас же вступить в бой. Яков, не останавливаясь, крикнул:

— За мной, отец, в атаку!

Старый Македон видел, как человек тридцать конных партизан с криками «ура» ринулись вслед за Яковом. Позади кавалерии бежали пешие бойцы с охотничьими ружьями и винтовками. У большинства в руках были только вилы или даже обыкновенные колья.

— Партизаны! Партизаны! — раздался чей-то резкий крик.

Возле иордани началась дикая паника. Македон и сам не знал, как случилось, что он вместе с партизанами врезался в самую гущу гайдамаков и, не помня себя, рубил саблей направо и налево. Слышался хруст, крики, стоны... Партизаны напали так внезапно, что застигнутые врасплох, перепуганные гайдамаки даже не оказали им сопротивления. Охваченные страхом, они бросились бежать, но партизаны настигали их, и там, где со свистом

опускалась сабля, замертво падал гайдамак. К убитым сразу подбегали невооруженные бойцы, брали оружие, ловили гайдамацких коней и спешили на помощь товарищам.

За несколько минут иордань опустела. Хоругви, иконы, кадила были брошены прямо на снег. Посреди реки лежал убитый конь, тут же валялись трупы гайдамаков. А в церквах все еще по-праздничному звонили во все колокола, ожидая возвращения процессии. Но вот словно кто-то оторвал звонаря Успенской церкви от веревок и веревочек — в последний раз поплыли над слободой праздничные перезвоны и замерли.

Люди в хатах настороженно прислушивались к выстрелам. Застрочил пулемет. Варвара, припав к стеклу, начала отогревать его своим дыханием, стараясь хоть что-нибудь увидеть. Но мороз нарисовал на стекле такие густые узоры, что ничего нельзя было разглядеть, а выйти во двор Македониха не решалась.

На топчане, покрытый одеялом и кожухом, лежал дед Михей. Он прислушивался к выстрелам и молча наблюдал за людьми, прятавшимися в Македоновой хате.

Кто-то прильнул к не замерзшему на стекле местечку, сквозь которое можно было разглядеть часть улицы и мост.

— Бегут... по мосту бегут.

— Кто бежит-то? — спросил дед Михей, пытаясь подняться.

— Люди бегут. А кто — не разобрать. Может, партизаны, а может, слободские парни.

— Упал! Видите? На мосту кто-то упал и не подымается. Неужто убили?

— Терень тоже там... Гайдамаков громит... Он у меня парень боевой. Ты, Варвара, не заметила его? Шапка на нем солдатская и шинель.

Но люди, укрывшиеся в хате Македонов, совсем не знали Тереня, а Македониха хоть и видела всадников-партизан, но они так быстро промчались мимо, что она не разглядела Тереня. Она не сводила глаз с Якова, а когда он повернул к иордани, у нее будто оборвалось сердце. Эта была самая страшная минута в ее жизни. Вскоре рядом с Яковом очутился отец и еще несколько

всадников. Зоркий глаз ее ловил даже короткий блеск их сабель.

Гайдамаки бежали.

Но вот один из них, внезапно остановившись, стал целиться в Андрея Степановича.

«Убьет!» — молнией пронеслось в голове Варвары. И, верно, погиб бы старый Македон, если б не подоспел на помощь Яков. Точно сокол, налетел он сбоку на врага, взмахнул саблей, и слетела с плеч голова вместе с гайдамацкой шапкой...

Македониха видела как муж и сын помчались дальше.

Тревожное чувство ни на минуту не покидало ее. Ей чудилось, что Андрей и Яков уже убиты, а небольшой партизанский отряд разбит и, быть может, через минуту в ее хату ворвутся гайдамаки...

На память пришел отец Виталий. Македониха и другие видели, как один партизан сдержал возле ледяной иордани разгоряченного коня, но священник, защищая гайдамака, поднял крест. И остановилась занесенная над серой гайдамацкой шапкой рука с саблей. Остановилась только на секунду, но эта секунда стала роковой для партизана: гайдамак, придя в себя, выстрелил в упор. Ни Яков, ни Андрей Степанович, ни прочие верховые в суете не заметили ничего.

Македониха смотрела на иконы, но молиться не могла. Так и стоял перед глазами поп Виталий с крестом в руке. «Кто он, этот партизан, убитый гайдамацкой пулей? Пойти бы взглянуть на него». Но за окнами усиливалась стрельба.

— Это «максим» вступил в бой, — уверенно сказал дед Михей.

— А кто такой Максим? — спросили женщины. — Откуда он прибыл? Что за человек?

— Да не человек... Пулемет так называется. Мне про него Терень много рассказывал. Ежели этот «максим» в гайдамацких руках — нашим ребятам придется туго.

Раздался сильный взрыв, все взглянули на деда: а это, мол, что такое?

— Бомбу бросили либо гранату.

Пулемет затих.

Хотя вокруг еще раздавались винтовочные выстрелы,

они уже не вызывали такого страха, как раньше, и хуторяне, спрятавшиеся во время боя в Македоновой хате, стали собираться в дорогу.

— Пора домой. В нашем селе спокойнее. Спасибо вам, хозяюшка, за приют.

Хата опустела. Македониха тоже вышла на улицу.

Боязливо оглядываясь, она направилась к реке. Обойдя убитых гайдамаков, приблизилась к партизану. Лохматая шапка сползла ему на лоб, закрыв почти половину лица. Македониха осторожно подняла ее и ужаснулась. Это был Глеб Калмыков.

Овладев столярным ремеслом, он уехал в соседнее село и остался там жить. Яков установил с ним связь, и Глеб не только пришел сам, но и привел с собой в партизанский отряд несколько человек, вооруженных винтовками.

А теперь он лежит на снегу, откинув правую руку с саблей. Сабля уже покрылась инеем, окоченевшие пальцы побелели, и кажется — стоит только прикоснуться к ним, как они отломятся, будто ледяные сосульки.

Перекрестившись, Македониха тихо пошла прочь. В проруби, где всегда брали воду, уже блестел лед, сковавший уроненное кем-то впопыхах ведро, две бутылки и крышку от жестяного чайника.

Македониха вернулась домой.

— Ну, как? Где партизаны? — спросил Михей, глядя на хозяйку. — Теперь уж не глумиться над нами гайдамакам. — Он, кряхтя, встал с постели. — Отдохнул я немного, согрелся, пора и домой собираться.

Но Македониха и слышать не хотела об этом, ей почему-то страшно было оставаться одной.

— Зачем вам уходить? Разве у нас плохо? Я вас обедом угощу, рюмочку поднесу, чтоб подкрепиться. Да и ногу полечить надо. Дома-то кому приглядывать за вами? Оставайтесь, поживите у нас, — говорила она, глядя через незамерзший кружок в стекле на мост: не возвращаются ли партизаны.

— Да, рюмочку бы не мешало... — проговорил дед Михей.

— Сейчас, сейчас.

Македониха поднесла старику рюмку водки, хорошо накормила. Дед сразу повеселел.

— Золотая у тебя душа, Варвара! Ей-богу. Приютила меня, старого... А что я для тебя? Сват? Кум? Родственник?

— Сосед хороший... человек хороший... Мы с Андреем вас уважаем.

— Вот окрепну... При советской власти, Варвара, я даже помолодею, верно тебе говорю. Помнишь, когда землю делили, — кто тогда колышки забивал? Я забивал. Вот как! Мы еще себя покажем... Еще поработаем для народа. А как же! — говорил он, все больше хмелея. Когда Македониха подходила к окну, он жадно спрашивал:

— Ну, что на улице?

— Куда-то люди идут... Через мост... Неужели в волость?

— Коли народ пошел, ступай и ты, Варвара. Обо всех новостях разузнай, потом мне расскажешь. А я уж побуду дома. Может, встретишь Тереня, скажи ему — пусть наведается... Жду, мол, его... Иди. Спокойно уходи.

На улицы вышла одна беднота. Богачи засели в своих норах. Ворота наглухо закрыты, двери заперты; каждого, кто проходил мимо окон, они провожали злобным взглядом.

Только Софья не боялась партизан, хорошо зная, кто командует ими. Вот и сейчас стоит она у ворот, ждет, пока приблизится к ней Македониха. Софья первая останавливает ее, ласково заговаривает:

— Я видела сегодня вашего Якова... На коне промчался. Мне бы очень хотелось с ним встретиться. Когда он вернется домой, пожалуйста, скажите ему, пусть зайдет ко мне. Я буду ждать... Очень ждать буду.

Македониха пристально посмотрела ей в глаза, но Софья выдержала этот взгляд.

— Если Яков останется в живых — скажу. Только теперь ему опасно ходить к богачам.

— Почему? — удивилась Софья, и Македониха поняла, что ее слова задели богачку. — Почему? Ведь мы с Яковом старые друзья. Обязательно пусть наведается.

Попрощавшись с Варварой, она исчезла за воротами.

«А что, если Софья замышляет что-нибудь недоброе

против Якова? Мягко стелет, да каково-то спать будет?» — подумала Македониха.

У волости уже кто-то вывесил красный флаг. Мужики стояли группами. Более смелые заглядывали в открытые двери, но заходить никто не решался, боялись: а вдруг гайдамаки устроили засаду.

Народу становилось все больше. Жены и матери партизан с тревогой и страхом осматривали убитых; убедившись, что среди них нет близких, шли в волость, надеясь встретить их там.

Не обошлось без жертв. Вот какая-то женщина склонилась над чернобровым юношей и вдруг, дико вскрикнув, упала на труп. Прошла минута, другая, третья... женщина наконец поднялась и пошла... Она не плакала, но в глазах ее было столько отчаяния, неутешного горя и боли, что они, казалось, ничего не видели перед собой. На плечи сполз платок, женщина не поправила его. Словно безумная, шла она к волости, где собрались слобожане, сама не понимая, зачем идет сюда, что ей тут нужно.

— Муж? — сочувственно спросила у нее одна из женщин.

— Сын, — едва пошевелила она сухими губами. — Сына убили...

Женщины повязали ей голову платком, а она, покорная и равнодушная ко всему на свете, говорила, словно во сне:

— Сына-то я возьму... Похороню... А мне надо увидеть их... партизан... Пусть за его смерть... за мою одинокую старость... пусть они... — И больше не могла вымолвить ни слова. Повернула обратно, опять подошла к убитому сыну. Отчаянный крик пронесся над площадью, будто только сейчас женщина осознала непоправимую утрату. Ноги у нее подкосились, горько рыдая, несчастная мать упала на холодный труп. Несколько женщин подошли к ней, чтоб хоть немного утешить.

Собравшись у волости, люди с нетерпением ждали партизан, а партизаны почему-то не возвращались. Уже опускались над слободой вечерние сумерки, поднималась вьюга, но ни снег, ни ветер, ни лютый мороз — ничто не могло заставить слобожан разойтись по домам. Тут были молодые женщины, которые вглядывались в темноту,

надеясь увидеть своих мужей, тут стояли матери, упорно дожидавшиеся сыновей, а в стороне от них столпились мужчины, курившие крепкий самосад, чтоб скоротать время.

Мужчины говорили не о войне, не о партизанах, из-за которых пришли сюда и вот уж сколько часов ждали их на морозе, — разговор шел про снежную зиму, про наступающие весенние дни. Они по-хозяйски советовались между собой, как поскорее сделать в лесу прочистку и обеспечить бедноту дровами.

— Идут... Слышите конский топот? Наши идут.

— А может, это помощь пришла к гайдамакам? Надо проверить. Ну, бабы, расходитесь, а то, чего доброго, еще пулями да саблями нас встретят.

Но никто не двинулся с места. Желание как можно скорее увидеть близких было сильнее страха. Десятки глаз впились в темную неширокую улицу.

Топот приближался с каждой секундой, и наконец появился всадник. Забыв об опасности, люди побежали навстречу.

Это был Андрей Степанович Македон. Его грудь крест-накрест пересекали две пулеметные ленты, а у пояса висели револьвер и несколько гранат. На груди выделялся неизвестно кем подаренный яркокрасный бант.

Старый Македон ехал первым, за ним — Яков и его боевые друзья.

Большинство из них еще утром были пешими, а теперь возвращались хорошо вооруженными кавалеристами. Самые храбрые были увешаны винтовками разных калибров и систем, патронташами, гранатами, и это придавало им очень воинственный, даже грозный вид.

Привезли и отбитый у гайдамаков пулемет. Правил лошадьми Терень.

Как только Андрей Степанович увидел бежавших к нему людей, он остановил коня и снял шапку.

— Здравствуйте, товарищи!

И это дружеское, свободно прозвучавшее слово «товарищи» согрело сердца. Значит, в слободе опять установлена родная, советская власть.

Молодые женщины обнимали мужей, матери целовали сыновей, проливая слезы радости. Какая-то

старушка, вынув кусок кумача, сама повязала его на штык внуку. Только Македониха стояла как вкопанная, не спуская с Якова тревожного взгляда.

— Что с тобой? Ты ранен?

— Нет, мама.

— А почему же лоб перевязан и на бинте кровь?

— Это пустяки. Гайдамак слегка зацепил саблей. Видели, мама, какие трофеи мы у них отбили? И оружие, и патроны, и коней! Да мы теперь добрую сотню хороших ребят вооружим! А отец наш дрался сегодня, как настоящий кавалерист. Коня себе достал, оружие. Одним словом — рубака!

— А что же, щадить их будем? — сказал, усмехаясь, столяр. — Гайдамацкая сволочь! Рубить их надо, как чертополох. Сначала-то у меня плохонький конь был, а когда его в бою убили, я себе другого достал. Не конь — вихрь. Ну, сынок, подавай команду своим орлам, двинемся дальше.

Но не успел Яков подать команду, как из соседней улицы появилась гурьба детей. Дети пели «Смело, товарищи, в ногу», направляясь, очевидно, к волости. Впереди шел Володька Метелик, держа в руках пятиконечную звезду, освещенную огарком восковой свечки.

Ни мороз, ни вьюга не остановили ребят, одетых в плохонькую одежду. Они тоже пришли встречать партизан.

На лицах взрослых расцвели улыбки.

Остановившись перед вооруженными верховыми, Володька громко крикнул:

— Слава отважным партизанам! Слава красным воинам! Да здравствует советская власть! Ура!

И десятки нестройных детских голосов подхватили клич своего вожака.

— Деточки вы наши, голубки родные, — обняла какая-то молодая женщина первого попавшегося мальчугана, целуя его, как сына. — Вот молодцы! Кто же из вас это придумал?

— Володька придумал, а мы все за ним.

— Чей же это?

— Как чей? — удивился подросток. — Метеликов. Сейчас вон с дедушкой разговаривает.

— А где же отец? — спросил звездоносец, внимательно и тревожно глядя в лицо столяра.

— Он получил особое задание. Не волнуйся, все будет хорошо... Скоро вернется.

— Вернется? — Володька сразу повеселел.

А дети, окружив плотным кольцом Андрея Степановича, наперебой рассказывали ему о впечатлениях такого необыкновенного дня.

— У меня два патрона и граната.

— А у меня винтовка с настоящим затвором.

— А я нашел гайдамацкую саблю.

— Мы всё оружие сдадим партизанам.

Старый Македон слушал детей, хвалил их за то, что они помогают партизанам.

Заметив одного лавочника, который тоже пришел посмотреть на партизан, он приказал ему открыть лавку и продавать лакомства. Потом Македон раздавал детям пряники, конфеты, маковки. Старшие оттесняли малышей: малыши обижались, даже плакали.

— Ко мне, детвора! — крикнул Яков и дал каждому по нескольку конфет и по прянику.

Андрей Степанович разыскивал среди детей Таню. Но ее почему-то здесь не было.

— Дедусь, мы пойдем первыми, — сказал Володька.

— Почему первыми?

— Ведь звезда-то у нас? Значит, мы и должны быть впереди.

— Ага... Ну, раз такое дело, тогда, конечно, идите впереди, а мы уж за вами, — согласился Македон, пряча в усах ласковую улыбку. — Только чтоб с песнями.

— А как же, — даже обиделся Володька, не поняв шутки Македона, — обязательно с песнями.

В хор детских голосов тотчас вступили звонкие тенора и густые басы партизан. Далеко по слободским улицам летела крылатая походная песня, радуя бедноту, пугая богачей:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

Эту песню услышал дед Михей и, подойдя к окну, всмотрелся в темную ночь, где среди разыгравшейся

вьюги багряной калиной горела пятиконечная движущаяся вперед звезда.

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой,
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой.

Мимо окна проехал какой-то верховой, держа за поводья двух оседланных коней. Это был Константин Метелик. Он возвращался с особого задания, но дед Михей его не узнал. Дед не отрывал глаз от звезды, слушая песню, звучавшую особенно призывно и вдохновенно в эту незабываемую морозную ночь. А когда звуки замерли вдали, дед Михей встал перед иконами, горячо перекрестился и сказал вслух:

— Значит, победили... Ну, слава богу!

44

Ночь.

Неистовствует метель. Слышно, как шумят деревья, как завывает ветер, наметая на оконные рамы снежные косяки. Македониха сожгла в печурке большой мешок дубовых листьев, заготовленных еще осенью, крепко закрыла заслонку и, усевшись у горячей лежанки, продолжала вязать рукавицы.

На белом фоне стекол, разрисованных морозом, качались голые ветви акаций. Иногда они хлестали по рамам, и Македониха поднимала голову, прислушиваясь.

— Кажется, кто-то стучит.

Она выходила из хаты к воротам и, открыв калитку, смотрела вдоль улицы, но вокруг было темно и пустынно. Слышались только свист и завывание вьюги.

Македониха спешила назад в хату, опять принималась за работу, время от времени поглядывая на ходики, висевшие на стене.

В душе росла тревога. Второй час ночи, а ни сын, ни муж не возвращались.

Македониха уже дважды разогревала для них ужин, но их все нет и нет.

«Дел у них много, потому, наверно, и сидят так поздно», — успокаивала она себя, отгоняя тревожные мысли.

Монотонно тикал маятник. Где-то под сундуком шур-

шала мышь, а за окнами, казалось, еще сильнее бушевала метелица. Македониха не знала, что сейчас, в такую метель, во всех концах слободы стоят партизанские посты. Зоркие глаза следят за полем, откуда налетает ветер, срывает поземку и гонит ее по безбрежной равнине, кружит на ветру, слепя глаза дозорным. Но еще напряженней, еще внимательней вглядываются они во тьму, готовые каждую минуту отбить атаку, если враг под покровом ночи задумает напасть на слободу, занятую партизанами.

Никто не пройдет и не проедет незамеченным мимо дозорных. Пусть воет ветер и неистовствует метель — не оставят бойцы своих постов. Не сомкнет их усталых век желанный сон. Ведь оберегают они в эту ночь покой родных семей.

Каганцы горели только в тех хатах, где матери или жены партизан ждали возвращения домой своих близких.

Да еще светились три окна в здании волости.

Возле горячей печки сидели партизаны. Среди них был и столяр Македон. Он уже несколько раз подходил к окну, открывал форточку, смотрел на улицу.

— Задержался Яков. Оно и понятно — надо проверить посты.

— А на улице метет. Сколько живу на свете, такой вьюги не помню. Веришь ли, держу винтовку в руках и не вижу ее, — рассказывал дозорный, явно преувеличивая.

Он был худощавый и такой высокий, что шинель доходила ему только до колен. Дозорный грел у открытой дверцы печурки свои жилистые руки, сушил валенки, от которых шел теплый пар.

— Сменил меня товарищ, а я сюда. Благодать какая! — говорил он, щурясь от удовольствия. — Закурить бы махорочки.

Махорка нашлась.

— Вот приходим мы к Лякину... — продолжал свой рассказ партизан в заплатанной свитке, подпоясанный ремнем, на котором висели боевые трофеи: три гранаты, кинжал и старинный пистолет неизвестной системы. На лоб надвинута лохматая шапка. Глаз не видно. Тусклый свет керосиновой лампы падает только на его бороду, слегка посеребренную сединой. — Приходим мы, значит, в аптеку, стучим. Никто не открывает. Мы сильней

нажимаем. Слышим голос служанки: «Кто тут? Чего надо? Аптекарь уже лег спать. Если насчет лекарств — приходите завтра». — «Какие там лекарства? Мы к нему по другому делу пришли. Отворяй!» — «Не могу, говорит, приказано никого не впускать». Мы пригрозили ей. Дверь все-таки открыла, а сама дрожит, как осиновый лист. Взял я ее за плечо, спрашиваю: «Хорошая моя, да знаешь ли ты, кто мы такие? Мы, говорю, партизаны из отряда Македона, ты нас не бойся. У нас такой приказ, понимаешь, чтобы твоего хозяина привести в волость». А она стоит, как очумелая, только смотрит на нас... Совсем растерялась девка. Ну, мы ее не тронули, а сами идем в спальню. Смотрим, аптекарь лежит в постели. Как увидел нас, сразу руку под подушку. Ну, мы тоже не лыком шиты. Я ему пригрозил: «Убью! Только пошевельнешься — убью». Испугался он. Оружие я у него отобрал — вот оно, — показал партизан на старинный пистолет, — при себе ношу. А глупая девушка, служанка, в слезы... Упала передо мной на колени, плачет, просит: «Я не виновата, он мне так приказал, чтоб никого не пускать в аптеку... Помилуйте!» Такая дурочка! Партизан испугалась, словно мы бандиты какие... Глупая, одно слово, — закончил он, подкладывая в печку еще одно дубовое полено.

— А вот я застукал отца Виталия на горячем деле... — послышался из дальнего угла сиплый, простуженный бас.

Все взглянули на мужчину в солдатской шапке и в женском платке, повязанном поверх нее. Старый кожушок на нем был подпоясан веревкой, стоптанные сапоги обернуты мешковиной и тоже старательно перевязаны бечевкой. Живые глаза возбужденно блестели, а крючковатый нос и подвижная голова на тонкой шее с большим кадыком делала его похожим на хищную птицу, зорко следящую за всем, что происходит вокруг.

— Батюшка, видать, хотел спрятать ценности: серебряные чаши, золотые ложечки, деньги, а я его у алтаря и накрыл. Он мне крест тычет: «Побойся бога, нечестивый, целуй распятие», — а сам, вижу, под рясу руку сует.

— У них оружие есть. Буржуям и попам никогда не доверяй. Слышал, как он Глеба Калмыкова обманул? Тоже крест поднял, защитил гайдамака, а тот Глебу пулю всадил.

— Ну, я с попом быстро справился. Оружие отнял и, верите ли, душа моя не выдержала, дал ему несколько раз по шее. Хотя это и не положено ему по сану, но уж очень он меня разозлил. Подумать только: зазевайся я хоть на минутку, и он убил бы меня. Верно говорю — убил бы. Это точно... А махорочка ничего, крепкая.

— Всех их, гадов, переловить надо. Сашку Бессалого тоже поймали.

— Кто его взял?

— Да мне пришлось, — отозвался партизан в солдатской форме. Голос его звучал так спокойно, как будто он собирался рассказывать о самом обыкновенном случае из своей жизни. Он сидел перед чугунными дверцами печурки, докуривая чей-то «бычок», который уже обжигал ему губы, но, несмотря на это, он не выбрасывал его, наслаждался дымком. Гайдамаки увели у него со двора последнюю корову, пятерых детей лишили молока. Одним из первых пришел он в партизанский отряд и в бою рубил врагов с такой же деловитостью, как выполнял любую работу по хозяйству. — Пошли мы к нему втроем. На всякий случай проверили оружие. Известно ведь — стреляная птица, фронтовик. Его надо брать умеючи. Зашли мы в дом. «Есть, спрашиваем, такой-то?» — «Нету». — «Как нету? А где же он?» — «Не знаем». Обыскали все комнаты — действительно нету. Вышли на улицу, встретили соседа. То да се, разговорились. Узнал он, в чем дело, помог нам. Да и не удивительно: богач или другой какой паразит — он всегда у бедных на примете, и никуда ему от них не спрятаться. У бедняков глаза всегда зорче, понятное дело. Одним словом, проводил нас сосед к Софье.

— Ишь ты, помогла, значит, родственница. И как же вы его там нашли?

— Найти-то мы его нашли. А взять сразу не можем: отстреливаться вздумал. Двух моих товарищей ранил. Я уж сам поймал его. Улучил момент, когда он все патроны расстрелял, а снова зарядить наган еще не успел. Думал было там же его и прикончить, да вспомнил приказ Якова: «Поймать и доставить живым». Вот я и выполнил, значит, наказ командира.

Солдат замолчал. Трещали в печурке дрова. По краям поленьев выступала горячая пена. За окном шумели деревья.

Вошел человек в солдатской шинели. Голова его была так обмотана башлыком, что виднелись одни глаза. Но все сразу узнали Якова Македона. Он вернулся с проверки постов: в такую метель проехал по безлюдным улицам с одного конца слободы на другой, и везде его останавливали предупреждающие окрики часовых. Проезжая мимо двора Софьи Изаровой, Яков заметил высокую фигуру, быстро шмыгнувшую за ворота. Он без труда узнал Трофима Ивановича, хоть и не остановил его. Бродить под Софьиными окнами стало для Трофима Бессалого привычкой; вьюга ли на дворе, дождь или тихая, ясная погода — всегда в вечерний час блуждает он здесь, как лунатик.

— Ну, как вы? Никто не беспокоил? — спросил Яков, снимая заснеженный башлык.

— В такую непогодь и бездомной собаки не встретишь. Садись, Яков, к печке, погрейся маленько.

— Разве что маленько, — протянул Яков к печурке красные от мороза руки.

А через несколько минут за столом, покрытым кумачовым полотнищем, заседал первый в слободе ревтрибунал. Люди в солдатских шинелях, кожухах, свитках, в рваных валенках и стоптанных сапогах, измученные беспросветной нуждой, изнуренные голодом, теперь были судьями. Они вынесут заслуженный приговор тем, кто пытался свергнуть первую в мире власть рабочих и крестьян. Сегодня партизанское слово будет решительным и справедливым.

— Ведут, — сказал Метелик, прислушиваясь к топоту ног на деревянных ступеньках.

Все повернулись к двери. Первым ввели отца Виталия. Боязливо оглядываясь, поп широко перекрестился. Следом за ним так же робко вошел аптекарь Лякин, дрожащей рукой поправляя на носу пенсне. Третьим переступил порог Александр Бессалый. Прищурив глаза, он молча всматривался в сидящих за столом людей.

Двое арестованных устроились на дубовой, почерневшей от времени скамье, но аптекарь Лякин не хотел садиться рядом с ними. Близорукими глазами он с любопытством, удивлением и нескрываемым страхом оглядывал партизан. Он инстинктивно чувствовал в их спокойных, суровых лицах уверенность в своей правоте. Он боялся этих людей, стремясь любой ценой избежать суда.

— Я, видите ли, не понимаю, что все это значит. Вы собираетесь меня судить? Я, видите ли, аптекарь. Я далек от политики. Мое дело приготовлять лекарства, заботиться о здоровье людей. И вдруг ко мне в дом среди ночи врываются какие-то неизвестные, забирают меня, сажают, как разбойника, как бандита, под арест. Я спрашиваю: кто дал вам право столько часов держать меня в этакой конуре, где одни голые стены, да еще в собачий холод? Я, видите ли, буду жаловаться. Это безобразие, разбой... Я протестую!

— Успокойтесь, обвиняемый! — оборвал его Яков Македон, и по тону, которым было сказано это слово «обвиняемый», аптекарь понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, и его протесты ни к чему не приведут.

— Нам хорошо известно, — продолжал Яков, — чем занимаетесь вы в своей аптеке. Какой отравой вы погубили разведчика? Отвечайте!

Этот вопрос, как гром среди ясного неба, поразил Лякина.

— Кто может подтвердить, что я отравил его? Где, видите ли, доказательства? Где свидетели? Да, я помню. Перед тем как в слободу вступили немцы, ко мне действительно зашел какой-то боец, то есть, не сам зашел, а его привели Мефодий и мать Александра Трофимовича. Я, видите ли, припоминаю, что действительно перевязал рану. Красный разведчик поехал в хорошем настроении, совсем здоровый.

— А нам известно другое: красноармейцу произвели вскрытие и установили, что он был отравлен стрихнином.

— Пусть объяснит, зачем он прятал под подушкой оружие.

— Я, видите ли, спал, а время сейчас, сами знаете, какое. Мне показалось, что ко мне в дом ворвались бандиты. Я для самозащиты имел пистолет. У меня, видите ли, аптека. Меня могут ограбить. Да-с!

— Нам известно также, что вы вместе с попом Виталием выдавали немцам и гайдамакам родственников советских депутатов.

— Ничего подобного. Это, видите ли, ложь. Явная ложь. Вот он, отец Виталий, действительно приходил на гайдамацкие собрания, и, я знаю, на Крещенье было намечено забрать родственников партизан.

— А откуда вам об этом известно?

— Мне? Откуда мне известно? А мне, видите ли, отец Виталий рассказывал.

— Что вы, Лякин, с ума сошли? Я ничего не знаю! Святой крест! — И, набожно перекрестившись, поп смиренно продолжал: — Я служитель церкви, пастор. Мое дело божеское, и то, что я, будучи невиновен, просидел столько ужасных часов под арестом в холодной, я принимаю как кару господню. Но я не сержусь и не ропщу ни на кого. Сын бога вседержителя Иисус Христос учил нас. . .

— Это, батюшка, не церковь, а мы не монашки-мироносицы. Проповедей читать нам не нужно. Отвечайте: сколько платили вам за шпионство?

— Впервые слышу о такой напасти. Вот вам крест святой! . .

— Брали, отец Виталий! Зачем отказываться? Я же сам видел, — сказал Лякин.

Поняв, что дело принимает для него чересчур серьезный оборот, Лякин всеми силами старался выгородить себя, выслужиться перед людьми, сидевшими за столом: ведь они сейчас господа. Он ненавидел и боялся их, но готов был пойти на все, лишь бы только спасти свою жизнь.

— Позвольте, — пытался остановить аптекаря поп, но тот, поправляя пенсне, азартно жестикулировал, тыча длинным пальцем в грудь отца Виталия.

— Нет, отец Виталий, я, видите ли, такой человек, что на темные махинации не пойду. Никакой политики. Никакой другой власти, кроме советской, мне не нужно. Она меня удовлетворяет. Да-с. Я знаю свои штангласы, рецепты, тинктуры, таблетки, порошки — вот моя, видите ли, работа, она на глазах у всех. И мне безразлично, для кого готовить лекарства. Для меня все больные одинаковы. Да-с! А вы, отец Виталий, сами мне говорили, что большевики несут безверье, атеизм. Да, да, атеизм! Вас пугает то, что основы религии расшатываются, что ряды неверующих быстро растут, а вы не заинтересованы в этом. Ваши доходы катастрофически падают. Вы не хотели этого и поэтому шли к ним, к нашим смертельным врагам. Да-с, шли, брали денежки чистоганом. А теперь задумали и меня впутать в ваши, видите ли, темные и грязные дела? Я не мошенник! Я интеллигент! Я своим трудом нажил аптеку. Я прошу вас, товарищи партизаны,

освободите меня. Дома ждет больная жена. У нее, видите ли, мигрень, и я должен оказать ей помощь...

— Подсудимый Лякин, подойдите к столу.

Яков Македон показал ему бумагу, в которой была четко обозначена денежная сумма, а против нее красовалась размашистая подпись — расписка в получении этой суммы.

— А вот еще одна такая расписка, а вот третья.

Пенсне аптекаря упало на пол, разбившись на мелкие кусочки. На лбу и лысине выступил пот.

— Признаете свою подпись?

Лякин не ответил. Он нагнулся, разыскал на полу только оправу, но, не заметив этого, нацепил ее себе на нос.

Александр Бессалый молча следил за своими сообщниками, кусая от злости ногти. Яков Македон называл фамилии людей, замученных и расстрелянных немцами либо гайдамаками, показывал даже захваченный партизанами журнал, в котором значились число, фамилия, имя и отчество убитого, а также имя того, кто помог немецким властям выявить неблагонадежность расстрелянного.

На каждого из подсудимых приходилось до десятка жертв. Дальше отпираться и протестовать было бессмысленно. Но как утопающий хватается за соломинку, так и Лякин все еще пытался выгородить себя, чтоб ускользнуть от суровой расплаты за все совершенные злодеяния.

— Я чувствую себя нездоровым, — заявил он и, схватившись за грудь, начал неестественно кашлять, требуя доктора.

А поп Виталий, вытирая платочком вспотевшее лицо, глянул на судей, усмехнулся и вдруг предложил:

— У меня есть добрая наливка и мед. Закуска тоже найдется. Ведь мы свои люди. Якова я обучал в школе ветхому завету. А тебе, Андрей Степаныч, сам знаешь, всегда давал работу. Недавно вот ты иордань соорудил, я выплатил тебе все до копейки. Никого из вас я не обманывал. А разве не приходил я на исповедь и соборование к твоей хворой матери? — обернулся к партизану в свитке. — Приходил. Исповедал и причастил задаром.

— Так она ж вам, батюшка, всю жизнь полы мыла, а вы ей за это ни копейки не платили.

— А твоего мальчика разве не я принял в школу? — обернулся поп к другому партизану. — Учится теперь. Умный сынок. Вырастет — будет благодарить меня. Я знаю, кому и как помочь. Сколько добра сделал я всем своим прихожанам, и все забыто. Теперь вот вы посадили меня на скамью подсудимых, будто грабителя какого. Но я и за это не обижаюсь. Такое уж смутное время настало. Давайте же забудем о взаимных обидах и несправедливостях и начнем жить, как подобает братьям-христианам. Помиримся. Мы обо всем договоримся. Пойдемте ко мне. Я всех вас приглашаю. Вы, наверно, намерзлись здесь, я тоже, а дома у меня тихо и тепло. И главное — добрая наливка есть и разные настойки.

— Отвести их обоих. А вы, подсудимый Бессалый, останьтесь, — приказал Яков.

— Куда вы нас собираетесь уводить?! Я не хочу... я, видите ли, никуда не хочу идти. Меня дома жена ждет. Да-с! — закричал Лякин.

Начал протестовать и поп Виталий:

— Как же это, православные христиане, товарищи партизаны, я же к вам с добрым словом и чистым сердцем... Я приглашаю. А вы... Неужели снова в холодную конуру?

— Идите, батюшка, идите, куда велено, а то еще придется взять за рясу.

Как только Лякина и попа Виталия увели, Александр резко поднялся на ноги и, едва сдерживая злость, произнес:

— Я имел возможность убедиться, что здесь происходит нечто подобное суду. Если это так, я отказываюсь отвечать на какие-либо вопросы, пока не будут выполнены все необходимые для юридического процесса формальности. Я хочу иметь защитника. Я не вижу судей, не вижу прокурора, адвокатов. Я вообще полагаю, что вы не имеете права...

— Имеем! — сурово сказал Яков Македон. — Это право нам дала пролетарская диктатура, советская власть. Когда ты стрелял в инвалида Пимена Базалия, ты делал это без суда? А какой суд позволил тебе бить кнутом беззащитную девочку возле церковной ограды? Ты это делал, как бандит, как заклятый враг революции.

— Я хорошо помню эти кнуты, — сказал кто-то за столом.

— И меня он бил. Страшно бил меня и всю мою семью! Даже старую мать не пощадил. К вечеру она умерла.

— А у моей жены все добро забрали гайдамаки. Он видел, что грабят, но не сказал своим молодцам ни слова.

Александр смотрел на всех исподлобья. Он ненавидел этих людей, собравшихся здесь, чтобы судить его. Оправдываться он не хотел; знал, что всем хорошо известны его дела. Но старался затянуть суд, надеясь, что, может быть, ему посчастливится убежать из-под ареста — и тогда он жестоко отомстит партизанам.

— Отвечайте, подсудимый: где помещается склад гайдамацкого оружия?

Александр нервно засмеялся.

— Если б я даже и знал это, никогда бы вам не сказал.

— Тем хуже. Оружие лежало в подвале бакалейной лавки. Ваш отец знал об этом или нет?

Александр побледнел. Он молча вынул из портсигара папиросу, поднес ко рту не тем концом и, выплюнув табак, вытер губы носовым платком. Все заметили, как дрожал платок в его руке.

— А может быть, вы нам скажете...

— Ничего я вам больше не скажу. Я хочу знать — какой инстанции имею честь давать объяснения? Я хочу, наконец, знать — кто меня судит?

Яков не спеша поднялся. Все партизаны тоже встали. Наступила тишина. В печурке дотлевали остатки поленьев, а за окнами голыми ветвями шумели тополя и, казалось, еще сильнее бушевала метель. Яков Македон смотрел на него в упор, и Александр Бессалый не выдержал этого взгляда. Каждое слово Якова било, как молот.

— Бывшего офицера царской армии, заядлого контрреволюционера, продавшегося врагам родины, бандита, который поднял руку против советской власти и трудового народа, судит революционный трибунал.

Куда сразу девалась офицерская гордость!

Опустившись на скамью, Александр угрюмо повесил голову. Яков сел, и сели на свои места все партизаны.

Через минуту Александр сорвался со скамьи. Глаза его метали молнии, как у безумного, он весь дрожал — то ли от страха, то ли от злобы, душившей его.

— Я знаю, ты мстишь мне за Артема Черкашина... Но я офицер... Честь офицера не позволяла мне... Я хочу... жить... — И он упал на колени, умоляя о помиловании: — Ведь я не сам... не по своей воле... меня мобилизовали... Я брошу армию и буду торговать с отцом в бакалейной лавке... обещаю... в политику не вмешиваться, только не убивайте.

В эту минуту на ступеньках послышался женский голос, и Александр съежился, словно кто-то занес над ним руку для удара!

— Не пущу! Сейчас не разрешается посторонним. Придешь утром, — объяснял часовой.

— Пусти меня! — настаивал тот же голос. Александр побледнел еще больше. — Пусти... Я к Македону. Мне нужно его видеть. Пусти!

В зал вошла Олимпиада, повязанная черной шалью. Запорошенная снегом, сухонькая, почерневшая, она выглядела намного старше своих лет. Пряди седых волос, выбившись из-под шали, падали ей на щеки. Олимпиада смотрела на сына. Не выдержав ее сурового взгляда, Александр растерянно, с диким страхом, застывшим в глазах, попятился к скамье, сел, и все заметили, как у него задрожали колени.

Партизаны невольно поднялись. Приход Олимпиады для всех был неожиданным. Часовой стоял в дверях, не зная, как быть.

— Я к тебе, Яков... Защити...

Олимпиада подошла к столу, слабой рукой стянула с головы черную шаль, всю в росинках талого снега, и при свете керосиновой лампы партизаны увидели сизо-кровавые пятна под глазом, на лбу и на шее.

— Кто это вас так избил? — спросил Яков Македон, и в ту же минуту раздался полный животного страха и мольбы вопль Александра:

— Мама! Не буду больше... не буду... Прости!..

Он бр[illegible] было к ней, но ее вытянутая вперед рука оста[illegible]ла его.

— Прочь! Убийца... — И, пошатнувшись, она упала на пол, потеряв сознание.

Глубокий, извилистый овраг. Летом он густо зарастал бурьяном и в нем копошилось, шурша, бессчетное множество зеленых и бурых ящериц. На дне оврага никогда не высыхала вода. Кусты колючего терна, разрастаясь с каждым годом, покрывали овраг густым зеленым ковром. Там свивали свои гнезда мелкие пташки. Там осенью слободские дети собирали спелый, вкусный терн.

У этого оврага были расстреляны поп Виталий, аптекарь Лякин и Александр Бессалый. Беднота одобряла приговор трибунала, а богачи осторожно и боязливо высказывали свое недовольство. Но там, где они собирались одни, их возмущению не было границ. Якова они называли убийцей, бандитом. Они его ненавидели и боялись.

За всю ночь Яков ни на минуту не сомкнул глаз, а утром приказал всем слободским богатеям явиться в волостной комитет. Этот приказ очень удивил и взволновал их. Они собирались группами, о чем-то советовались. На лицах богатеев застыли непритворный страх и растерянность.

Некоторые нарочно оделись похуже, чтоб казаться беднее, а кое-кто даже нацепил себе на грудь красный бант. Собирались в том зале, где вчера ночью заседал ревтрибунал. Переговаривались шепотом, все время оглядываясь на дверь. В зале стояло несколько дубовых скамеек, но на них не могли все разместиться. В первую очередь уселись самые богатые. Однако среди них не видно было Софьи Изаровой. Неужели ее не позвали? Кто-то из торговцев с ехидной улыбочкой сказал:

— Это дьявол, а не женщина. Немцы появились — она с ними подружилась. Гайдамацкое начальство у себя дома принимала. Пришли партизаны — и тут у нее своя рука. Яков Македон ведь ее любовником считается.

— Она думала выходить за него замуж, да почему-то раздумала.

— Ох, раздумала ли?

— Вишь ты, как оно складывается! [illegible] прижимает, а сам на Софью с завистью поглядывает лакомый кусок, что и говорить! Богачка.

— С хорошим приданым. Выгодная невеста. И деньги у нее, и лес, и земля,

— Опять все отберут.

— Уж и так немало забрали, — отозвался Трофим Иванович с горечью в голосе.

— А тебе что, жаль сестрина богатства? Ты уж теперь за своим добром смотри.

— Да я и так смотрю, — проговорил Бессалый и замолчал; но разговор о Якове продолжался.

— Если он будет ее мужем, кто же отымет ее добро? Такой молодец все к своим рукам приберет.

— Да не пойдет он к буржуйке. Я знаю старого Македона, а сын еще покрепче отца будет. Оба они гордые и богачей не любят.

— Чудак! Кто же от нее откажется? Софья не только богата, она и собой...

— Тише! Идут...

Вошли Яков Македон, его отец, Кузьма Сукачев, Метелик и еще какой-то нездешний партизан в шинели. Яков сел за стол. Рядом с ним разместились его товарищи. Стало тихо. Яков вынул из кармана исписанный лист бумаги, положил его перед собой, разгладил ладонью измятые края и посмотрел в зал. Не выдержав его взгляда, богачи попытались спрятаться друг за друга, а те, кто нацепили красные банты, наоборот, выдвинулись вперед.

— Все явились?

Несколько человек ответили угодливым тоном:

— Все, Яков Андреевич!

— Не вижу Софьи Изаровой, — сказал Яков и, обратившись к рассыльному, спросил: — Разве ее не уведомили?

— Как так не уведомили? Я сам к ней заходил. Лично передал приказ.

Богачи насторожились. Все ждали, что скажет Яков. Может быть, наложит штраф или пошлет к ней вооруженных партизан? «А что, если правда, будто он целится на ее богатство? Зная об этом, Софья может его послушаться, а может и не послушаться. Ведь она тоже женщина с характером. Как бы тут не нашла коса на камень».

«Приголубила бы его, — думали иные, — прибрала бы к рукам. А коли станет он богат — не будет нас притеснять. Господи, если б Софья сама сообразила, как бы

она всем нам помогла. Нужно с ней поговорить, подсказать».

«Вот не пришла же, — злорадно потешались третьи, ожидая, что из этого выйдет. — Небось не больно-то боится Якова. Да и чего ей бояться, ежели она знает, что он и так придет к ней, а уж наедине-то они договорятся обо всем... Глаза-то у Якова усталые, надо думать, неплохо провел ночку. Эта дьяволица, наверно, ему и вздремнуть не дала».

— Послать партизан! — приказал спокойным голосом Яков. — Привести ее сюда под конвоем!

— Есть! — козырнул рассыльный. — Мы сейчас ее доставим.

Но в эту минуту отворилась дверь, и в зал вошла Софья. На ней каракулевая шуба, фетровые боты, теплый, белый, как снег, пуховый платок. Этот платок Яков помнит с тех пор, как Софья еще девушкой выходила к нему на свиданье. Он очень нравился Якову, и, зная это, Софья намеренно повязалась им сегодня, чтоб напомнить ему о незабвенной, счастливой юности, о своей неугасшей любви.

При первом же взгляде на нее Яков сразу понял этот холодный расчет. Сурово сдвинув брови, он сказал:

— Когда вас вызывают представители власти, вы обязаны являться точно, без опозданий, гражданка Изарова!

Она ничего не ответила. Кто-то из богачей предложил ей свое место.

Сев на скамью, Софья с нескрываемым любопытством начала разглядывать партизан, но особенно внимательно и настороженно следила она за Яковом. Ей сейчас нестерпимо хотелось, чтоб он поскорее провел это неприятное для нее собрание. Тогда можно будет подойти и позвать его к себе в гости. Она готова все простить ему: и эту недружелюбную встречу, и его обидную холодность — лишь бы он согласился прийти к ней хоть на час.

«Ты не пожалеешь, — казалось, говорил ее взгляд. — Ведь я знаю, ты меня любишь, любишь до сих пор. И хотя ты вызвал меня сюда, я это понимаю, иначе тебе нельзя. Ты делаешь это, чтобы отвести глаза людям, но ты мой... Рано или поздно, а ты будешь моим мужем. Никому

тебя не отдам, ни перед кем не отступлюсь. Яков, милый, хоть взгляни на меня!»

Но суровым оставалось лицо Якова Македона. Ни разу больше не посмотрел он в ее сторону — будто ее тут и не было. Это обижало Софью, и ей еще сильнее хотелось увидеться с ним наедине именно сегодня. Яков Македон поднялся из-за стола, и то, о чем он начал говорить, заставило насторожиться богачей.

— Мы ничего не скрываем. Мы скажем вам всю правду. Нам нужны деньги, чтобы обмундировать партизан. У большинства из них нет сапог, нет теплой одежды, нет белья. Нам необходимы также деньги для бедных семей инвалидов, для вдов, для сирот, отцы которых погибли на войне. Нужно много денег, а их у нас нет, оттого мы и решили обложить контрибуцией слободскую буржуазию, к которой вы имеете честь принадлежать. Для этого мы и вызвали вас сюда.

Яков сел. Наступила мертвая тишина. Богачи только пожимали плечами; многие из них смотрели на Софью. Ведь она — самая богатая здесь. Она и должна первая что-нибудь сказать. Но Софья молчала. Неприятное молчание нарушил Яков Македон, вызвав первого по списку торговца.

Вперед робко вышел низенький человечек с таким большим и круглым животом, точно у него под жилеткой был спрятан арбуз. Он беспрестанно угодливо кланялся, блестя лысиной, а его маленькие зрачки, едва видневшиеся в заплывших жиром глазах, растерянно бегали по суровым лицам партизан, напрасно пытаясь вызвать в них жалость и сочувствие к себе. Белая рука, опиравшаяся на серебряный набалдашник палки, заметно дрожала от страха.

— Вы должны внести сегодня три тысячи рублей, — сказал Яков.

Торговец даже крякнул от удивления.

— Три тысячи... — удивленно поднял он тонкие, бесцветные брови. — Где же я возьму? Да у меня в жизни таких денег не было. Какая-то жалкая лавчонка... Так и быть, какую-нибудь сотню-две могу на благо трудящихся и революции пожертвовать, но три тысячи... это такая сумма... Вы, наверно, шутите?

Лицо торговца сразу расплылось в добрейшую улыбку однако загадочное молчание партизан, их суровые взгля

ды быстро убедили его, что с ним никто не собирается шутить. Тогда, приняв страдальческий вид, он обратился к Якову Македону:

— Вы же меня знаете, дорогой Яков Андреевич. Разве я буржуй? Да спросите хоть своего отца...

— Напиши ему три с половиной тысячи, — сказал старый Македон, недружелюбно глядя на торговца. — Он с бедных людей втридорога берет за ситец, сукно и всякую прочую мануфактуру. Заплатит. Ставь ему три тысячи с половиной.

Торговец, не ожидавший такого поворота дела, закашлялся, вытер пухлой рукой вспотевшую лысину и, хлопая глазами, повернулся к богачам, ища сочувствия.

— Что же это получается, господа? Вы слышали? — Но «господа», ожидая такой же участи, лишь кряхтели да сопели, опустив головы. — Ежели нам придется выплачивать такую контрибуцию, я первый завтра же закрываю свою лавку.

— Он мог бы и все четыре заплатить, — прибавил партизан в шинели.

Торговец поспешил согласиться на три тысячи и отошел в сторону.

Вторым вызвали человека лет сорока пяти. Высокий, чернобородый, с ястребиным носом и живыми глазами, глубоко засевшими в орбитах, он смело вышел вперед. Густые брови и горячечный блеск зрачков делали его похожим на разбойника. Он был владельцем рыбных лавок. Не дожидаясь, пока Яков огласит сумму контрибуции, он с готовностью заявил:

— Три тысячи даю через два часа.

— Не спешите, — остановил его Яков, — посмотрим, сколько с вас полагается... А полагается десять тысяч.

— Сколько ты сказал? — сверкнул глазами рыботорговец, притворяясь глуховатым.

Он даже приложил ладонь к уху. Яков повторил громче. Торговец бил себя в грудь, клялся, что у него нет таких денег, что если бы даже он продал все свои лавки, то и тогда не выручил бы такой суммы.

— Значит, вы отказываетесь? — спросил Яков.

— Голубь ты мой, Яков Андреевич, Христом-богом клянусь, святым евангелием... я бы с дорогой душой для своих людей постарался, да у меня же нет столько. Своим здоровьем, здоровьем моих детей клянусь — нету.

— Станьте сюда, — указал Яков налево.

— А зачем же мне туда становиться? — боязливо спросил рыботорговец. — Я не хочу. Я останусь тут, где все.

— Вно́сите десять тысяч? — резко спросил Яков.

Сообразив что-то, рыботорговец сразу согласился:

— Вношу... Вношу... Но это же грабеж! Настоящий грабеж. Разве вы люди? Вы разбойники!

— За оскорбление присутствующих партизан, представителей советской власти, посадить его на трое суток под арест!

Яков назвал фамилию Бессалого, но в зале никто не отозвался.

— Что, нет его? Послать за ним!

Но из дальнего угла вышел Трофим Иванович и приблизился к столу.

— Зачем же посылать? Я все приказы советской власти аккуратно выполняю, но только у вас тут вышла ошибочка. Вы ведь обкладываете контрибуцией богачей...

— А ты бедный? — спросил Кузьма Сукачев. — Слышали мы про твою шкатулку с золотом.

— Вранье! Поклеп! Никакого золота у меня нет и никогда в жизни не было. На улице вон какой мороз, а у меня порядочного пальто нету. Сердце больное, страдаю от одышки. Видите, в чем хожу, товарищи партизаны? — и, расстегнув засаленный кафтан, он показал грязный пиджак. — Даже приличной сорочки не имею. А у меня семья... Жена — потомственная беднячка, а вы с меня контрибуцию вздумали брать. С бедного человека... контрибуцию...

— Это ты вместе со своим сыном выгонял жену из хаты на лютый мороз, ты бил ее, издевался над потомственной беднячкой? — спросил старый Македон, испугав Трофима Ивановича.

— Не я... Вот те крест святой... Не трогал. Бил ее покойный Александр. За что бил — не знаю. Моя жена, как вы знаете, из самой бедной семьи. Она беднячка, и я бедняк. Так что разрешите мне, товарищи партизаны, уйти отсюда. Не желаю с буржуазными богачами соприкасаться. Даже сидеть с ними рядом не желаю.

— Сколько с него по списку значится? — поинтересовался Кузьма Сукачев.

— Две с половиной тысячи.

— С меня? — от изумления раскрыл рот Трофим Иванович. — Две с половиной... Это... ошибка... Дай-ка, Яков, сюда бумажку, я сам хочу посмотреть.

Но бумаги ему не дали, и Трофим Иванович повернулся к богачам:

— Вы слышали? С меня... две с половиной... Две с половиной тысячи! Пожалуйста, граждане буржуазия, в складчину... Сделайте такую милость. Сам я не выдержу... Для народных нужд, для революции... Всего-то по сотне рубликов и придется. Для вас это мелочь, а мне помощь.

Богачи хмуро молчали. Поняв, что никто ему не поможет, Трофим Иванович жалобно обратился к Якову:

— Как тебе не стыдно, Яков, такие деньги с меня требовать? Вычеркни ты мою фамилию, я домой пойду. У меня Олимпиада нездорова, я за ней погляжу; она ведь не какая-нибудь там буржуйка, а из самой что ни на есть бедняцкой семьи. Весь род у них, с деда-прадеда, бедняки! Так-то. Вычеркни... Вот я тебе карандаш дам.

— Ну, довольно дурачком прикидываться! — сурово сказал Яков. — Когда внесете деньги?

— Нет у меня денег... Совсем нет. Что на мне, то и есть. С дорогой душой, с открытым сердцем, с чистой совестью... Рад бы помочь партизанам, поддержать революцию, послужить правому делу, советской власти, да нечем... Жену надо лечить, себя лечить. А где же денег-то взять?

— Арестовать! Произвести в его доме тщательный обыск. Взять контрибуцию.

Трофим Иванович заморгал глазами, хотел что-то сказать, но его уже взял за локоть вооруженный партизан.

— Идем!

— Куда? — испуганно спросил Бессалый.

— Под арест! Не слышал, что ли? Идем!

— Господи милосердный! — начал упрашивать бакалейщик. — Не хочу я под арест. Лучше продам свое добро, внесу контрибуцию, а вы уж уменьшите, сбросьте хоть тысячу.

— Ничего не сбросим. Деньги у тебя есть, заплатишь.

Яков вызвал хозяина скобяных лавок, невзрачного на вид, сухощавого старика с постоянно слезившимися глазами. Вместо дорогого пальто, в котором он ходил всегда, сейчас на нем был старенький крестьянский кожушок

и солдатская шапка. Дрожа всем телом, он, заикаясь, спросил:

— А с ме... ме... меня сколько?

Ему назвали сумму. И он, как и другие богачи, стал прибедняться, просил уменьшить контрибуцию.

Все они торговались, призывали бога в свидетели своей сознательной лжи, клялись крестом и евангелием, что у них никогда не было и нет таких денег. Но потом все давали обещание полностью внести контрибуцию, прекрасно понимая, что сидящие за столом люди в шинелях, пиджаках и кожухах не собираются с ними шутить. Этим людям хорошо известны капиталы каждого богача, их невозможно обмануть.

Слободской буржуазии обидно было сознавать, что их деньги пойдут на укрепление ненавистного партизанского отряда. Это вызывало в них жгучую, но бессильную ярость.

Все богачи ждали, что скажет Софья Изарова, — ее фамилию назвали последней. Но она продолжала сидеть.

— Встаньте! — холодно и сухо приказал ей Яков Македон.

Она неохотно поднялась, но каким гневом сверкнули ее глаза! Это слово, как удар кнута, стегнуло Софью, уязвив ее самолюбие и гордость.

«Так вот как ты со мной обращаешься! Мало того, что вызвал меня сюда, ты еще хочешь унизить, посмеяться... И это ты, Яков?»

Но Яков смотрел на нее, как чужой, не обращая внимания ни на ее переживания, ни на то, что она могла подумать о нем в эту минуту. Софью душила злоба, однако она молча ждала, когда Яков огласит сумму контрибуции. Она готова заплатить десять, пятнадцать тысяч, только бы скорее отпустили ее отсюда, только бы не видеть этих испуганно-растерянных лиц слободских богачей, не чувствовать на себе пытливых взглядов партизан, не слышать холодных слов Якова.

Софья боится его. Да, да, боится.

Вот он приказал ей встать, и она покорно встала, думая, что он нарочно так ведет себя с нею, чтобы унизить ее перед всеми, посильнее оскорбить. Только так поняла она его приказ.

— Гражданка Изарова, в течение суток вы должны

внести контрибуцию... — Яков сделал паузу и, взглянув ей в лицо, закончил: — в сто тысяч рублей.

В зале наступила какая-то особенная тишина. Все с напряженным вниманием ждали, что ответит Софья. Следовало бы поторговаться, но они уже по собственному опыту знали, что все их просьбы напрасны.

Софья подошла ближе к столу и, глядя в лицо Якова блестящими от злобы глазами, сказала:

— Ладно... внесу сто тысяч!

В тот же день Софья внесла всю сумму контрибуции. Набросив на плечи дорогую шаль, она металась из угла в угол, и хотя в комнате было жарко, ее трясла лихорадка. Отдать столько денег! А тут еще новая неприятность: под вечер явилась Марина Сукачева вместе с другими солдатками и вооруженным партизаном просить разрешения использовать Софьину мастерскую.

Пришлось согласиться и на это. Никогда еще не видела Софья, чтоб бывшие солдатки так споро, неутомимо работали дни и ночи. Они шили шинели, кожухи, теплые ватники, гимнастерки, белье для своих мужей и других партизан. Шили на деньги, полученные от контрибуции, которые выплатила Софья и другие богачи. Стук швейных машинок долетал на второй этаж, где в одиночестве, вне себя от бессильной ярости металась вдова.

Софья слышала от людей, что Яков приказал выделить из собранных денег и раздать бедноте десять тысяч рублей, а для вдовы Базалиихи сам купил муки, пшена, дров; сам же отобрал пару валенок и отнес их деду Михею. Последний раз видела Софья Якова, когда он со своим отрядом выезжал из слободы. Точно прирос к седлу. В серой шапке, в кожухе, подпоясанном ремнем, на котором с одной стороны висела сабля, с другой кобура с наганом, он производил впечатление отважного, не знающего страха в бою, бравого воина.

Не видно было среди всадников только столяра Македона. Партизаны оставили его в слободе, чтобы советская власть была в надежных руках, а сами спешно уезжали, прощаясь с семьями, с близкими. Уезжали неизвестно на какое время.

Тяжелый, опасный и светлый путь к свободе лежал перед ними. Смело и самоотверженно ступили они на него, зная, что впереди их ждут кровавые битвы и, может быть, не один из них погибнет смертью храбрых в бою за пра-

вое дело, за дорогую советскую родину. Пока что их только горсточка. Но как струйки воды, сливаясь, образуют весной могучие, полноводные реки, так и они, объединившись с партизанами других сел и округов, вольются в общий поток армий, созданных народом, и вместе с русскими воинами, прибывшими на помощь, пойдут плечом к плечу по родной украинской земле, освобождая сестер и братьев, томящихся под гнетом немецких оккупантов. И сознание этой великой освободительной миссии придавало партизанам еще большую уверенность в успехе, рождало в них небывалую смелость, бесстрашие. Во имя лучшей, свободной жизни и счастья для трудящегося народа шли они на борьбу с врагами родины, с врагами советской власти.

Партизан провожало чуть не все население слободы. Дома оставались только дряхлые старики, старухи, дети и больные. Вышли на улицу и богатеи. Они злобно смотрели на хорошо обмундированных и вооруженных бойцов, зная, что на свою погибель сами одели и обули их. С песнями двинулись в путь партизаны, а следом за ними чуть ли не на километр растянулся живой поток родственников, знакомых и сочувствующих им людей.

— Счастливого пути, родные! — горячо шептала Македониха, не спуская глаз с сына, пока он не скрылся с глаз вместе со своими боевыми товарищами.

46

Широко раскинул кудрявую крону мамврийский дуб. Шумят на ветру молодые листья. Бархатный ковер травы покрыл землю. На траве сидит Яков Македон в голубой рубашке, подпоясанный витым поясом с кисточками. Черные шаровары заправлены в сапоги. Из-под блестящего козырька вьется черный чуб. Яков играет на гармонике, ждет Софью, но она не может прийти к нему. Ее не пускает старый, немощный, дряхлый муж. Но вот, наконец, он заснул и, видно, не скоро проснется. Софья тихонько выходит из комнаты, садится на тройку, спешит на свидание с милым. Кони, выгнув шеи, летят, как птицы. Радостно у Софьи на душе от этой стремительной езды. Так радостно ей не было еще никогда в жизни. Ветер приятно овевает лицо, а сердце бьется прерывисто и сладко в ожидании встречи.

— Яков... Если б ты только знал, как я стосковалась по тебе, — говорит Софья, уверенная, что никто не слышит ее признания.

На ветру свистит кнут, опускаясь на крупы коней. Кони мчатся еще быстрее. Скоро-скоро она обнимет Якова, жадно прильнет к его губам горячими губами, почувствует его широкую теплую и сильную ладонь на своих плечах... Вот она уже заметила его... Вот он выходит на дорогу, бросается к тройке, резко останавливает коней. Софья видит на зеленой траве растянутую, как гусеница, гармонь. Пусть лежит.

Яков привязывает коней к молодому ясеню, широко раскрывает объятия, и она, не помня себя, бросается к нему, прижимается к могучей груди, прислушивается, как бьется его сердце.

— Софья, зоренька ты моя ясная... радость моя...

Софья смежает веки, а он целует ее в губы, гладит волосы... и приятная, сладкая истома разливается по ее телу...

— Хочешь, я сыграю тебе на гармони?

Он садится на траву, а она ложится рядом, смотрит на старые, уродливо изогнутые ветви мамврийского дуба, прислушивается к мелодии гармони, но никак не может понять, что же играет Яков. Эта мелодия звучит, как песня о светлой, но безвозвратно ушедшей юности, и Софье хочется плакать от непонятной тоски, внезапно охватившей ее:

«Зачем Яков выбрал такую песню? Зачем?» Но она не решается остановить его. Пусть играет. Она так давно не слышала его песен.

— Яков, ты больше никуда от меня не уйдешь? Не уйдешь? Скажи, нет?

Он молчит, будто не слышит ее вопроса, продолжает играть. Софья кладет свою руку на перламутровые клавиши гармони.

— Яков, ты любишь меня?

— Люблю.

И он опять называет ее зоренькой вечерней, жадно целует, ласкает. Софья счастлива. Никому ни за что на свете не отдаст она теперь Якова и больше не отпустит его на войну.

— Пойдем, Яков.

Яков перекинул ремень гармони через плечо, и они

пошли. Густая, пахучая трава покрыла всю землю. Пели соловьи, стучали пестрые дятлы. На самой вершине дуба Софья заметила двух диких голубей и показала на них Якову. Птицы ворковали, сидя рядышком, но вдруг, встревоженные чем-то, вспорхнули и быстро исчезли в дремучем лесу.

Яков нашел землянику, красную, ароматную, и протянул Софье; назвал ее ягодкой и поцеловал. Потом, сорвав несколько ромашек, тоже отдал ей.

Они идут вдвоем все дальше и дальше. Темнеет лес. Вместо цветов — буйные высокие заросли крапивы, только почему-то крапива не жжет рук. Это удивляет Софью. Ей хочется вернуться назад, но рядом идет Яков, и с ним не страшно.

Впереди виднеются белые просветы, напоминающие озера. Но на самом деле там нет никаких озер, вместо них, выйдя из лесу, Софья увидела перед собой глубокий овраг.

На дне его белеет снег. Туда, наверно, никогда не проникают солнечные лучи. Софья ни разу не была здесь, даже не знала до сих пор о существовании этого жуткого оврага. По краям его растут деревья. Их оголенные, перекрученные корни повисли в воздухе.

— Пойдем, Яков, мне страшно тут, — говорит Софья, дрожа всем телом, но Яков молчит.

Он берет ее за руку, и Софья замечает, как меняется его лицо, какой неудержимой яростью загораются его глаза. Софью охватывает дикий страх.

Она догадывается: он нарочно завел ее в эту глушь, чтоб расправиться с ней, буржуйкой. Но зачем же он продолжает говорить нежные слова?

— Софья, ягодка моя, солнышко мое ясное, люблю тебя. . .

Потом, напомнив ей про Изарова, начинает просить:

— Отдай бедноте землю, лес, раздай деньги, которые ты прячешь. Ведь у тебя еще много осталось. Я хорошо знаю, где спрятано твое золото.

Софье страшно слушать его. Она хочет убежать, но ноги так отяжелели, что она не может сделать ни шагу.

Никому не отдаст она своего золота! Богачи уж и так одели партизан, обули их на свое горе. От партизан им только погибель. Она знает это и больше не даст ни гроша.

— Пусти меня. Я пойду к мамврийскому дубу, отвяжу коней, уеду домой. Мне страшно здесь.

— Никуда не уйдешь ты отсюда. Я не пущу тебя.

Софья удивлена. Как это он может ее не пустить? Разве она прислуга или рабыня его? Софью разбирает безудержный смех. И сразу обрывается, как только Яков подходит к ней и берет за руку.

— Пусти! — кричит Софья, порываясь бежать, но напрасны ее усилия. Он наклоняется к ней и тихо шепчет:

— Трибунал поручил мне взять твое сердце.

Софья стоит над бездной. Ей хочется закричать, но у нее пропал голос. Она снова порывается бежать, Яков удерживает ее. Над лесом проносится ураган. Сильнее шумят деревья, предвещая грозу.

— Сжалься надо мной... Не губи... Яков!

Под ногами у нее вдруг проваливается земля, и Софья летит в пропасть. Однако успевает схватиться за оголенный корень наклонившегося дерева. Она умоляет Якова помочь, но он будто не слышит ее отчаянной мольбы. А буря все свирепеет. Над головой Софьи трещит дерево. Вот-вот оно упадет, сломанное ветром, и тогда — конец... Неминуемая смерть ждет ее на дне глубокого, темного оврага.

— Яков, спаси меня, спаси!..

Он появился на краю бездны, сурово глядит на нее, и Софья вдруг видит: в его руках бьется ее живое, окровавленное сердце.

— Отдай!.. Отдай!.. — кричит она, в ужасе замечая, что дерево клонится все больше, больше.

Уже сверху падают на нее комья земли. Вот-вот обвалится тяжелый пласт и она вместе с деревом полетит вниз. Но все ее внимание приковано сейчас к живому сердцу.

— Отдай мне его, отдай!

И он бросил ей сердце, как бросают проголодавшимся собакам обглоданную кость, но Софья не поймала его. Она услышала только, как оно жалобно застонало на дне оврага, глухо ударившись о землю. Да, да, Софья слышала этот последний стон и поняла: вырванному из ее груди сердцу больше не жить на свете. Обвалилась земля, полетело в бездну сваленное бурей дерево, и, дико вскрикнув, Софья проснулась.

Она больше не могла уснуть, хотя на дворе было еще темно. Софья одна в комнате. Перед образами горит лампада, освещая богоматерь с младенцем на руках. Слышны монотонные удары маятника.

Через окно хорошо виден ущербленный месяц. Софья не отрываясь глядит на него, а в памяти снова встает кошмарный сон.

Софья прислушивается. Может быть, в Троицкой, а может, и в Никольской церкви звонят к заутрене. Однотонное гудение колоколов успокаивает, напоминает детство. Бывало встанет она в такое вот время, умоется и вместе со старшим братом идет в церковь.

Трофим Иванович не приглашал домой попа, который ходил в субботний день к богачам святить куличи. Для Трофима это лишний расход, да и удовольствия никакого. Он сам брал большую эмалированную миску, ставил кулич, политый сверху сахаром и яичным белком и посыпанный выкрашенным в разные цвета пшеном; клал туда же окорок, колбасу, крашенки, все это увязывал в чистое полотенце и, перекрестившись на иконы, направлялся к заутрене. В церкви Трофим Иванович покупал дешевую свечку, ставил ее перед киотом Николая-угодника и, глядя на горящие люстры, благоговейно слушал пение церковного хора.

А Софья ждала в церковной ограде, охраняя пасхальную еду. Там не раз встречалась она с Яковом. Он приходил к заутрене вместе со своим отцом и тоже оставался в ограде, ожидая отца. На Якове в двунадесятые праздники Софья всегда замечала какую-нибудь обновку: рубашку, ботинки или новый картуз.

Воспоминание о нем опять воскресило в ее памяти страшный сон — вырванное из груди живое сердце.

«Что бы мог значить этот сон? — думала она. — Ведь Якова в слободе нет, и неизвестно, где он сейчас. Да, наверно, он уже забыл меня, как забыла и я его».

Но Софья тут же поймала себя на том, что она обманывает себя. Нет, не забыла она Якова Макелона. И если б могла, то теперь сама бы вырвала у него сердце, безжалостно растоптала бы ногами.

Но злость ее быстро угасла. В мельчайших подробностях вспомнились ей дни и вечера, проведенные с Яковом. Сколько счастья и радости светилось тогда в его глазах. Какими задушевными словами говорил он ей о своей

любви. Как горячо он целовал и ласкал ее, любимую, самую дорогую в мире девушку... Нет, невозможно забыть юность и все прекрасное, что сохранится в душе на всю жизнь.

— Господи, — шепчет Софья, — я сама себя не понимаю. —И, пытаясь уйти, забыться от этих мыслей и воспоминаний, она опять прислушивается к перезвону, далекому и неясному, едва проникающему в ее комнату.

«Где он теперь? Вспоминает ли меня хоть изредка? Ведь он любил меня, любил...»

Софья смотрит на икону, отливающую позолотой багета, на голубоватый огонек лампады, потом опять взгляд ее падает на ущербленный месяц.

Тоска...

Она подступает к ней незаметно, сжимает грудь. Хочется плакать от боли за утраченную молодость, которую уж никогда не вернуть. И Софья плачет. Обняв теплыми руками подушку, она лежит, не шевелясь словно окаменела. В окно светит месяц, блестит в его лучах краешек зеркала, равнодушно глядит с иконы богоматерь, освещенная мерцающим огоньком лампады. А в комнату врываются перезвоны колоколов, тревожа душу богатой вдовы чем-то неразгаданным, далеким и неповторимым, как юность.

Софье безумно жаль себя. Проходят лучшие годы, день за днем проходит безрадостная молодость. Не вернуть ее, не догнать ее потом даже на быстрой тройке. И опять перед нею встает образ Якова, и снова давнее желание иметь от него ребенка сладким волнением охватывает душу. С какой любовью и нежностью растила бы она дорогого сыночка или дочку, кареокую смугляночку, похожую на отца.

Жизнь приобрела бы для Софьи смысл, наполнилась бы настоящей человеческой радостью, тихим, спокойным счастьем. Но она знает: ее мечте не суждено сбыться. И тяжелая тоска сжимает ей сердце. А перезвоны звучат все звонче, звонче, властно напоминают о пасхе, беспокоят Софьину душу, будят воспоминания о прошлом, которое уж никогда не вернуть.

Застонала Софья. В этом стоне — отчаяние, жгучая тоска, боль. Так плачет невеста, потерявшая навсегда своего суженого. Так убивается мать, провожая на кладбище единственного сына. Так рыдает девушка, родившая

ребенка и выгнанная из дому, которой негде приклонить голову. Это не стон, это крик раненой души. Ничем его ни утешить, ни остановить.

Софья резко поднимается с постели. Щеки ее мокры от слез. Густые черные волосы падают с плеч, волнами рассыпаясь по белой рубашке. Глаза лихорадочно блестят. Софья подходит к буфету, достает бутылку вина, наливает бокал и выпивает залпом. «Что со мной творится, господи?» Она с мольбой смотрит на иконы; потом, крестившись, снова наполняет бокал.

Кто-то стучится в калитку. Софья подходит к окну и узнает Трофима. «Что ему нужно?» — думает она, но прогонять брата ей не хочется. Выпитое вино приятным теплом разливается по телу.

— Пусть зайдет; ради праздника уж пущу его в дом.

Служанка открывает Трофиму Ивановичу двери. Софья в китайском халате садится на диван и сурово глядит на раннего гостя.

— Я, Софочка, к тебе на минутку. Ты куличи святила?

— Вчера святила. Приходил поп.

— Все напрасные траты. Все денежки летят. Разве я сам не мог бы снести в церковь? Рука бы не отсохла, тяжесть невелика, а деньги можно бы сберечь.

— Ты говори прямо: зачем пришел? — спросила Софья.

— Как зачем? Проведать тебя. Думаю: может, захочешь пойти к заутрене. Когда-то мы вместе ходили. Помнишь, Софочка?

И, внимательно посмотрев ей в лицо, спросил:

— Что это у тебя глаза заплаканы? Нехорошо. В такой день не годится плакать. Сегодня мы с тобой поглядим на восход солнца...

— Хочешь денег, за этим ко мне пришел, да? — оборвала брата Софья, глядя ему прямо в глаза. — Дам. В другой раз выгнала бы тебя, как собаку, а сейчас я добрая.

— Софочка, разве можно такие слова? Грех... Я ведь уж привык — на пасху ты мне всегда присылаешь какой-нибудь подарочек. А на этот раз я ждал, ждал — подарка нет, вот я и решил...

Зазвенело несколько золотых монет, нарочно брошенных Софьей на пол. С быстротой кошки он бросился их

подбирать. Ползал на коленях, отыскивая деньги, а Софья сл..лила за ним, тихонько, зло посмеиваясь.

— Жадный ты... Ох, и жадный!

— Я, Софочка, не обижаюсь. Ты любишь пошутить. Вот еще одна закатилась — пятерка. У тебя, Софочка, много их?

— Полная шкатулка.

— Да ну-у? — удивленно воскликнул Трофим Иванович, хоть и понимал, что сестра издевается над ним. Но он не сердился на нее. Трофим Иванович готов ножки ей целовать, лишь бы она бросала ему деньги, как сейчас.

— Встань!

— Сейчас, Софочка. Может, еще куда-нибудь монетка закатилась.

— Встань! — Трофим Иванович поднялся, услышав в ее голосе раздражение. — Пей!

— Что ты, Софочка, господь с тобой. Разве можно? Сейчас люди в церковь идут, а ты...

— Пей, говорю тебе, пей со мной.

— Нельзя, у меня сердце больное...

— А ты не обращай на него внимания. Я тебя хорошим вином попотчую. Ты должен ценить, что сестра сегодня так приветлива с тобой.

— Ну, разве что рюмочку, не больше.

Софья выпила, выпил и Трофим Иванович.

— Еще одну, — опять налила она ему и себе. Потом показала на двери: — Теперь уходи!

Он покорно вышел, а Софья, сняв халат, начала примерять перед зеркалом дорогое платье.

— Ну вот, можно теперь и в церковь...

Она надела пальто, повязалась платком и, слегка пошатнувшись, переступила порог. За окнами все еще раздавались пасхальные перезвоны.

47

После обедни Софья не пошла домой. Ей нестерпимо захотелось посмотреть на восход солнца, подняться на Усову гору, погулять по лесу и, вернувшись домой, спокойно разговеться куличом.

Софья поднялась на гору. В лощине лежала слобода. Зеленели вербы, цвели сады.

Она внимательно наблюдала, как из-за горизонта появился красный ободок и, все увеличиваясь, поплыл по чистой лазури. Ярким багрянцем вспыхнула тихая речка. Нежный отсвет лучей заиграл на высоких куполах церкви, на белых стенах домов, на монастырских корпусах.

Софья смотрела на восход, и перед глазами у нее появились большие, как солнце, круги; увеличиваясь и цепляясь друг за друга, они, как мыльные пузыри, взлетали вверх и пропадали там, а на их месте появлялись все новые: красные, оранжевые, зеленые, синие, лазоревые. И все, казалось, выплывали из багряного диска. Софья вспомнила, как однажды брат Трофим за какой-то проступок выгнал ее из дому и она ушла на гору и спала здесь под открытым небом, а когда всходило солнце, видела то же, что и сейчас. Но это было давно.

Задумавшись, Софья не заметила, как из оврага вышла девочка с куклой и, повернув ее личиком к солнцу, проговорила:

— Смотри на солнышко. Видишь, какое оно красное?

Софья, узнав Таню, подозвала ее к себе.

— Христос воскрес! — мило зазвенел детский голосок.

— Воистину воскрес! — ответила вдова пасхальным приветствием и, обняв девочку, поцеловала ее.

Волнующее чувство охватило Софью, когда, христосуясь, она почувствовала, как маленькая теплая ручка легла ей на плечо. Софье стыдно глядеть в эти ясные, по-детски доверчивые глаза, словно она сама виновата во всем, что случилось с отцом этой девчурки. Хочется обнять ее, сказать что-нибудь хорошее и нежное. Лаская светлую головку с двумя косичками, перевязанными голубой лентой, она спросила:

— Танюша, придешь ко мне в гости? Я тебе подарочек дам. Придешь?

— А мне дядя Яша куклу привез и новые ботинки. А маме кофту и материю на платье привез. А кукла даже глаза закрывает. Положишь ее — сразу закрывает глазки. Видите?

Но Софья не смотрела на куклу. Неожиданная новость так взволновала ее, что она, не помня себя от радости, схватила Таню на руки и, точно безумная, начала ее целовать.

— Я тебе много-много подарков дам: и конфет, и пря-

ников, и еще одну куклу куплю. Хочешь? Голубок ты мой, цветочек мой! Когда же дядя Яша приехал?

И вдруг Софья остановилась как вкопанная. Из ближнего неглубокого оврага, густо поросшего терновником, вышел Яков Македон в военной форме и, смеясь, протянул кому-то руку. До Софьи долетел звонкий женский голос и смех. Где-то она уже слышала этот голос. Но где? Когда?

На гору выбежала Нина Черкашина в голубом платье.

Софья чуть не выпустила Таню из рук.

— Иди играй! — подавленно проговорила богачка, оттолкнув от себя девочку.

Во вдовьем сердце вдруг проснулась дикая ревность. В эту минуту она готова была броситься на свою соперницу, схватить ее за горло, выцарапать глаза, обезобразить красивое лицо, на кусочки изорвать голубое платье. А Нина, не замечая Софьи, стояла возле Якова, счастливая, веселая.

Невольно вспомнился ужасный сон: бездна и вырванное из груди окровавленное сердце.

«Приехала, разлучница! Не Яков — она растоптала мою надежду, отняла мое счастье, разбила мою любовь. . .»

Софья видела, как Яков, взяв Нину под руку, повел ее по тропинке, которая, извиваясь, как уж, исчезала вдали. . .

«Что же это такое? Неужели конец всему, что было между нами?»

Софья закрыла лицо руками и так стояла минуту или две, потом руки ее повисли, как плети. Тупо взглянула она себе под ноги, на кустик густой, сочной травы, затем села около него и начала зачем-то выдергивать по одному стебельку. Выдернет, порвет на мелкие кусочки, бросит на землю и тянется за новым стебельком, чтобы и его также порвать. Наконец она резко поднялась. Якова уже не было видно. Может быть, они повернули к кладбищу, там много зелени, а может, вышли в лощину и теперь появятся с той стороны холма на опушке леса, где среди черных дубов ярко зеленеют нежными листьями кудрявые вершины клена и березы.

Софья пошла домой. С ней здоровались люди, она не замечала их, не отвечала. У дворов сидели по-праздничному нарядные женщины и мужчины, играли дети. Гурьба

молодежи отправлялась в лес на гулянье. Дома служанка сообщила Софье:

— Заходил Трофим Иванович с куличом. Очень жалел, что не застал вас. Обещал наведаться.

— Гнать его в шею! Всех гнать! Никого ко мне не пускайте.

Оставшись одна, Софья, как неприкаянная, зашагала по комнате. Ревность жгла ей сердце сильнее крапивы. Никуда не убежать, никуда не спрятаться от мучительных дум. Они сжимают сердце тупой болью, наполняют душу горечью и обидой.

«Неужели я еще люблю его? Ревную — значит люблю. Люблю... Проклятье!»

Софья не разговелась. Вкусный сдобный кулич, окорок и колбасы остались нетронутыми.

«Выпью».

Софья налила стопку вина. За первой выпила вторую, третью, четвертую... Крепкое вино быстро опьяняло ее, и это было приятно. Туманилось в голове, не такой горькой казалась обида, а вместо нее росло чувство жалости к себе. И вставал образ Нины Черкашиной, заслоняя собой Якова.

Софье очень хотелось знать, женился он на Нине или она приехала только погостить к нему как невеста.

Но одно для нее было ясно: Якова она потеряла навсегда.

«Что, доигралась? Улетел голубь к другой голубке. Не удержала? Не сумела... Смешно...»

Софья начинает смеяться, но к горлу ее неудержимо подступает щекочущий спазматический клубок. У нее нет сил превозмочь боль, обиду, унижение, и она с рыданием падает на застланную постель.

«Господи, что же со мной делается? Может быть, я схожу с ума?»

А на дворе тихий, ясный день. Иногда в лазоревой выси проплывет белое облачко, пролетит птица, пронесется над рекой коршун, зорким оком высматривая себе добычу.

Перед окном расцветает черемуха, и пестрый щегол, перелетая с ветки на ветку, радостно поет, встречая весну.

Софья решила увидеться с Яковом. Она поговорит с ним, расскажет ему о своих муках и страданиях, хотя бы один час он должен провести у нее. Это желание появи-

лось неожиданно и больше ни на минуту не покидало Софью... Она пойдет на Усовы горы, в лес, на просеки и поляны, но обязательно его разыщет.

«А если он не захочет оставить Нину, скажет: «Я не желаю даже знать вас»? А я все-таки подойду. Я отомщу ей! Я все равно разобью ее счастье, как она разбила мое».

Софья больше не колебалась. Остановившись перед зеркалом, она начала сравнивать себя со своей соперницей.

«Поставить бы ее рядом со мной и спросить: «Кто красивее?» Конечно я, — решила Софья, горделиво любуясь собой. — Она только моложе меня. Не понимаю — что нашел в ней Яков? Самая обыкновенная».

Но эта «обыкновенная» девушка была для него, очевидно, милее и дороже Софьи.

Полная злобы и решимости, Софья отправилась на поиски Якова. Дорога тянулась мимо кладбища, заросшего кустами бузины. Кое-где на могилах, заботливо посыпанных желтым песком, лежали пасхальные крашенки. За густым вишняком шла панихида; по кладбищу низкой октавой плыл голос дьякона.

Софье было тошно его слушать, и она постаралась поскорей выбраться в лес, не успев побывать даже на могиле мужа.

Величественные дубы еще не покрылись зеленью. Зато на кленах и ясенях уже красовались яркозеленые пучки листьев, пышно зеленели в новом убранстве березы. На поляне прогуливались девушки с букетиками голубых и белых подснежников, розового ряста и фиалок.

Софья не решилась выйти на поляну. Прячась за вековыми дубами, она пытливо оглядывала каждую проходящую мимо парочку. Но Якова здесь не было.

«Может быть, он с ней возле мамврийского дуба?» — мелькнуло у нее в голове. Софья пошла туда.

По дороге ей встретился пьяный Терешка, сын Лукьяна. Он шел в лес на гулянье и немного удивился, встретив здесь взволнованную тетку. Но она предупредила его вопросы.

— Вот хорошо, что я тебя увидела. Я хочу поручить тебе одно дело. Тайное... Чтоб никто не знал...

Оглянувшись, не видит ли ее кто из посторонних, Софья схватила Терешку за руку и потащила в кусты орешника.

— Я знаю, ты не изменишь мне, — говорила она взволнованно, пробираясь с племянником все дальше вглубь леса, словно их тайную беседу мог кто-нибудь подслушать.

Они пересекли дорогу, миновали поляну, потом свернули на тропинку, ведшую к мамврийскому дубу. Но и здесь Якова не было.

Софья думала уж вернуться назад, как вдруг услыхала смех. Возле клена, опираясь спиной о его ствол, сидела Нина Черкашина, а рядом, положив под голову руки, лежал Яков. Терешка почувствовал, как больно впились Софьины ногти в его ладонь.

— Видишь, какая она? — спросила Софья шепотом.

— Вижу, — тихо ответил Терешка.

— Ты должен сделать все, что бы я ни попросила. Сделаешь?

— Сделаю.

— Тогда получишь все сполна, как мы договорились. А теперь иди на просеку, гуляй, ты мне больше не нужен.

Софья осталась одна за кустом. Какая-то подсознательная сила так и толкала ее выйти из укрытия, позвать Якова, условиться с ним о встрече. Пусть эта встреча будет даже последней, но она должна состояться.

И все-таки в последнюю минуту безумный страх сковал Софью, и она не решилась выйти.

Нина, не подозревая, что за нею следят чужие, ревнивые глаза, склонилась к Якову и припала к его губам.

Софья больше не могла на них смотреть. Прямо через кусты, не разбирая дороги, она стремглав бросилась к тропинке и, не оглядываясь, быстро пошла домой.

48

Два дня не видела Софья Терешки, а на третий поутру он прибежал к ней, чем-то возбужденный.

Софья еще лежала в постели, но позволила племяннику войти в спальню.

— Что скажешь? — тетка пытливо взглянула ему в лицо.

Он был рыжий, как отец. Густые веснушки сплошной сеткой покрывали круглое лицо. В грязновато-серых глазах светилась тупая покорность, а веснушчатый нос с большими ноздрями, заросшими рыжими, жесткими, как щетина, волосами, дополнял «красоту» Терешки.

Он смущенно сел в кресло и, не глядя на тетку, стал рассказывать:

— Комитетчики собираются мобилизовать дезертиров, чтобы послать их против Колчака, но я так думаю — мы не пойдем воевать. Мы уже договорились между собой и решили не идти. А добровольцам, желающим воевать за Советы, надо записываться в штабе запасного батальона. Для этого и командировали сюда Якова. Сегодня на площади назначен митинг. Македоны все распинаются за советскую власть. А мне власть эта поперек горла встала, как кость. И папе тоже. Что ж, посмотрим, пойдут ли дезертиры против Колчака. Не пойдут они — вот и все! Никто не пойдет! В Сибирь, в тайгу, в чужой край... Что мы, спятили? Нам и на Украине хорошо. Мы еще подумаем, куда нам идти, за кого воевать. Правильно я говорю, тетенька Соня? Пусть идут против Колчака те, кому советская власть по душе, а для нас она... будто кость в горле.

Терешка умолк. Он не знал, куда девать свои набрякшие от крови сильные руки, и почему-то пощипывал себя за щеку.

— А много в слободе дезертиров?

— Да небось не меньше сотни наберется. И на соседних хуторах есть.

Вдруг Софье пришла на ум какая-то новая мысль, она даже поднялась с постели. Заговорила таинственно и тихо, как заговорщица.

— Ну, а с этой... ты еще ничего не сделал?

— Тяжело... Я думал раньше, она так себе, девка — и все тут. А она политработник. Во как! И фамилия ее... Черкасенкова, кажется.

— Фамилия ее Черкашина, — поправила Софья, думая о чем-то своем. — Политработник, говоришь? А ты точно узнал?

— Точно. Она тоже, как и Яков, командирована сюда из уездного центра. Вместе приехали в слободу.

— Что ж, тем лучше, — сказала Софья, злобно сверкнув глазами. — Тогда все можно будет сделать иначе. —

И она взглядом приказала Терешке сесть ближе. Но он, не понимая ее, смущенно топтался на месте.

— Как же... я ведь в сапогах. Может, разуться?

— Да нет, — с раздражением сказала Софья. — Какой ты недогадливый. Просто сядь ближе, вот сюда.

Таинственным шепотом она учила племянника, что надо делать, то и дело спрашивая:

— Понял?

Терешка молча, как мерин, мотал головой, не смея взглянуть тетке в глаза.

— С этого начнешь, а я тоже там буду.

— Ну что ж, господи благослови! — перекрестился Терешка на иконы, надел шапку и, глядя себе под ноги, сказал: — Я, значит, пошел парней собирать.

— Иди, собирай... Помоги тебе бог!

Когда он скрылся за дверью, Софья угрожающе проговорила:

— Мы еще встретимся с тобой, Яков, обязательно встретимся! — У нее хищно блеснули глаза. — Только знаю, не поздоровится тебе, милый мой, от этой встречи!

49

Софья опоздала на митинг и не сразу поняла, что здесь происходит. Рядом ссорились две женщины:

— Глаза бы мои на тебя не глядели! И ты кулачка, и муж твой дезертир. Хочешь не хочешь, а его заберут. Нечего ему дома отсиживаться. Наши мужья в партизанах кровь проливают, а вы будете на мягких подушках отлеживаться? Не позволим! Поднимут твоего кабана, отправят на фронт. Пусть и он повоюет за советскую власть.

— Да пропади ты пропадом! Что ты на моего мужа свои буркалы уставила? Сидел дома и будет сидеть. Никуда не пущу. Вот и все! И на мягких подушках буду с ним спать, хоть бы ты лопнула от досады и злости!

— Нет, не будет по-твоему. По-нашему будет. Увидишь, возьмут. Не выкрутится теперь. Не-ет!..

Софья не стала слушать, чем закончится эта перебранка, отошла, но тотчас же наткнулась на такую же ссору между пожилыми мужчинами. У этих дело доходило чуть ли не до драки.

— Ты не хватай меня за грудь! Твои сыновья все

дома, а мой Иван, может быть, голову сложит за советскую власть. Ты меня не хватай!

— Мы тоже за советскую власть — и я, и сыновья мои, — только мы против коммунистов.

— Врешь! Без коммунистов советской власти не бывает. Коммунисты — первые в бою, первые и в новой жизни. Они вас, кулаков, кровопийц, сомнут, да. Вот возьмутся за вас коммунисты, а мы, бедняки, им поможем... Это когда-то ваша кривда правдой была, а теперь другие времена настали. Теперь... — Но он не закончил фразы, пошатнувшись от сильного удара.

Несколько мужчин бросились защищать бедняка.

— Что здесь такое? — Софья подошла ближе, встала на пригорке под старым тополем.

Толпа дезертиров была чем-то возбуждена. Вот один из них, видно деревенский, худой, длинный, как жердь, в кафтане и в красноармейском шлеме вместо картуза, чувствуя поддержку других дезертиров, погрозил жилистым кулаком в сторону трибуны.

— Агитировать пришла? Мы уж сагитированы. Мы сами знаем, что нам делать. Правильно, мужики?

И вдруг замелькали тяжелые кулаки, злобно заблестели глаза, раздались оглушительные крики:

— Убирайся отсюда, пока не поздно!

— Слышали мы таких.

— Видали птицу-перепелицу? Бабу в комиссары возвели, чтоб она, значит, нами, мужиками, командовала... Чудеса, братцы!

— Слезай с трибуны!

— Пусть говорит. Интересно... Чего кричите?

— Не хотим слушать бабу. Ей детей рожать надо, а она шинель напялила. Тьфу! Бессовестная! Уходи подобру-поздорову, чтоб мы тебя тут не видали. Вон!

На трибуне стояла Нина Черкашина, глядя на разбушевавшуюся кулацкую стихию. Сомнений не было: кто-то уже поработал среди дезертиров. Они столпились у трибуны и не давали ей говорить. Каждое ее слово терялось в гуле возбужденных голосов. Все чаще вздымались в воздухе кулаки. Раздавалась грубая брань, слышался свист. Особенно усердствовал курносый рыжий детина с веснушчатым лицом. Это он выкрикнул, прячась за спинами соседей:

— Тащи ее с трибуны, бей!

— Я тебе ударю! — отозвался стоявший рядом крестьянин в солдатской шапке с кокардой и в старой шинельке. — Она дело говорит. Вернемся в армию — нам все простят.

— Ну и катись! — сразу накинулись на него несколько дезертиров. — Иди, подставляй свой лоб под пулю.

— Он у тебя большой, да дурной.

— Лучше говори прямо: за кого ты — за коммунистов или за народную власть?

— Я? — переспросил солдат, не ожидавший такого вопроса. — Я за правду — вот что! А правда за коммунистами, значит я за коммунистов и за их народную власть. — И, повернувшись к Нине Черкашиной, он крикнул: — Говорите дальше, мы слушаем!

Но слова его потонули в криках и угрозах.

— Тетенька! — вдруг услышала Софья позади себя робкий голос. Обернувшись, она увидела растерянное лицо Терешки. Он хотел было что-то спросить, но Софья, схватив племянника за руку, во-время остановила его, сделав знак, чтоб он шел за ней.

Кипя от возмущения, она остановилась у поповского дома.

— Я же говорила, предупреждала тебя, чтоб ты на площади не смел ко мне подходить.

— Да я бы и не подошел, кабы знал, что дальше-то делать.

— Дурак! Ну и дурак же ты... Я ведь объясняла тебе. Не использовать такой случай — значит завалить все дело.

— Ага... Понял, — и Терешка исчез в толпе.

Нина не очень испугалась разъяренных дезертиров. Ее выдержка и смелость заметно действовали на них, охлаждая их пыл и невольно вызывая уважение к «бабе-комиссарше». Это были критические минуты; и Софья боялась, как бы ее хорошо задуманная операция не сорвалась.

На трибуну поднялся старый Македон.

— Товарищи! Позвольте мне...

— Не позволяем... Долой! — первым крикнул Терешка, и сразу начался невероятный шум, в котором потонул голос столяра, как тонет брошенный в воду камень.

За столяром выступил председатель сельсовета, ему

тоже не дали говорить. Возбуждение толпы нарастало с каждой секундой. Но вот на трибуне появился Яков Македон. Ничего не говоря, он молча начал разглядывать «крикунов», на каждом останавливая внимательный, суровый взгляд. Это действовало на них охлаждающе, как студеная вода.

Затихли выкрики, свист, угрозы. И тогда Яков Македон спросил:

— Советская власть в слободе или не советская? Отвечай мне, рыжий Терешка! Ты не прячься за соседа. Кто твой отец? Кулак. Мы не забыли, что, когда наши солдаты воевали с германцами и погибали тысячами, твой отец грабил солдаток, отнимал у сирот последний кусок хлеба. Это он ходил встречать хлебом-солью гайдамаков и немецких оккупантов. А теперь ты, кулацкое отродье, смеешь нам угрожать? Трудовой народ лучших своих сыновей послал в партизанские отряды, в Красную Армию, а вы, дезертиры, отсиживаетесь по своим конурам? Не позволим! Не можем мы быть спокойными, зная, что поганые кровавые руки врагов тянутся к молодой республике Советов, чтобы задушить ее, отнять у народа свободу, завоеванную такой дорогой ценой. Не бывать этому! Красная Армия, партизаны оторвут голову капиталистической гидре. Советская власть сильна, и потому, что сильна, она прощает вам тяжкое преступление перед народом и пролетарской революцией, зовет вас опять вступить в ряды борцов за власть Советов, искупить свою вину, возвратить себе честное звание воина-красноармейца. Помните, что в условиях военного времени дезертиров расстреливают.

Это предупреждение было искрой, попавшей в пороховую бочку.

— Что-о? Расстреливают? Братцы, слышали?

— Расстреливать народ?

— Тащи его с трибуны!

— Гони их всех в шею! Бей!

Раздался женский вопль, крики, плач испуганных детей. Несколько сильных жилистых рук потянулись к трибуне. Терешка первый поймал за полу шинели Нину Черкашину, но она, быстро выхватив из кобуры револьвер, пригрозила:

— Застрелю!

Терешка испугался, выпустил шинель, однако этот

револьвер взбесил и без того до предела возбужденных дезертиров.

— Коммунистка! Бей ее!

— Отнимай оружие, ребята!

Прогремел выстрел, это вконец ожесточило разъяренных людей. Теперь уже никто не мог справиться с толпой, сдержать темные силы, бродящие в ней, как буйный хмель, и ищущие выхода в мести, в злобе, в дикой расправе. Кто-то вырвал у Нины револьвер. Кто-то ударил по голове старого Македона, и он, покачнувшись, упал с трибуны. Председатель сельсовета куда-то исчез. На трибуне остались только Нина и Яков.

В руках дезертиров замелькали обрезы, охотничьи ружья, отточенные ножи.

— Снимай оружие! — властно приказал Терешка, оглядываясь на кулацких сынков, стоявших за ним плотной стеной.

«Может, выстрелить в него?» — подумал Яков, но сдержался. Убить Терешку в эту минуту — значило погибнуть самому и погубить Нину.

— Снимай! — настаивал Терешка, подступая к Якову. — Снимай, тебе говорят.

— Снять — сниму, а дать — не дам, — ответил Яков, едва сдерживая гнев. — Пропустите нас, мы пойдем в волость.

Не чувствуя опоры, не имея толкового вожака, дезертиры послушно расступились. Первым шел Яков, за ним обезоруженная Нина. Никто не остановил их, все молча проводили их взглядом. А когда они исчезли за дверями, к Терешке подскочила разъяренная Софья.

— Ой, дурак! Ой, олух! Что ты наделал? Зачем ты их выпустил? Они сейчас позвонят в уезд, сообщат, что произошло, и оттуда пришлют им в помощь красноармейцев.

— Как же быть? — спросил Терешка, растерянно хлопая глазами.

— Перерезать провода. Окружить дом. Вытащить их и обоих выдать на самосуд дезертирам. Такой случай, может быть, больше не повторится никогда в жизни. Помни о ней... В суматохе никто не разберет, ты это или кто другой... Я тебя щедро награжу потом. Действуй!

— Ага... понял...

Софья исчезла в толпе, а Терешка, поднявшись на трибуну, крикнул:

— Граждане, как же это мы их выпустили? Ведь они пошли звонить по телефону, карательный отряд вызывать... Не позволим... Не допустим!.. Обрезай провода!

— Стойте! — послышался из толпы тонкий, бабий голос, и вперед вышел низенький, невзрачный мужичок с мышиной мордочкой, на которой торчали жидкие, но твердые усики. Маленькие тусклые глазки, казалось, говорили всем: «Это я могу... Лучшего мастера, чем я, не найдешь. Вот сейчас все увидите мою работу».

Подойдя к телеграфному столбу, он взмахнул длинными руками и с кошачьей ловкостью быстро полез наверх. Через минуту обрезанные провода валялись на земле.

— За мной! — скомандовал Терешка, и человек двадцать дезертиров бросились в волость. Кто-то сунул в руку Терешке наган.

Вошли в одну комнату — пусто, в другую — тоже.

— Где же они спрятались?

— Смотрите! — крикнул кто-то, высовываясь из окна во двор, и все увидели, как Нина Черкашина, ловко вскочив на степного коня, помчалась в открытые Яковом ворота...

Конь и всадница быстро исчезли в узеньком переулке.

— Как же быть, а? — Терешка со всех ног помчался на улицу, и там, словно из-под земли, перед ним выросла Софья.

— Удрала...

— Знаю. Бери моего коренного, догоняй!

Терешка бросился выполнять приказ тетки, а кулацкие сынки между тем громили волостной комитет: ломали шкафы, столы, стулья, скамьи, били стекла. Не удовлетворившись этим, они гурьбой вывалились из помещения как раз в тот момент, когда старый Македон возле трибуны поднялся на ноги.

— Ребята... бей!

Будто волчья стая, бросились они к столяру, но почему-то никто не осмелился бить первым. Окружив Македона, дезертиры молча в упор смотрели на него, ожидая, кто сделает почин, чтобы потом завершить кровавую расправу.

У Андрея Степановича шумело в голове, двоилось

в глазах. Он протянул было руку к трибуне, чтоб не упасть, но кто-то сильным ударом сбил его с ног. Со двора на улицу выбежал Яков. Словно ястреб, налетел он на озверевшую толпу, тяжелыми, как гири, кулаками прокладывая себе дорогу к отцу.

— Разойдись, сволочь! Убью!

Дикий, страшный в своей злобе, он схватил за горло того, кто первым ударил отца, но на него сразу же накинулись несколько человек.

— Убьют его, убьют! — вскрикнула какая-то женщина. — Люди! Что же вы стоите? Спасайте!

Она побежала на помощь к Якову, но какой-то дезертир ударил ее в грудь. Женщина упала на спину и долго не поднималась. Якова били зверски, молча и в этом молчании было что-то зловещее.

— Берегись! Берегись! — раздался резкий голос, и мимо волости, припав к гриве коня, проскакал Терешка, завернув в тот самый переулок, где недавно исчезла Нина Черкашина. О верховом сразу забыли.

— Убьют, убьют, сволочи, нашего Якова! — И дед Михей, подняв палку, поплелся к трибуне. Но дойти до нее ему не пришлось, он упал рядом с женщиной, сбитый ударом кулака.

Оцепенение прошло. Прошел и первый страх. Беднота собралась в группу, поглядывая в сторону трибуны, где все еще мелькали в воздухе кулаки.

— Что ж это мы?.. Как же так... Якова убивают... советскую власть топчут... а мы... только смотрим. А? Стыд и срам. Как трусы, стоим, выжидаем... Ведь убьют они его... Такого человека убьют...

— У них оружие — а у нас что? Голые руки, — заметил кто-то уклончиво.

— Ну и что же? С голыми руками на них пойдем! Беднота, за мной!

И тут произошло то, чего никто не ожидал. К трибуне подошла Софья Изарова.

— Уходи отсюда! — закричал на нее здоровенный хуторской парень и уже поднял было кулак, но, заметив в руках Софьи браунинг, растерялся, не зная, что делать.

— Разойдись! — приказала Софья.

Все услышали звонкий властный голос; слобожане, узнав Софью Изарову, отходили в сторону, с трудом пе-

реводя дыхание. А хуторяне, увидев перед собой женщину, обрушились на нее:

— Ты кто такая? Монашка или поповна? Убирайся отсюда! Не суйся не в свое дело! — крикнул хуторской богатырь, лохматый, коренастый, с оторванным воротом рубашки и с подбитым глазом. — Ступай прочь!

Но в ту же секунду он получил такую звонкую, увесистую пощечину, что даже рот раскрыл, онемев от удивления и неожиданности.

— Кто тронет его хоть пальцем — пристрелю! Так и знайте, как собаку, пристрелю!

На земле, весь в крови, лежал Яков Македон, а в трех-четырех шагах от него — отец. До столяра ей дела нет. Пусть лежит. Пусть даже убьют его — Софья будет только рада. Но Якова она не позволит бить никому. У нее есть свои планы.

Заметив в переулке какую-то подводу, Софья приказала вознице подъехать к трибуне. С помощью женщин она уложила потерявшего сознание Якова на телегу.

— Я его отвезу к себе. Если он будет лежать у меня, дезертиры его не тронут. Я вызову врача...

— Спасибо вам, Софья Ивановна. Вы уж спасите его. Сами видите, это не люди — звери. Домой везти страшно. Они и в хате могут его убить. А разве можно такого человека отдавать на смерть? Сколько добра он сделал для нас, бедняков! А отца мы уж сами... Присмотрим за ним.

— Трогай! — приказала Софья, усаживаясь на телеге.

Несколько женщин последовало за ними. Из церковноприходской школы вышла группа дезертиров, неся белое знамя, на котором кто-то фиолетовыми чернилами написал: «Мы — за советскую власть, но против коммунистов».

Дезертиры собирались под этим знаменем, и немного погодя Софья увидела, как опьяневшая от злобы, охваченная жаждой расправы толпа направилась к монастырской горе.

С улицы прибежала перепуганная служанка.

— Видели? Они пошли к больнице... Там лежат раненые красноармейцы и партизаны. Они могут их...

— Убирайся вон! — сказала Софья.

Выгнав служанку, она подошла к постели. Яков лежал, разметав руки на подушках. Он до сих пор не

пришел в сознание. Софья промыла ему раны, смазала их йодом, перевязала и теперь не отходила от него ни на шаг. Стоило ему пошевельнуться, как Софья уже склонялась над ним, следя за его дыханием. Ее все больше пугала страшная мысль: «Неужели умрет?»

Софья осторожно касалась рукой его забинтованного лба. Но вот Яков наконец открыл глаза.

— Яков... Яша!

Опустившись возле кровати на колени, она прижалась горячей щекой к его желтой, как у мертвеца, руке. И опять страшная мысль о смерти пронизала ее холодом.

— Яков, милый! — шептала Софья, а он, видимо, не слышал ее. Опять закрыл глаза. Но щеки у него начали розоветь, теплели руки, ровнее становилось дыхание. — Будет жить! — сказала Софья, целуя его в лоб.

Яков спал.

...Нина Черкашина остановилась. Перед нею лежали три дороги. На какую свернуть? Пришлось подъехать к крайней хате у околицы слободы.

Расспросив о дороге, Нина погнала коня. Молодица смотрела ей вслед, тщетно стараясь угадать, кто эта девушка в шинели, чем встревожена, откуда она и почему не знает дороги к уездному городу.

Оглянувшись, Нина Черкашина заметила за собой верхового, беспощадно хлеставшего коня. Неужели погоня? Нина подумала, что Якова, наверно, уж нет в живых, что он убит разъяренными дезертирами, а теперь такой же конец ждет и ее. Напрасно искала она глазами какого-нибудь путника. Может быть, при свидетеле у злодея не поднимется рука на убийство. Но поблизости не было ни души. Одни лишь поля с яркой зеленью озимых. А сзади все отчетливее слышался конский топот, приближавшийся с каждой секундой.

«Погоня? А у меня нет оружия... Что же делать? Куда бежать? Где спрятаться?»

С правой стороны широкой полосой темнел сосновый бор. Она успеет домчаться туда, а в бору можно укрыться. Только бы он не догнал ее в открытой степи.

Нина круто свернула с дороги. Копыта врезались в мягкий чернозем, а сзади все ближе раздавался конский храп. Оглянувшись еще раз, она увидела, что верховой, припав к развевающейся по ветру гриве коня, яростно стегал его нагайкой и конь летел во весь опор.

Но вот и бор. Соскочив с коня, Нина быстро сбросила с себя шинель и побежала в чащу. Ветки хлестали ее по лицу, рвали одежду. Не помня себя от страха и неотступно слыша за собой погоню, Нина боялась даже оглянуться. Бежать уже не хватало сил. Казалось, сердце сейчас разорвется на части и она замертво упадет на мягкую, покрытую опавшей хвоей землю.

— Мама! — вскрикнула она, почувствовав, что ее схватили за руку.

Несколько секунд Нина и Терешка, тяжело дыша, молча смотрели друг на друга.

— Ты... кто такой? Что тебе... надо? — первая спросила Нина, вглядываясь в некрасивое, усеянное веснушками лицо, которое она уже видела раньше, возле трибуны.

— Кто я такой? — Терешка воровато оглянулся вокруг.

Нигде ни души. Только, едва покачиваясь, шумят старые сосны.

— Кто я такой? — переспросил он. — Человек без роду, без племени. А тебя я знаю. Ты комиссарша, и в этом лесу придет твоя смерть.

Он засмеялся, зная, что бояться ее нечего: ведь она безоружная. Терешка рассчитывал на свою силу и был уверен, что его жертва больше никуда не убежит. Но прежде чем покончить с девушкой, Терешку подмывало поиздеваться над ней, натешиться ее страхом, удовлетворить свою жажду звериной мести.

— Что, хотела бежать в уездный город, сообщить начальству о мятеже, и потом вместе с карательным отрядом явиться в слободу и расправиться с нами? Мне бы тогда первому досталась либо петля на шею, либо пуля. На это надеялась, да? А вышло-то по-другому. Придется умереть тебе, а я еще поживу на свете.

— Пусти меня! Я буду кричать!

С быстротой кота, бросающегося на мышь, Терешка схватил ее за горло.

— Ну, кричи теперь, кричи, голубка... Что, голоса нет? Хрипишь... Вырываешься? Не вырвешься. Я с тобой, комиссарша, быстро управлюсь.

Нина Черкашина вцепилась ему в волосы, но руки ее ослабели, пальцы разжались, потемнело в глазах. Покорно склонилось к земле девичье тело.

— Ну вот, так-то будет лучше для начала, — сказал Терешка и воровато-трусливо еще раз огляделся вокруг. Но, как и раньше, в лесу было безлюдно.

Где-то поблизости раздался всплеск. Терешка вздрогнул, но, догадавшись, что это рыба, успокоился.

«Брошу ее в Ворсклу — и концы в воду», — решил он, вспомнив дочь кузнеца, которую когда-то столкнул в глубокий омут. Ту девушку он тоже сначала задушил. «Даже лучше, если ее найдут в реке», — думал Терешка, глядя на Нину. Глаза ее были плотно закрыты; густые, длинные ресницы еще трепетали, а бескровные губы едва шевелились. «Красивая девка. Не зря Яков ходил с ней в лес на гулянки».

Терешка, может быть, и не задушил бы ее, но Софье нужно, чтобы комиссарша не жила на свете. За ее смерть тетка обещала щедро заплатить. Еще минуту или две Терешка смотрел в лицо Нины. То ли заколебался он в последнюю минуту, то ли девичья красота поразила его, пробудив в нем жалость, но только Терешка нагнулся над девушкой и тихонько спросил, словно боясь нарушить ее сон:

— Что, неохота тебе помирать? А? Неохота?

Она ничего не ответила. Холодом смерти веяло от ее закрытых глаз, бледного лица, неподвижных, раскинутых рук.

— И так дойдет, — решил он.

Вблизи послышались голоса. Терешка бросился на опушку леса, где он привязал к молодой сосенке коня.

Легко вскочив в седло, он сразу помчался галопом. Из-под копыт далеко отлетали тяжелые комья влажной, по-весеннему теплой земли.

...Софья видела в окно, как Терешка провел в сарай взмыленного коня. Только теперь решилась вдова оставить Якова и, сгорая от нетерпения скорее все узнать, вышла навстречу племяннику. Поймав его испуганный, возбужденный взгляд, она сразу догадалась, что ее поручение выполнено.

— Где догнал?

— В лесу... Там и задушил.

Больше Софья ни о чем не спрашивала. Золото она даст ему сегодня вечером.

— А сейчас немедленно отправляйся к больнице, туда

пошли дезертиры... там, кажется, раненые красноармейцы лежат.

— А зачем мне туда? Я свое дело сделал. Должен получить чистоганом, как договорились.

— Я же тебе сказала — приходи вечером.

— Почему вечером? Может, я сейчас хочу получить. Ведь договорились: как я ее убью, так, значит, и денежки мне на стол.

— Разве ты это для меня сделал? А если б она сообщила куда следует? Да и вообще, Терешка, тебе надо бежать из дому. Так просто это с рук не сойдет.

— Вот еще, запугивать меня начинаете. Деньги давайте! — повысил голос Терешка, заметно раздражаясь.

— Дам, не торопись, дам тебе деньги. Не можешь подождать, что ли? Будто тетка тебя обмануть хочет.

Софья вышла в другую комнату, и через несколько минут широкая потная ладонь Терешки крепко сжимала блестящие монеты.

— Теперь и погулять можно. Новый костюм справлю, сапоги хромовые. А то отец у меня, сами знаете, какой жадный.

— Ну, иди, иди. У меня сейчас нет времени.

Выпроводив племянника, Софья вернулась к Якову. Легкий скрип дверей разбудил его. Несколько секунд он всматривался в лицо Софьи.

— Что, не узнал меня? — спросила она, взяв его горячую руку в свою. — Как ты себя чувствуешь? Лучше? Лежи, здесь тебя никто не тронет. Я никого не пущу сюда.

— Домой... — слабым голосом сказал Яков.

— Что ты, Яков? — всполошилась Софья. — Разве можно? Убьют... Если б я не спасла тебя у волости, не видеть бы тебе света божьего. Лежи. Я буду ухаживать за тобой. Ночей недосплю, лишь бы ты скорее поправился.

— Отец... Что с ним?

Софья не могла сказать ему ничего утешительного. Но чтобы успокоить Якова, солгала:

— Жив... Сейчас пошлю к нему служанку узнать, как он. Ты, Яков, не тревожь себя всякими думами. Я взяла тебя к себе и никуда не отпущу, пока ты совсем не окрепнешь. Мне все равно, что люди обо мне скажут. Я вырвала тебя из рук дезертиров, спасла тебе жизнь...

Яков, ведь мы так давно не виделись... не были вместе...

— Зачем?.. Не надо... Домой... — утомленно и тихо сказал Яков.

И вдова замолчала. «Может быть, действительно я рано заговорила с ним об этом», — подумала она, заботливо укрывая его одеялом.

— Ты бы чего-нибудь поел, выпил... Хочешь рюмку коньяку или вина? У меня есть ветчина, зернистая икра... Что тебе дать?

За дверями послышался голос служанки:

— Нельзя. Приказано никого не впускать. Я спрошу у хозяйки.

— Матери можно.

В спальню вошла Македониха. Не поздоровавшись с богачкой, она, рыдая, бросилась к сыну.

— Мама, успокойтесь. Зачем же плакать?

— Яков... сынок...

Он положил на ее плечо слабую руку.

— Не надо... Ну, не надо же. Перестаньте... Мы сейчас пойдем домой.

— Нет, нет. Ему нельзя уходить отсюда, — решительно запротестовала Софья. — Гораздо спокойнее пережить у меня это смутное время. Ведь я и так едва спасла его. Это все видели.

— Спасибо вам, Софья Ивановна, за то, что вы спасли Якова. Но я мать, я хочу, чтоб сын мой был дома. Его никто не тронет, не допущу... разве что через мой труп...

— Зачем же через труп, — усмехнулся Яков. — Мы сумеем защитить себя. Соберем бедноту. Да, сегодня мы не учли... вот и поплатились за свою ошибку. Впредь будем умнее. А домой пойдем... сейчас пойдем.

Встав с постели, Яков пошатнулся. Мать сразу поддержала его.

— Ты обопрись на меня. Я крепкая, выдержу...

— Значит, уходишь, Яков? — спросила Софья, не сводя с него глаз. — Я советовала бы тебе остаться у меня.

— Отец лежит дома, и ты с отцом будешь, пойдем, сынок, пойдем. На улице тебя ждут товарищи. Такие бравые ребята подобрались! Они охраняют нашу хату, никого не допустят.

— Спасибо вам, Софья Ивановна, — сказал Яков и медленно вышел.

Взбешенная Софья даже не проводила их. Стоя у окна, она видела, как слободские парни подставили Якову свои плечи.

Вдова смотрела им вслед. Губы ее дрожали, лицо побледнело от душившей ее ярости. Как она упрекала себя в эту минуту за тот порыв, когда, рискуя быть избитой дезертирами, бросилась спасать Якова. Лучше бы убили его. Ведь теперь он все равно, наверно, никогда больше не придет к ней. Софья еще раз убедилась в этом сегодня — и, кажется, уже окончательно. И безумная злоба разлилась по каждой ее жилке, затуманила разум, страшной ненавистью зажгла прищуренные глаза.

Яков не захотел остаться у нее, никакие страхи не остановили его. Ушел. И Софья не смогла его удержать. Ах, если б сейчас пришел Терешка! Она озолотила бы его, научила бы... Но он не скоро придет. Он получил деньги и сейчас, наверно, пьянствует где-нибудь со своими дружками.

«Зачем... зачем я его спасла? Для кого? Для чего?» И, кутаясь в цветную шаль, Софья, как неприкаянная, ходила по комнате.

Вдруг взгляд ее остановился на марле и пузырьке с йодом, оставшихся после перевязки. Рывком схватив их, она выбросила все за окно. Пузырек разбился, а белая марля, зацепившись, повисла на пушистых ветвях уже распустившейся желтой акации.

Софья с такой силой захлопнула окно, что зазвенели стекла. Потом решительно подошла к буфету и налила бокал вина.

— За его смерть! — и выпила до дна.

50

Узенькая лесная тропинка теряется в буйных зарослях. В лощине сплошным ковром растут фиалки, барвинок, ряст, встречаются целые островки ландышей. Лиственный лес полон птичьего гомона. Иволги перекликаются с щеглами. Перепрыгивают с ветки на ветку непоседливые синицы, деловито постукивают по коре хлопотливые дятлы. Щебечут на вершинах высоких деревьев горлинки,

а из кустов подлеска льются первые, не очень звонкие и еще неверные трели соловьев.

На лесной дороге появились женщины из слободы. Марина Сукачева вела за повод коня, а Базалииха, сидя в седле, поддерживала девушку в гимнастерке защитного цвета и черной юбке, прикрывая ей плечи платком.

— Дышит? — спросила Марина.

Базалииха кивнула головой.

Выехали на перекресток трех дорог. Одна дорога вела в слободу, другая — на хутора, третья, узенькая, извивающая вдоль лощины, — к лесниковой сторожке. На эту узенькую дорожку и повернули женщины.

Сразу же из лесной гущи вынырнула хата лесника. Не успели они подъехать ко двору, как навстречу им вышел Мефодий с берданкой.

— Добро пожаловать, дорогие гости, — сказал он весело, и обе женщины догадались, что Мефодий, видимо, уже прикладывался к рюмочке. — Где же это вы такого коня достали? Неужели мне хотите подарить?

— Что ты, Мефодий, разве не видишь?

— Кто такая? Что с ней? — спросил лесник.

— Приюти человека.

Внимательно посмотрев в лице девушке, Мефодий узнал Нину Черкашину.

— Я видел ее в лесу с нашим Яковом.

Ни о чем больше не расспрашивая, он перекинул через плечо берданку, взял на руки бесчувственную девушку и понес ее к сторожке.

— Смотрите, бабоньки, никому ни слова. Говорят, в слободе такое творится...

— Понимаем.

Нина не открывала глаз. Только сейчас женщины заметили у нее на шее багрово-лиловые полосы от чьих-то пальцев.

— Душил кто-то, — сказал Мефодий, глядя в бледное девичье лицо. — Где вы ее нашли?

— Утром говорю Марине: «Пойдем-ка, Марина, в лес сосновые шишки собирать», — начала рассказывать Базалииха, — а она и отвечает: пойдем, мол. Ну, взяли мы мешки и пошли в лес. Утро теплое. Солнышко светит, птички поют. Идем, разговариваем о том, о сем, как вдруг слышим, словно где-то человек застонал. Я взглянула на Марину, Марина на меня.

— Да вместе мы услыхали, — не выдержала Сукачева. Ей тоже не терпелось рассказать о необычайном происшествии. — Смотрим друг на друга, это Базалииха верно говорит, смотрим и думаем: «Может, какой рыбак на своей душегубке опрокинулся, зовет на помощь». Подбежали к реке. Никакой душегубки не видно, а по ту сторону, недалеко от берега, под сосной девушка лежит. Базалииха мне и говорит...

— Я ей и говорю, — подхватила Базалииха. — «Ой, говорю, Марина, глянь-ка, она ведь лежит как мертвая». А потом слышим — конь заржал. «Что бы это могло быть?» — думаем. А вокруг никого. Перешли мы с ней через мосток — и сразу к девушке, тормошим ее, трясем. Открыла она глаза, посмотрела как-то непонимающе и опять закрыла. Ну, у нас отлегло от сердца: все-таки жива, слава богу. Я и говорю Марине: «Ты, говорю, посиди тут, а я пойду посмотрю, чей же это конь там ржет».

— Верно. Она пошла, а я все возле девушки хлопочу.

— Вижу, стоит оседланный конь, непривязанный, поймала я его, привела к реке, а потом через мосток переехали — да в твою сторожку. Значит, говоришь, с Яковом в лесу ее видел?

— Вот что, молодицы, я выйду из хаты, а вы ее разденьте и укутайте теплым одеялом. И хорошенько разотрите самогоном, он в бутылке. Она очнется, — прибавил он, выходя во двор.

Мефодий случайно узнал о бунте дезертиров. Он знал уже и о том, что Македониха, вопреки желанию Софьи Изаровой, забрала Якова домой и теперь у двора Македона стоят вооруженные часовые. Мефодий собрался было проведать Македонов, но неожиданное происшествие заставило его немного задержаться.

На крыльцо выбежала Базалииха, и по выражению ее лица, по ее сияющим глазам лесник понял, что с Ниной все в порядке.

— Очнулась. Хочет с тобой поговорить.

Мефодий вошел в хату. Нина лежала в постели, укрытая одеялом, поверх которого женщины набросили еще кожух. Щеки у нее порозовели, но в глазах был нездоровый, горячечный блеск и голос слабый, тихий, точно что-то сжимало ей горло, мешало разговаривать.

Нина зажала в руке листок, который нашли женщины в кармане ее гимнастерки.

Превозмогая боль, она протянула записку леснику:

— Это Яков писал... Нужно в Грайворон... военному комиссару... Сможете?

— А как же... Уездный город я хорошо знаю. Передам. Если Яков бумагу писал — значит нужно, чтоб она попала куда следует. — И, не снимая берданки, Мефодий спрятал записку за пазуху. — Вы тут, Марина, хозяйничайте, пока я не вернусь. В печке у меня кувшинчик с молоком и горшок с пшенной кашей. Накормите девушку, присмотрите за ней. А я поехал.

Мефодий вышел из сторожки, лихо вскочил на оседланного коня и помчался по узенькой лесной тропинке к большой дороге.

51

Утром жители соседних сел и хуторов, идя на базар, с любопытством поглядывали на хату Македона, у которой стояли вооруженные часовые.

Останавливались, расспрашивали, что случилось, и часовые охотно рассказывали о вчерашнем.

— Может, и на базар не стоит ходить? Небось все лавки закрыты.

— Почему закрыты? Должны торговать. Не было такого приказа, чтоб закрывать.

Люди шли дальше. Однако жизнь базара, казалось, нисколько не была нарушена. Как всегда, подъехал к колодцу на своей кляче волостной водовоз с большой бочкой и спокойно принялся за привычное дело.

Весело стучали в кузницах молотки. Женщины и девушки стирали на речке белье, а по улицам, как обычно, бегали, ссорясь между собой, резвые ребятишки, запускавшие бумажного змея. Все шло своим чередом, словно и не случилось ничего, что могло бы хоть в какой-то мере нарушить мирный порядок слободской жизни.

И все-таки, несмотря на внешнее спокойствие, население было чем-то встревожено. Все чаще на базарной площади собирались группками мужчины. Поговорят между собой и разойдутся. Здесь же, среди слобожан, шныряли дезертиры. Они избегали встречаться друг с другом, а если уж приходилось встретиться, то старались не вспоминать о вчерашнем.

Виноватых точно и не было, а здание волости стояло

с выбитыми стеклами. По слободе прошел слух, будто вчера разгромили госпиталь и раненых красноармейцев — слабых, больных — выбрасывали из палат, срывали с ран повязки, а потом беспощадно били. Трое красноармейцев там и умерли.

Но на этом разбой не кончился. Высадив табуретками окна лавок, озверелая банда начала пить вонючий самогон, и до глубокой ночи по слободским улицам шлялись пьяные, бесчинствуя и хулиганя.

Сейчас, когда хмель прошел, многие из них поняли, что им придется отвечать за вчерашнее буйство. Выгораживая себя, они старались переложить вину на хуторян.

Но как могли они оправдаться, если все происходило на глазах у населения? Ведь первыми свидетелями будут бедняки.

Не простит этого бунта советская власть. Кто-то из дезертиров, более умный и дальновидный, посоветовал пойти к Якову Македону — покаяться во всем и попросить защиты. С ним согласилось человек десять. Но их даже близко не подпустили ко двору Македона свои же вооруженные земляки. Дезертиры вернулись назад.

— Надо спрятаться в лесах, пока не поздно, — говорили одни.

— Чего же прятаться? — возражали другие. — Нам нужно стоять на одном: мы, мол, не виноваты, всё хуторские натворили. А если станем прятаться, они нас поодиночке переловят.

Дезертиры снова гурьбой направились к базару. Там на колокольне Успенской церкви стояли их дозоры, следя за окрестными полями и дорогами, которые вели к слободе.

Особенно внимательно следили они за Грайворонской дорогой, откуда могли появиться красноармейцы.

Но все тропы и большая дорога были пустынны.

Вдруг дозорные увидели, что из лесу походной колонной вышла рота бойцов. Рассыпавшись цепочкой, бойцы побежали к слободе. В ту же минуту дозорные подняли тревогу. Прогремело несколько выстрелов. На базаре поднялась суматоха, начался плач, крик, ругань. Люди разбегались кто куда, толкая друг друга, сбивая с ног. Какой-то дезертир с перепугу влетел в молочный ряд

и, раздавив сапогами кувшины со сметаной и горшочки с молоком, быстро исчез в охваченной паникой толпе.

Поспешно закрывались лавки, лотки, рундуки. За несколько минут площадь опустела. Остался только какой-то пьяный парень. Растаптывая сапогами осколки, он сначала гонял собак, неизвестно откуда набежавших в молочный ряд, а потом запел.

Софья стояла у открытого окна. Пьяный голос показался ей знакомым. Наконец и сам гуляка вышел на дорогу, горланя удалую песню; и к своему удивлению и ужасу, Софья узнала Терешку.

«Дурак несусветный! Себя может погубить и меня, чего доброго, еще впутает».

— Терешка, а Терешка! Слышишь? Зайди ко мне на минутку, — крикнула она, открыв окно. Но он стоял посреди дороги, глупо глядя на мост, и спрашивал, ни к кому не обращаясь:

— Что за люди? Почему вооружены? Кто разрешил?

— Беги, остолоп, не то они пристрелят тебя, как собаку!

Терешка был так ошеломлен и испуган, что, сразу отрезвев, бросился бежать к Софьиному двору.

А по улице с винтовками наперевес шли красноармейцы. Их вел командир, сжимая в руке наган. Что-то знакомое было в походке и даже в лице этого человека. «Я его видела... Встречалась с ним. Но где, когда?» — пыталась вспомнить Софья. Узнав Артема Черкашина, она точно окаменела.

Проходя мимо ее дома, он взглянул на окна, и Софье показалось, что, заметив ее, он вспомнил фронтовую встречу и их знакомство. Мороз пронизал Софью с головы до ног, но она не отошла от окна. Сомнений не было: за свои злодеяния дезертиры будут сурово наказаны.

В комнату ворвался перепуганный Терешка.

— Что это? Они... в слободе?

— В слободе, остолоп! В слободе! Такое время, а ты пьян, как свинья. Зову тебя, а ты не слушаешь? Хочешь и себя и меня погубить... дурень несусветный!

Разгневанная Софья начала хлестать его по красным щекам, а он только кряхтел, заслоняясь руками и растерянно бормоча:

— Ну, довольно... довольно... Вот еще... не маленький... Чего вы деретесь?

— Беги отсюда. Сейчас же беги в лес, на хутора. Куда хочешь, только скорее... Найдут тебя — плохо будет.

Она вытолкала его из комнаты. Терешка загремел по ступенькам тяжелыми сапогами и, перескочив через забор, во весь дух помчался к реке.

52

Софья еще была в постели, когда внезапный стук в дверь разбудил ее.

«Неужели за мной?» — сразу мелькнуло в голове. Затаив дыхание, она прислушалась.

— Софья, ты спишь?

Отлегло от сердца. Узнала брата. На дворе еще, видно, и солнце не всходило.

Софья надела халат, впустила Лукьяна.

— Что случилось? Почему так рано?

— Терешка не ночевал дома. Может, он у тебя прячется? Ему надо бежать из слободы. Видала, какие объявления расклеены? Я сорвал с забора, читай.

— Терешка был у меня вчера. Зачем ему тут ночевать? Наверно, убежал на хутор. Дай, посмотрю, что за объявление.

«ПРИКАЗ
Грайворонского уездного военного комиссара от 24 апреля 1919 года, № 124

Объявляю слободу Борисовку, занятую советским войском, на осадном положении. Ходить по улицам разрешается с 8 часов утра до 9 часов вечера...»

— Пришлось задами к тебе пробираться, — говорил Лукьян. — Читай дальше.

— «Всякие собрания и митинги запрещаются. Все оружие должно быть принесено к Совету в течение двадцати четырех часов с момента объявления этого приказа»...

— Как же, ждите! Так вам и понесут. Может, и найдется какой трусливый дурак, только мы оружие не отдадим. Оно еще пригодится.

— «Приказываю всем мобилизованным гражданам, —

читала Софья, — явиться завтра на станцию Новоборисовка в двенадцать часов дня для отправки к месту назначения. Виновные в неисполнении этого приказа будут расстреляны.

Военный комиссар *А. Черкашин»*.

— Видать, крутой человек комиссар этот, — сказал Лукьян, глядя на стол, где стояли бутылки недопитого вина и закуска. — Гуляла с кем-то? — хитровато прищурив глаза, спросил брат и тут же нахально обнял Софью за талию.

— Сама пила.

— Сама? — удивленно переспросил Лукьян. — Не верится что-то. Не такая кровь течет в твоих жилах, чтоб при этаких достоинствах — да в одиночестве по вечерам скучать. Я, признаться, тоже соскучился по молодым бабам. Эх, времечко было: пей, гуляй, балуйся... Даже в твоем доме с солдатками... Да что говорить! А теперь, веришь ли, боюсь их. Тронь какую-нибудь — беды не оберешься.

Лукьян подошел к столу.

— Может, у тебя коньячок есть? Давно я не пробовал.

— Почему не заходил? Угостила бы.

— Да ну-у? — радостно воскликнул брат. — Ты у меня не сестра, а золото, право слово. Ну, а Трофим бывает у тебя?

— Бывает, да редко.

— Живем так, словно и не братья вовсе. С тех пор как расстреляли Александра, он боится их, комитетчиков. А нам теперь люди нужны, как никогда. Верные люди, на которых можно положиться. Слыхала, Софья? Приближаются союзники.

Софья поставила на стол бутылку коньяку. Глаза Лукьяна стали маслеными, лицо расплылось в довольную улыбку. Выпив стопку, он крякнул и, не закусывая, выпил еще одну. Потом налил бокал и сестре, но она отказалась.

— Может, вина хочешь?

— Вина выпью.

Чокнулись, выпили. Крепкое вино быстро ударило в голову. Опьянев, Софья налила себе еще.

— Я так думаю: мой Терешка хоть и не особо сообразительный парень, но хитер и зол на них, комитетчиков

